

# *НОВЫЙ Журнал*

*91*

*THE NEW  
REVIEW*

# THE NEW REVIEW Новый Журнал

---

*Основатели — М. Алданов и М. Цетлин*

*С 1946 по 1959 редактор М. Карпович*

*С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев*

*Двадцать седьмой год издания*

Кн. 91

НЬЮ ИОРК

1968

**РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ**  
**СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА**

*NEW REVIEW, June 1968*  
*Quarterly, No. 91*  
*2700 Broadway, New York, N. Y. 10025*  
*Subscription Price \$10. — for one year*  
*Publisher: New Review, Inc.*  
*Second Class Mail postage paid*  
*at New York, N. Y.*

## О Г Л А В Л Е Н И Е

|                                                                | Стр. |
|----------------------------------------------------------------|------|
| <i>В. Шаламов</i> — Колымские рассказы .....                   | 5    |
| <i>Н. Моршен</i> — Новые стихи .....                           | 24   |
| <i>Неизвестные стихи И. Бунина</i> .....                       | 28   |
| <i>И. Чиннов</i> — Стихи .....                                 | 32   |
| <i>Н. Ульянов</i> — Сириус .....                               | 34   |
| <i>И. Елагин</i> — Стихи .....                                 | 57   |
| <i>Т. Петровская</i> — «Перепись литературного населения» .... | 63   |
| <i>Д. Кленовский</i> — Стихи .....                             | 75   |
| <i>А. Дынник</i> — Женские портреты у молодого Куприна ....    | 78   |
| <i>Г. Глинка</i> — Стихи .....                                 | 89   |
| <i>Н. Тuroверов</i> — Стихи .....                              | 90   |
| <i>Ю. Иваск</i> — Поэты двадцатого века .....                  | 91   |
| <i>Я. Бергер</i> — Стихи .....                                 | 103  |
| <i>В. Гавронский</i> — Толстой о Шекспире .....                | 105  |
| <i>Г. Евангулов</i> — Стихи .....                              | 113  |
| <i>С. Сатина</i> — С. В. Рахманинов .....                      | 115  |
| <i>В. Перелешин</i> — Стихи .....                              | 129  |
| <i>Ю. Кротков</i> — Самоубийства советских писателей .....     | 131  |

### ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Е. Мильтон</i> — Воспоминания о поэте Н. М. Минском .... | 149 |
| <i>А. Кошко</i> — О деле Бейлиса .....                      | 162 |
| <i>Т. Алексинская</i> — 1917-й год .....                    | 184 |
| <i>К. Кромиади</i> — Последний рейд .....                   | 208 |

### ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Д. Анин</i> — Юбилей «величайшей мистификации» .....                                       | 230 |
| <i>Ю. Мишалов</i> — Мировая революция и коммунизм .....                                       | 245 |
| <i>С. Левицкий</i> — Классические доказательства бытия Божия<br>и современная философия ..... | 265 |
| <i>Н. Первушин</i> — Легенда, фреска, икона . . . . .                                         | 281 |

### БИБЛИОГРАФИЯ:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>А. Небольсин</i> — Н. Ульянов. Диптих. <i>С. Крыжицкий</i> — А. Бабореко. <i>И. А. Бунин</i> . Материалы для биографии. <i>Г. Ермолаев</i> — <i>В. Wolfe</i> . The Bridge and the Abyss. <i>Е. Каннак</i> — <i>А. Безансон</i> . Закланный царевич. <i>Е. Каннак</i> — <i>М. Булгаков</i> . Собачье сердце. <i>Ю. Иваск</i> — Карлик фаворита. История жизни <i>И. А. Якубовского</i> . Книги для отзыва . . . . . | 288 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

---

**PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION  
150 VARICK STREET, NEW YORK, N. Y. 10013**

# КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ\*

## ШЕРРИ-БРЕНДИ

*Я скажу тебе с последней прямоюй  
Все лишь бредни, шерри-бренди, ангел мой!*

*О. Мандельштам.*

Поэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, несмотря на холод. Раньше он совал их за пазуху, на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла. Рукавицы давно украли.

Белый день, вечный полярный день был в этом карантинном бараке. Тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было прикреплено, как в ящике, в темной глубине нижнего ряда сплошных двухэтажных нар.

Время от времени пальцы двигались и ошупывали пуговицу, петлю, ямку на бушлате, смахивали какой-то сор и снова останавливались. Поэт умирал долго, но он не понимал, что умирает. Иногда приходила, болезненно и почти осязимо проталкиваясь сквозь мозг, какая-нибудь простая, сильная мысль — что у него украли хлеб, который он положил под голову. И это было так обжигающе страшно, что он готов был драться, искать, доказывать. Но сил уже не было, и мысль о хлебе слабела... И тут же он думал о другом — о том, что всех должны везти за море, и почему-то опаздывает пароход, и хорошо, что он здесь. И так же легко и зыбко он начинал ду-

---

\* Мы продолжаем печатание «Колымских рассказов» В. Т. Шаламова (см. кн. 85, 86 и 89), поэта и прозаика, проведенного в концлагерях около 20 лет. Мы печатаем эту рукопись без ведома и согласия автора, в чем приносим ему извинения. Рукопись получена нами с оказией из СССР. РЕД.

мать о большом родимом пятне на лице дневального барака. Он думал о том, что наполняло его жизнь здесь. Перед его глазами не было ни видений детства, ни видений юности и успеха.

Он умирал. Но жизнь опять входила в него, открывались глаза, возникали мысли. Только желаний не было. Он давно жил в мире, где часто приходилось возвращать людям жизнь — искусственным дыханием, камфорой, кофеином. Мертвый становился живым. Он верил в бессмертие, в настоящее человеческое бессмертие. Часто думал, что просто нет никаких причин, почему бы человеку не жить вечно. Старость — это только излечимая болезнь, и если бы не это неразгаданное трагическое недоразумение, — он мог бы жить вечно. Или до тех пор, пока не устанет. А он не устал жить. Даже сейчас, в этом пересыльном бараке, в «транзитке», как любовно выговаривали здешние жители. Она была преддверием ужаса, но сама ужасом не была. Напротив, здесь было свободней. Впереди был лагерь — сзади тюрьма. А это был «мир в дороге», и поэт это понимал.

Был еще один путь бессмертия: — «Блажен, кто посетил сей мир...» Роковые минуты мира... Но если уж ему не придется быть бессмертным в человеческом образе, то творческое-то бессмертие он заслужил. Его называли первым русским поэтом, и он часто верил, что это действительно так. Он верил в бессмертие своих стихов. У него не было учеников, но разве они нужны поэту? Он писал и прозу — плохую. Только в стихах он нашел что-то новое для поэзии, важное, как казалось ему. Вся его прошлая жизнь была литературой, книгой, сном и только настоящий день был подлинной жизнью.

Все это думалось потаенно, где-то глубоко в себе. Размышлениям этим не хватало страсти. Равнодушие давно владело им. Какими все это было пустяками, «мышьей беготней» по сравнению с недоброй тяжестью жизни. Он удивился себе как он может думать так о стихах, когда все уже решено, а он это знал хорошо.

В те минуты, когда жизнь возвращалась в его тело и его полуоткрытые мутные глаза вдруг начинали видеть, веки

вздрагивать и пальцы шевелиться — возвращались и мысли, о которых он не думал, что они — последние.

Жизнь входила сама: он не звал ее, и все же она входила в его тело, в его мозг, как стихи, как вдохновение. И значение этого слова может-быть впервые открывалось ему во всей полноте. И он радовался, что ему дано узнать эту последнюю правду. Весь, весь мир сравнивался со стихами — работа, конский топот, дом, птица, скала, любовь — вся жизнь легко входила в стихи. Строфы и сейчас вставляли, одна за другой, и хоть он давно не записывал (не мог записывать) свои стихи, все же слова легко вставляли, в каком-то заданном и каждый раз необычайном ритме.

Долгие часы он лежал неподвижно и вдруг увидел недалеко от себя нечто вроде стрелковой мишени или геологической карты. Карта была немая, и он тщательно пытался понять изображенное. Прошло немало времени, пока он сообразил, что это — его собственные пальцы. На кончиках пальцев еще оставались коричневые следы докуренных, дососанных махорочных папирос — на подушечках ясно выделялся дактилоскопический рисунок, как чертеж горного рельефа. Рисунок был одинаков на всех десяти пальцах — концентрические кружки, похожие на срезы дерева. Он вспомнил, как однажды в детстве его остановил на бульваре китаец из прачечной, которая была в подвале того дома, где он вырос. Китаец случайно взял его за руку, за другую, вывернул ладони вверх и возбужденно закричал что-то на своем языке. Оказалось, что он объявил мальчика счастливым, обладателем верной приметы. Эту метку счастья поэт вспоминал много раз, особенно часто тогда, когда напечатал свою первую книжку.

Да, он догадывался кое о чем из того, что ждало его впереди. На пересылке он многое успел понять, вернее угадать. И он радовался, тихо радовался своему бессилию и надеялся, что умрет. Он вспомнил давнишний тюремный спор — что хуже, что страшнее — лагерь или тюрьма — никто ничего толком не знал, и как жестоко улыбался человек, привезенный из лагеря в ту тюрьму. Он запомнил улыбку этого человека навсегда так, что боялся ее вспоминать.

Подумайте, как ловко он их обманет — тех, что привели его сюда — если сейчас умрет — на целых десять лет. Он был несколько лет назад в ссылке и знал, что он занесен в особые списки навсегда. Навсегда?! Масштабы сместились и слова изменили смысл.

Снова он почувствовал начинающийся прилив сил, именно прилив. Многочасовой прилив. Внезапно ему захотелось есть, но не было сил двигаться. Он медленно и трудно вспомнил, что отдал сегодняшний суп соседу, что кружка кипятку была его единственной пищей за последний день. Кроме хлеба, конечно. Но хлеб выдали очень давно. А вчерашний — украли. У кого-то еще были силы — воровать.

Так он лежал легко, бездумно, пока не наступило утро. Электрический свет стал чуть желтее, и принесли на больших фанерных подносах хлеб, как приносили каждый день.

Но он уже не волновался, не высматривал горбушку, не плакал, если горбушка доставалась не ему; не запихивал в рот дрожащими пальцами «довесок» — и довесок мгновенно таял во рту, ноздри его надувались, и он все своим существом чувствовал вкус и запах свежего ржаного хлеба. Нет, сейчас он не волновался. Но когда ему вложили в руки его суточную пайку, он обхватил ее своими бескровными пальцами и прижал хлеб ко рту. Он кусал хлеб цынготными зубами, десны кровоточили, зубы шатались, но он не чувствовал боли. Из всех сил он прижимал ко рту, запихивал в рот хлеб, сосал его, рвал и грыз...

Его останавливали соседи:

— Не ешь все, лучше потом съешь, потом...

И поэт понял. Он широко раскрыл глаза, не выпуская окровавленного хлеба из грязных синеватых пальцев.

— Когда потом? — отчетливо выговорил он, закрывая глаза.

К вечеру поэт умер. Но «списали» его на два дня позднее — двое суток изобретательным соседям его удавалось при раздаче хлеба получать хлеб на мертвеца; мертвец поднимал руку, как кукла-марионетка.

## СГУЩЕННОЕ МОЛОКО

От голода наша зависть была тупа и бессильна, как все наши чувства. У нас не было силы на чувства, на то, чтобы искать работу полегче, чтобы ходить, спрашивать, просить... Мы завидовали только знакомым, тем, кому удалось попасть на работу в контору, в больницу, в конюшню — там не было многочасового тяжелого физического труда, прославленного на фронтонах всех ворот, как дело доблести и героизма. Словом, мы завидовали только Шестакову.

Только что-нибудь внешнее могло вывести нас из безразличия, отвести от медленно приближающейся смерти. Внешняя, а не внутренняя сила. Внутри все было выжжено, опустошено, нам было все равно, и дальше завтрашнего дня мы не строили расчетов.

Вот и сейчас — хотелось уйти в барак, лечь на нары, а я все стоял у дверей продуктового магазина. В этом магазине могли покупать только осужденные по «бытовым» статьям, а также причисленные к «друзьям народа» воры-рецидивисты. Нам там было нечего делать, но нельзя было отвести глаз от хлебных буханок шоколадного цвета; сладкий и тяжелый запах свежего хлеба щекотал ноздри — даже голова кружилась от этого запаха. И я стоял и не знал, когда я найду в себе силы уйти в барак. Я смотрел на хлеб. И тут меня окликнул Шестаков.

Шестакова я знал по «Большой земле», по Бутырской тюрьме; сидел с ним в одной камере. Дружбы там у нас не было, было просто знакомство. На прииске Шестаков не работал в забое. Он был инженер-геолог, и его взяли на работу в геолого-разведку, в контору, стало быть. Счастливцев едва здоровался со своими московскими знакомыми. Мы не обижались — мало ли что. Своя рубашка и т. д.

— Кури, — сказал Шестаков и протянул мне обгрызок газеты, насыпал махорки, зажег спичку, настоящую спичку...

Я закурил.

Мне надо с тобой поговорить, — сказал Шестаков.

Со мной?

— Да.

Мы отошли за бараки и сели на борт старого забоя. Ноги мои сразу отяжелели, а Шестаков весело болтал своими новенькими казенными ботинками, от которых слегка пахло рыбьим жиром. Брюки завернулись и открыли шахматные носки. Я глядел на шестаковские ноги с истинным восхищением и даже некоторой гордостью — хоть один человек из нашей камеры не носит портянок. Земля под нами тряслась от глухих взрывов — это готовили грунт для ночной смены. Маленькие камешки падали у наших ног, шелестя, серые и незаметные, как птицы.

Отойдём подальше, — сказал Шестаков.

— Не убьет, не бойся. Носки будут целы.

— Я не о носках, — сказал Шестаков и провел указательным пальцем по горизонту. — Как ты смотришь на все это?

— Умрем, наверное, — сказал я. Меньше всего мне хотелось думать об этом.

Ну, нет, умирать я не согласен.

— Ну?

— У меня есть карта, — вяло сказал Шестаков. — Я возьму рабочих, тебя возьму и пойдем на Черные Ключи — это пятнадцать километров отсюда. У меня будет пропуск. И мы уйдем к морю. Согласен?

Он выложил все это равнодушной скороговоркой.

— А у моря? Поплывем?

— Все равно. Важно начать. Так жить я не могу. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — торжественно произнес Шестаков. — Кто это сказал?

В самом деле? Знакомая фраза. Но не было сил вспомнить, кто и когда говорил эти слова. Все книжное было забыто, книжному не верили.

Я засучил брюки, показал красные цинготные раны.

Вот в лесу и вылечишься, — сказал Шестаков, — на ягодах, на витаминах. Я выведу, я знаю дорогу. У меня есть карта.

Я закрыл глаза и думал. До моря отсюда три пути — и все по пятьсот километров, не меньше. Не только я, но и Ше-

стаков не дойдет. Не берет же он меня как пищу, с собой? Нет, конечно. Но зачем он лжет? Он знает это не хуже меня; и вдруг я испугался Шестакова — единственного из нас, кто устроился на работу по специальности. Кто его туда устроил и какой ценой? За все ведь надо платить. Чужой кровью, чужой жизнью.

— Я согласен, — сказал я, открывая глаза. — Только мне надо подкормиться.

— Вот и хорошо, хорошо. Обязательно подкормиться. Я принесу тебе... консервов. У нас ведь можно...

Есть много консервов на свете — мясных, рыбных, фруктовых, овощных... Но прекрасней всех — молочные, сгущенное молоко. Конечно, их не надо пить с кипятком. Их надо есть ложкой или мазать на хлеб, или глотать понемножку, из банки, медленно есть, глядя как желтеет светлая жидкая масса, как налипает на банку сахарная звездочка...

— Завтра, — сказал я, задыхаясь от счастья, — молочных.

— Хорошо, хорошо. Молочных, — и Шестаков ушел.

Я вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Думать было нелегко. — Материальность нашей психики впервые представлялась мне во всей наглядности, во всей осязательности. Думать было больно. Но думать было надо.

Он соберет нас в побег и «сдаст» — это совершенно ясно. Он заплатит за свою конторскую работу нашей кровью, моей кровью. Нас или убьют там же, на Черных Ключах, или приведут живыми и осудят — добавят еще лет пятнадцать. Ведь не может же он не знать, что выйти отсюда нельзя. Но молоко, сгущенное молоко...

Я заснул и в своем рваном голодном сне я видел эту шестаковскую банку сгущенного молока — чудовищную банку с облачно-синей наклейкой. Огромная, синяя, как ночное небо, банка была пробита в тысяче мест, и молоко просачивалось и текло широкой струей Млечного пути. И легко доставал я руками до неба и ел густое, сладкое, звездное молоко.

Не помню, что я делал в этот день и как я работал. Я ждал, ждал, пока солнце склонится к западу, пока заржут

лошади, которые лучше людей угадывают конец рабочего дня.

Хрипло загудел гудок, и я пошел к барaku, где жил Шестаков. Он ждал меня на крыльце. Карманы его телогрейки оттопыривались.

Мы сели за большой вымытый стол в бараке, и Шестаков вытащил из карманов две банки сгущенного молока.

Углом топора я пробил банку. Густая белая струя потекла на крышку, на мою руку.

Надо было вторую дырку пробить. «Для воздуха», — сказал Шестаков.

Ничего, — сказал я, облизывая грязные сладкие пальцы.

Дайте ложку, — сказал Шестаков, поворачиваясь к обступившим нас рабочим. Десять блестящих, отлизанных ложек протянулись над столом. Все стояли и смотрели, как я ем. В этом не было неделикатности или скрытого желания угоститься. Никто из них и не надеялся, что я поделюсь с ним этим молоком. Такое не было видано — интерес их к чужой пище был вполне бескорыстен. И я знал, что нельзя не глядеть на пищу, исчезающую во рту другого человека. Я сел удобнее и ел молоко без хлеба, запивая изредка холодной водой. Я съел обе банки. Зрители отошли в сторону — спектакль был окончен. Шестаков смотрел на меня сочувственно.

— Знаешь что, — сказал я, тщательно облизывая ложку, — я передумал. Идите без меня.

Шестаков понял и вышел, не сказав мне ни слова.

Это было, конечно, ничтожной мстью, слабой, как все мои чувства. Но что я мог сделать еще? Предупредить других — не знал их. А предупредить было надо. — Шестаков успел уговорить пятерых. Они бежали через неделю, двоих убили недалеко от Черных Ключей, троих судили через месяц. Дело о самом Шестакове было «выделено производством», его вскоре куда-то увезли, через полгода я встретил его на другом прииске. Дополнительного срока за побег он не получил — начальство играло с ним честно, а ведь могло быть и иначе.

Он работал в геологоразведке, был брит и сыт, и шахматные носки его все еще были целы. Со мной он не здоровался,

и зря две банки сгущенного молока не такое уж большое дело, в конце концов...

### ПЛОТНИКИ

Круглые сутки стоял белый туман такой густоты, что в двух шагах не было видно человека. Впрочем, ходить далеко в одиночку и не приходилось. Немногие направления — столовая, больница, вахта угадывались, неведомо как приобретенным инстинктом, сродни тому чувству направления, которым в полной мере обладают животные и которое в подходящих условиях просыпается и в человеке.

Градусника рабочим не показывали, да это было и не нужно — выходить на работу приходилось в любые градусы. К тому же старожилы почти точно определяли мороз без градусника: если стоит морозный туман, значит на улице 40 градусов ниже нуля; если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать еще нетрудно — значит 45 градусов; если дыхание шумно и заметна одышка — 50 градусов. Свыше 55° плевки замерзают на лету. Плевки замерзали на лету уже две недели.

Каждое утро Поташников просыпался с надеждой — не спал ли мороз: он знал по опыту прошлой зимы, что как бы ни была низка температура, для ощущения тепла важно резкое изменение. Если даже мороз упадет до 40-45° — дня два будет тепло, а дальше, чем на два дня, не имело смысла строить планы.

Но мороз не спадал, и Поташников понимал, что выдерживать дольше не может. Завтрака хватало, самое большее, на один час работы, потом приходила усталость, и мороз пронизывал все тело «до костей» — это народное выражение отнюдь не было метафорой. Можно было только махать инструментом и скакать с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть, до обеда. Горячий обед, — «юшка» и две ложки каши — мало восстанавливал силы, но все же согревал. И опять силы для работы хватало на час, а затем Поташникова охватывал холод. День все же кончался, и после ужина, напившись горячей воды с хлебом, который ни один рабочий не ел в столовой с супом, а уносил в барак, Поташников тут же ложился спать.

Он спал, конечно, на верхних нарах — внизу был ледяной погреб, и те, чьи места были внизу — половину ночи простаивали у печки, обнимая ее по очереди руками — печка была чуть теплая. Дров всегда не хватало — за дровами надо было идти за четыре километра после работы — и все всячески уклонялись от этого. Вверху было теплее, хотя, конечно же, все спали в том, в чем работали — в шапках, телогрейках, бушлатах, ватных брюках. Вверху было теплее, но и там за ночь волосы примерзали к подушке.

Поташников чувствовал, как с каждым днем сил становится все меньше и меньше. Ему, тридцатилетнему мужчине, уже трудно взбираться на верхние нары, трудно спускаться. Сосед его умер вчера, просто не проснулся, и никто не заинтересовался, отчего он умер, как будто причина смерти была лишь одна, хорошо всем известная. Дневальный радовался, что умер он не вечером, а утром — суточное довольствие умершего оставалось дневальному. Все это понимали и Поташников осмелел и подошел к дневальному. «Отломи корочку», но тот встретил его такой крепкой руганью, какой может ругаться только человек, ставший из слабого сильным. Поташников замолчал и отошел.

Надо было на что-то решаться, что-то выдумать своим ослабевшим мозгом. Или — умереть. Смерти Поташников не боялся. Но было страстное тайное желание, какое-то последнее упрямство, — жить. Не умереть здесь — на морозе, под сапогами конвоя, в бараке среди брани, грязи и при полном равнодушии всех. Он не винил людей за равнодушие. Он понял давно, откуда эта душевная тупость. Мороз, тот самый, который обращал плевков на лету в лед, добрался и до человеческой души. Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть, отупеть мозг, могла промерзнуть душа. На морозе нельзя было думать ни о чем. И душа — промерзла, сжалась, может быть, навсегда останется холодной. У Поташникова не оставалось ничего, кроме желания перетерпеть, переждать мороз живым.

Проглотив миску теплого супа, дожевывая хлеб, Поташников добрался до места работы, едва волоча ноги. Бригада

была выстроена перед началом работы, и вдоль рядов ходил какой-то толстый краснорожий человек в оленьей шапке, якутских торбазах, и в белом полушубке. Он вглядывался в изможденные, грязные лица. Бригадир подошел, что-то почтительно говоря человеку в оленьей шапке.

— А я вас уверяю, Александр Евгеньевич, что у меня нет таких людей. К Соболеву и бытовичкам сходите, а это ведь интеллигенция, Александр Евгеньевич — одно мученье.

Человек в оленьей шапке перестал разглядывать людей и повернулся к бригадиру.

— Бригадиры не знают своих людей, не хотят знать, не хотят нам помочь, — хрипло сказал он.

Воля ваша, Александр Евгеньевич.

Вот я тебе сейчас покажу. Как твоя фамилия?

Иванов моя фамилия, Александр Евгеньевич.

Вот гляди! Эй, ребята, внимание! — Человек в оленьей шапке встал перед бригадой. — Управлению нужны плотники — делать коробка для возки грунта.

Все молчали.

— Вот видите, Александр Евгеньевич, — зашептал бригадир.

Поташников вдруг услышал свой собственный голос.

— Есть. Я плотник, — и сделал шаг вперед.

С правого фланга молча шагнул другой человек. Поташников знал его — это Григорьев.

— Ну, — человек в оленьей шапке повернулся к бригадиру, — ты шляпа и дерьмо? Ребята, пошли за мной.

Поташников и Григорьев поплелись за человеком в оленьей шапке. Он приостановился.

— Если так будем идти, — прохрипел он, — мы и к обеду не придем. Вот что. Я пойду вперед, а вы идите в мастерскую к прорабу Сергееву. Знаете, где столярная мастерская?

— Знаем, знаем, — закричал Григорьев. — Угостите закурить, пожалуйста.

— Знакомая просьба, — сквозь зубы пробормотал человек в оленьей шапке и, не вынимая коробки из кармана, вытащил две папиросы.

Поташников шел впереди и напряженно думал. Сегодня он будет в тепле столярной мастерской — точить топор и делать топорище. И точить пилу. Торопиться не надо. До обеда они будут «получать» инструмент, выписывать, искать кладовщика. А сегодня к вечеру, когда выяснится, что он топорище сделать не может, а пилу развести не умеет, его выгонят, и завтра он вернется в бригаду. Но сегодня он будет в тепле. А, может быть, и завтра, и послезавтра он будет плотником — если Григорьев — плотник. Он будет подручным у Григорьева. Зима уж кончается. Лето, короткое лето он как-нибудь проживет.

Поташников остановился, ожидая Григорьева.

— Ты можешь это... плотничать, — задыхаясь от внезапной надежды, выговорил он.

— Я, видишь ли, — весело сказал Григорьев, — аспирант Московского филологического института. Я думаю, что каждый человек, имеющий высшее образование, тем более гуманитарное, обязан уметь вытесать топор и развести пилу. Тем более, если это надо делать рядом с горящей печкой.

— Значит и ты...

— Ничего не значит. На два дня мы их обманем, а потом — какое тебе дело, что будет потом.

— Мы обманем на один день, а завтра нас вернут в бригаду...

Вдвоем они едва отворили примерзшую дверь. Посреди столярной мастерской горела раскаленная докрасна железная печка и пять столяров на своих верстаках работали без топок и шапок. Пришедшие встали на колени перед открытой дверью печки, как перед богом огня, одним из первых богов человечества. Скинув рукавицы, они простирали к теплу руки, потерявшие чувствительность, и не сразу ощутили тепло. Через минуту Григорьев и Поташников сняли шапки и расстегнули бушлаты, не вставая с колен.

Вы зачем? — недружелюбно спросил их столяр.

— Мы плотники. Будем работать тут, — сказал Григорьев.

— По распоряжению Александра Евгеньевича, добавил поспешно Поташников.

— Это значит, о вас говорил прораб, чтоб выдать вам топоры? — спросил Арнштрем, пожилой инструментальщик, стругавший в углу черенки к лопатам.

— О нас, о нас...

— Берите, — недоверчиво оглядев их, сказал Арнштрем.

Вот вам два топора, пила и разводка. Разводку потом назад отдайте. Вот мой топор, вытешьте топорище.

Арнштрем улыбнулся.

— Дневная норма мне на топорище — тридцать штук — сказал он.

Григорьев взял чурку из рук Арнштрема и начал тесать. Загудел обеденный гудок. Арнштрем, не одеваясь, молча смотрел на работу Григорьева.

— Теперь ты, — сказал он Поташникову.

Поташников поставил полено на чурбан, взял топор из рук Григорьева и начал тесать.

Столяры уже ушли обедать, и в мастерской никого, кроме трех людей, не было.

— Возьмите вот два моих топорища, — Арнштрем подал готовые топорища Григорьеву, — и насадите топоры. Точите пилу. Сегодня и завтра грейтесь у печки. Послезавтра идите туда, откуда пришли. Вот вам кусок хлеба к обеду.

Сегодня и завтра они грелись у печки, а послезавтра мороз упал сразу до 30 градусов — зима уже кончалась.

## Х Л Е Б

Двухстворчатая огромная дверь раскрылась, и в пересыльный барак вошел раздатчик. Он встал в широкой полосе утреннего света, отраженного голубым снегом. Две тысячи глаз смотрели на него отовсюду: снизу — из-под нар, прямо, сбоку, сверху — с высоты четырехэтажных нар, куда взбирались по лесенке те, кто еще сохранил силу. Сегодня был селедочный день, и за раздатчиком несли огромный фанерный поднос, прогнувшийся под горой селедок, разрубленных пополам. За подносом шел дежурный надзиратель в белом, свер-

каюшем как солнце, дублёном овчинном полушубке. Селедку выдавали по утрам — через день по половинке.

Шепот сотен людей повторял одно и то же слово: хвостики, хвостики. Какой-то мудрый начальник, считаясь с арестантской психологией, распорядился выдавать одновременно либо селедочные головы, либо хвосты. Преимущества тех и других были многократно обсуждены: в хвостиках, кажется, было побольше рыбьего мяса, но зато голова доставляла гораздо больше удовольствия: обсасывались жабры, выедалась головизна. Селедку выдавали нечищенную, и это все одобряли: ведь ее ели с костями, со шкурой.

Поднос приближался. Наступала самая волнующая минута — какой величины достанется обрезок — менять ведь нельзя, протестовать тоже — все в руках удачи. Человек, невнимательно режущий селедки на порции, не всегда понимает (или быстро забыл), что 10 грамм больше или меньше — могут привести к драме, к кровавой драме, может быть. О слезах же и говорить нечего. Слезы часты, они понятны всем и над плачущим не смеются.

Пока раздатчик приближался, каждый уж подсчитал, какой именно кусок будет протянут ему этой равнодушной рукой. Каждый успел уже огорчиться, обрадоваться, приготовиться к чуду, достичь края отчаяния, если он ошибся в своих торопливых расчетах. Некоторые зажмуривали глаза, не совладав с волнением, чтобы открыть их только тогда, когда раздатчик толкнет его и протянет селедочный паек. Схватив селедку грязными пальцами, погладив, пожав ее быстро и нежно, чтобы определить — сухая или жирная досталась ему порция (впрочем, охотские селедки жирными не бывают, и это движение пальцев — тоже ожидание чуда), он не может удержаться, чтобы не обвести быстрым взглядом руки тех, кто окружают его и кто тоже глядят и мнут селедочные куски, боясь поторопиться проглотить этот крошечный хвостик. Он не ест селедку. Он ее лижет, лижет, и хвостик мало-помалу исчезает из пальцев. Остаются кости, и он жует кости осторожно, бережливо жует, и кости тают и исчезают. Потом он принимается за хлеб — пятьсот граммов выдается на сутки

с утра — отщипывает по крошечному кусочку и отправляет в рот. Хлеб едят все сразу — так никто не украдет и никто не отнимет, да и сил нет его уберечь. Не надо только торопиться, не надо запивать его водой, не надо жевать. Надо сосать его, как сахар, как леденец. Потом можно взять кружку чаю — тепловатой воды, зачерненной жженой коркой.

Съедена селедка, съеден хлеб, выпит чай. Сразу становится жарко и никуда не хочется идти, хочется лечь, но уже надо одеваться — натягивать на себя оборванную телогрейку, которая была твоим одеялом, подвязать веревками подошвы к рваным буркам из стеганой ваты, буркам, которые были твоей подушкой и надо торопиться, ибо двери уже распахнуты, и за проволочной колючей загородкой дворика стоят конвоиры и собаки.



Мы — в тифозном карантине, но нам не дают бездельничать. Нас «гоняют» на работу — не по спискам, а просто отсчитывают пятерки в воротах. Существует способ, довольно надежный, попадать каждый день на сравнительно выгодную работу. Нужны только терпение и выдержка. Выгодная работа — это всегда та, куда берут мало людей — двух, трех, четырех. Работа, куда берут двадцать, тридцать, сто — это тяжелая работа — большей частью земляная. И хотя никогда арестанту не объявляют заранее места работы, — он узнает об этом уже в пути, удача в этой страшной лотерее достается людям с терпением. Надо жаться сзади, в чужие шеренги, отходить в сторону и кидаться вперед тогда, когда строят маленькую группу. Для крупных же партий самое выгодное переборка овощей на складе, хлебозавод — словом, все те места, где работа связана с едой; будущей или настоящей — там есть всегда остатки, обломки, обрезки того, что можно есть.

Нас выстроили и повели по грязной апрельской дороге. Ноги конвоиров бодро шлепали по лужам. Нам в городской черте ломать строй не разрешалось — луж не обходил никто. Ноги сырели, но на это не обращали внимания — простуд не

боялись. Студились уже тысячу раз, и притом самое грозное, что могло случиться — воспаление легких, скажем — привело бы в желанную больницу. По рядам отрывисто шептали: «На хлебозавод, слышь вы, на хлебозавод» — есть люди, которые вечно все знают и все угадывают. Есть и такие, которые во всем хотят видеть лучшее. Для других, напротив, все идет к худшему, и всякое улучшение они воспринимают недоверчиво, как некий недосмотр судьбы.

Самые смелые надежды сбылись — мы стояли перед воротами хлебозавода. Двадцать человек, засунув руки в рукава, топтались, подставляя спины пронизывающему ветру. Конвоиры, отойдя, закуривали. Из маленькой двери, прорезанной в воротах, вышел человек без шапки, в синем халате. Он поговорил с конвоирами и подошел к нам. Медленно он обвел взглядом всех. Колыма каждого делает психологом, а ему надо сообразить в одну минуту очень многое. Среди двадцати оборванцев надо выбрать двоих для работы внутри хлебозавода, в «цехах». Надо, чтобы эти люди были покрепче, чтобы они могли таскать носилки с битым кирпичем, оставшимся после перекладки печи. Чтоб они не были ворами, «блатными», ибо тогда рабочий день будет потрачен на всякие встречи, передачу «ксив» (записок), а не на работу. Надо, чтоб они не дошли еще до границы, за которой каждый может стать вором от голода, ибо в цехах их ведь никто караулить не будет. Надо, чтобы они не были «склонны к побегу». Надо...

И все это надо прочесть на двадцати арестантских лицах в одну минуту и тут же выбрать.

— Выходи, — сказал мне человек без шапки. — И ты, — ткнул он моего веснушчатого всеведующего соседа. — Вот этих возьму, — сказал он конвоиру.

— Ладно, — сказал тот равнодушно.

Завистливые взгляды провожали нас.



У людей никогда не действуют сразу с полной напряженностью все пять человеческих чувств. Так и сейчас, переступив порог хлебозавода, я стоял, не видя сочувственных и до-

брожелательных лиц рабочих (здесь работали и бывшие и сущие заключенные), не слышал слов мастера — знакомого человека без шапки, объяснявшего, что мы должны вытаскивать на улицу битый кирпич, что мы не должны ходить по другим цехам, не должны воровать, что хлеба он даст и так — я ничего не слышал. Я не ощущал и того тепла жарко натопленного цеха, тепла, по которому так стосковалось мое тело за долгую зиму.

Я вдыхал запах хлеба, густой аромат «буханок», где запах горящего масла смешивался с запахом поджаренной муки. Ничтожнейшую часть этого подавляющего аромата я жадно ловил по утрам, прижав нос к корочке еще не съеденной «пайки». Но здесь он был во всей густоте и мощи и, казалось, разрывал мои ноздри.

Мастер прервал очарование:

— Загляделся, — сказал он, — пойдем в котельную.

Мы спустились в подвал. В чисто подметенной котельной у столика кочегара уже сидел мой «напарник». Кочегар в таком же синем халате, что и у мастера, курил у печи, и было видно сквозь отверстия в чугунной дверце топки, как внутри металось и сверкало то красное, то желтое пламя, и стенки котла дрожали, гудели от судорог огня.

Мастер поставил на стол чайник, кружку с повидлом, положил буханку белого хлеба.

— Напой их, — сказал он кочегару. — Я приду минут через двадцать. Только не тяните, ешьте быстрее. Вечером хлеба дадим еще, на куски поломайте, а то у вас в лагере отберут.

Мастер ушел.

— Ишь, сука, — сказал кочегар, вертя в руках буханку. — Пожалел тридцатки, гад. Ну, подожди, — и он вышел вслед за мастером, и через минуту вернулся, подкидывая на руках новую буханку хлеба.

— Тепленькая, — сказал он, бросая буханку веснушчатому парню. — Из тридцаточки. А то, вишь, хотел полубелым отделаться. Дай-ка сюда, — и взяв в руки буханку, которую нам оставил мастер, кочегар распахнул дверцу котла и швыр-

нул ее в гудящий и воющий огонь. Захлопнув дверцы, засмеялся.

Вот так-то, — весело сказал он, поворачиваясь к нам. Зачем это, — сказал я, — лучше бы мы с собой взяли. С собой мы еще дадим, — сказал кочегар.

Ни я, ни веснушчатый парень не могли разломить буханку.

— Нет ли у тебя ножа? — спросил я у кочегара.

— Нет. Да зачем нож?

Кочегар взял буханку в две руки и легко разломил ее. Горячий ароматный пар шел из разломленной ковриги. Кочегар ткнул пальцем в мякиш.

— Хорошо печет Федька, молодец, — похвалил он.

Но нам не было времени доискиваться — кто такой Федька. Мы принялись за еду, обжигаясь и хлебом, и кипятком, в который мы замешивали повидло. Горячий пот лился с нас ручьями. Мы торопились — мастер вернулся за нами.

Он уже принес носилки, подтащил их к куче битого кирпича, принес лопаты и сам насыпал первый ящик. Мы приступили к работе. И вдруг стало видно, что обоим нам носилки непосильно носить. Кружилась голова, нас пошатывало. Вторые носилки грузил я и положил вдвое меньше первой ноши.

— Хватит, хватит, — сказал веснушчатый парень. Он был еще бледнее меня или это веснушки подчеркивали его бледность.

— Отдохните, ребята, — весело и отнюдь не насмешливо сказал проходивший мимо пекарь, и мы покорно сели отдыхать. Мастер прошел мимо, но ничего нам не сказал.

Отдохнув, мы снова принялись за дело, но после каждого двух носилок садились — куча мусора не убывала.

— Покурите, ребята, — сказал тот же пекарь, снова появляясь.

— Табаку нету.

— Ну, я вам дам на цыгарочку. Только надо выйти. Курить здесь нельзя.

Мы поделили махорку, и каждый закурил свою папироску — роскошь, давно забытая. Я сделал несколько медленных затяжек, бережно потушил пальцем папиросу, завернул ее в

бумагу и спрятал за пазуху.

— Правильно, — сказал веснушчатый парень. — А я и не подумал.

К обеденному перерыву мы освоились настолько, что заглядывали и в соседние комнаты с такими же пекарными печами. Везде из печей вылезали с визгом железные формы и листы, и на полках везде лежал хлеб. Время от времени приезжала вагонетка на колесиках, выпеченный хлеб грузили и возили куда-то, только не туда, куда нам нужно было возвращаться к вечеру — это был белый хлеб.

В широкое окно (без решеток) было видно, что солнце идет к закату. Из дверей потянуло холодком. Пришел мастер.

— Ну, кончайте. Носилки оставьте на мусоре. Мало-мало сделали. Вам и за неделю не перетаскать этой кучи, работнички.

Нам дали по буханке хлеба, мы изломали его на куски, набили карманы... Но сколько может войти в наши карманы?

— Прячь прямо в брюки, — командовал веснушчатый парень.

Мы вышли на холодный вечерний двор — партия уже строилась — нас повели обратно. На лагерной «вахте» нас обыскивать не стали — в руках хлеба никто не нес. Я вернулся на свое место, разделил с соседями принесенный хлеб, лег и заснул, как только согрелись намокшие, застывшие ноги.

Всю ночь передо мной мелькали буханки хлеба и озорное лицо кочегара, швыряющего хлеб в огненное жерло топки.

*В. Шаламов*

## НОВЫЕ СТИХИ

### ДВОИЧНОЕ СЧИСЛЕНИЕ

Слова сближаются, дыша  
Простой и сложной симметрией:  
Как R и Я, как *т* и *ш*,  
Или как Марфа и Мария.

Крест-накрест спаяны в стихе  
Четыре строчки и два эха,  
Как в золотистой шелухе  
Ядро волошского ореха.

Кто в отупенье видит пень  
И тень почувствует в растенье,  
В весеннем — сень, в томленье — лень,  
В разладе — ад, в сближенье — жженье —

Теснее чары! За слова,  
За связь, родившуюся в мире,  
Где  $2^2$ ,  $2 + 2$   
И  $2 \times 2 = 4$

### ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ

я тут мотался по горам  
под водопадный тарарам,  
  
валялся на траве густой  
и мял альпийский травостой,  
  
а под орехом закусил —  
ого, как он плодоносил!

А этим летом всё не так:  
не водопад — а водокап,  
не травостой — а травояг,  
и тот орех плодоослаб.

## ДИАЛЕКСИКА ПРИРОДЫ

К словам я присмотрюсь,  
Прислушаюсь, придвинусь,  
То вижу минус-плюс,  
То слышу плюс и минус.

Возьмем, к примеру, лесь  
И звонкую монету:  
У лести рифма — есть,  
А у монеты — нету.

В небытии есть быть,  
А в глухоте есть ухо,  
В любить таится бить,  
В аду — кусочек духа.

У каждой из частиц  
Есть собственная анти.  
У лестницы есть ниц,  
И Данте скрыт в педанте.

А Данте кто? Поэт:  
Талант и эмигрант он,  
Поэтому “Да-нет”  
Содержится и в Данте.

## ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

Лес весною суетится,  
Ни минуты нет покоя,  
Плещут крылышками птицы,  
Поднимая в нем такое...

Всюду пары, пары, пары,  
Как Психеи и Амуры —  
Ахи-охи, тары-бары,  
Фигли-мигли, шуры-муры...

## ПЕРЕВЕРТЕНЬ

Один молодой писатель, которому в 1938 году было пять лет, недавно сказал мне: «Можно вам задать вопрос? Скажите, как случилось, что вы уцелели?»

*И. Эренбург «Люди, годы, жизнь»*

Я прочитал в «Эвр» статью Жионо, он писал, что «живой трус лучше мертвого храбреца».

*Там же*

Икар и Азор как роза и раки:

Азору роза,

Икару — раки.

Азор умен — ему роза,

Икар умер — ему раки.

Азор умел — ему роза,

А раки — кара.

А роза упала на лапу Азора,

А раки ели в иле Икара.

## УХО И ЭХО

Глаз видит показуху,

А эхо слышно уху.

В стране, где много смеха,

Хохочет звонко эхо.

А там, где много страха,

Кричит и плачет ахо.

А где живется плохо,

Там горько стонет охо:

“На родине — счастье!”

— Народ... и... несчастье...

“На родине — воля!”

— Народ... и... неволя...

“Коммуну же надо! Ставьте!”

— Кому... нужен... ад?.. Оставьте!..

## САД И ЛЕС

Газоны, вазоны,  
Запретные зоны,  
Кусты по ранжиру,  
Цветы для блезиру.

Тут грядки, там клумбы,  
Тут гравий, там травы,  
И штамбы как тумбы —  
Равнение направо!

А лес — это схватка,  
Ходынка и хаос,  
И слабым не сладко  
Там жить задыхаясь.

однаковнимательныйвзорвнемувидитпре  
лестьумаистрогостьлюбви

Однако внимательный взор в нем увидит  
прелесть ума и строгость любви.

Однако внима-  
тельный взор в нем уви-  
дит прелесть ума  
и строгость любви.

*Николай Моршен*

## НЕИЗВЕСТНЫЕ СТИХИ И. А. БУНИНА\*



И шли века и стены Рая пали,  
И Сад его заглох и одичал,  
И по ночам зверей уж не пугали  
Блистания небесного меча,  
И человек вернулся к Раю — вскуе  
Хотел забыть свой золотой он сон:  
И Сатана, злорадно торжествуя,  
Воздвиг на месте Рая — Вавилон.

29.VI.16.



Бледна приморская страна,  
Луною озаренная.  
Низка луна, ярка волна,  
По гребням позлащенная.

Волна сияет вдалеке<sup>1</sup>  
Чеканною кольчугою.  
Моряк печальный на песке  
Сидит с своей подругою.

Часы последние для них!  
Все ярче дюны светятся.  
Они невеста и жених,  
А вновь когда-то встретятся?

Полночная луна глядит  
И думает со скукою:  
“В который раз он тут сидит,  
Целует пред разлукою?”

---

\* См. «Н. Ж.» кн. 89.

Эти неизвестные стихи И. А. Бунина присланы нам Л. Ф. Зуровым из архива Бунина. РЕД.

<sup>1</sup> В первой редакции было «Волна дробится вдалеке».

И впрямь: идут, бегут века,  
Сменяют поколения —  
Моряк сидит! В глазах тоска,  
Восторг и восхищение...<sup>2</sup>



Жизнь промелькнула как во сне.  
И вот уж утро раннее  
Виски посеребрило мне  
И стала даль туманнее.

А все в душе восторг и боль  
И все-то вспоминается,  
Как горьких слез тепло и соль  
Со зноем уст мешается!

22.VII.16.,

### В РОЩАХ УРВЕЛЫ

“Ты-ль повинна, Майя, что презрел  
Сын родной твое земное лоно, —  
Рощи, реки, радость небосклона,  
Красоту и сладость женских тел?  
Ты-ль повинна, Майя, что один  
Человек отраву слез роняет?”

Майя очи долу преклоняет:  
“Может быть, мудрей меня мой Сын?”

23.VII.16.

---

<sup>2</sup> В первой редакции было: «Блаженное мучение» (Это стихотворение было напечатано в 8 т. собр. соч. И. А. Бунина, Москва, 1967). Вторая часть стихотворения печатается впервые. Л. З.

## ВЕНЧИК

Колокола переводили,  
Кадили на открытый гроб —  
И венчик розовый лепили  
На костяной лимонный лоб.

И лишь пристал он и с поклоном  
Назад священник отступил,  
Труп приобщился вдруг иконам,<sup>8</sup>  
Святым и холоду моги.

В тлетворной сладости, смердящей  
От гроба, дыма и цветов,  
Пышнее стал сухой, блестящий  
Из золотой парчи покров —

И пала тень ресниц чернее  
И обострились черты:  
Несть часа на земле страшнее  
И несть грознее красоты.

3.VI.16



Никогда вы не воскреснете, не встанете  
Из гнилых своих гробов,  
Никогда на Божий лик не взглянете,  
Ибо нет восстанья для рабов,  
Темных слуг корысти, злобы, ярости,  
Мести, страха, похоти и лжи,  
Тучных тел и скучной, грязной старости:  
Закопали — и лежи!

27.VI.16

---

<sup>8</sup> В первой редакции было: «ты приобщился вдруг иконам» (это стихотв. напечатано в I т. собр. соч. И. А. Бунина, Москва, 1967). Четыре последних строфы «в тлетворной слабости...» печатаются впервые. Л. З.



На всякой высоте прельщает Сатана.  
Вот всё внизу, все царства мира —  
И я преображен. Душе моей дана  
Как бы незримая порфира.

Не я ли царь и Бог? Не мне ли честь и дань?  
Каким великим кругозором  
Синеет даль окрест! И где меж ними грань —  
Горой Соблазна и Фавором?



Луна и Нил. По берегу, к пещерам,  
Идет народ, краснеют фонари.  
На берегу, в песке сухом и сером,  
Ряды гробниц — и все цари, цари.

Иной как был — под крышкой золоченой,  
Иной открыт — в тугую пелену,  
В пахучий кокон тесно заключенный,  
Пять тысяч лет не видевший луну.

Что в коконе? Костяк в землистой коже,  
Крест тонких рук, иссохший узкий таз,  
Чернеет лик, — еще важней и строже,  
Чем в оны дни, — чернеют щели глаз.

Подкрашенные (желтые) седины  
Страшней всего. О да, он в мире жил  
И был он стар, дикарь и царь, единый,  
Царь дикарей, боготворивших Нил.

И полдень был, и светел в знойном свете  
Был сад царя, и к югу, в блеске дня,  
Терялся Нил... И пять тысячелетий  
Прошли с тех пор... Прошло и для меня:

Луна и ночь, но все на том же Ниле  
И вновь царю сияет лунный Нил —  
И разве мы в тот полдень с ним не жили  
И разве я тот полдень позабыл?

Превращается имя и отчество  
В предвечернее пламя и облачко,  
И становится дата рождения  
Отражением — в озере — дерева.  
И становится даже профессия  
Колыханием, феей и песенкой,  
И остатки какого-то адреса  
Превращаются в лотос и аиста.  
И подумайте стала фамилия  
Розоватым фламинго — и лилией.

## 2

И ангелу случается отчаяться.  
Он вешается, топится, стреляется.  
Его душа, печальная страдалница,  
Во что-то маленькое воплощается.  
Ей суждено (он не успел раскаяться)  
Жить гусеницей или каракатицей.  
И вот живет, питается, спасается,  
И прошлое не жжет, не вспоминается.  
А после воплощается смиренница  
В снежинку (потерпи — и переменится)  
И, светлая, она летит над улицей  
И ангелами дальними любит.

## 3

В долине плача, в юдоли печали  
(Мели, Емеля, твоя неделя),  
Где гуси-лебеди пролетали,  
Мы заиграли, мы загуляли.

Кисельные реки, молочный берег —  
И мы там были, и пели, и пили.  
По усам текло, а в рот — попало?  
Да нет, не попало, пиши пропало.

Аленушка, слушай — Лель на свирели,  
Уплыло горе в заморское море!  
— Мели, Емеля, твоя неделя —  
Ай да люли, разлюли малина!

Долина плача, моя долина.



Лошади впадают в Каспийское море.  
Более или менее впадают и, значит,  
овцы сыты, а волки — едят Волгу и сено.

О, гармония Логоса! И как же иначе?  
Серый волк на Иване-царевиче скачет  
(по-сибирски снежок серебрится)  
и море,  
которому пьяный по колено,  
зажигает большую синицу  
в честь этой победы Человека.

Человек, это гордо!  
Любит карась погреться в сметане,  
чтобы милая щука поела, дремала.  
Перстень проглотил рыбу царского грека.  
Дважды два семь, не много, не мало.  
Солнце ясней, когда солнце в тумане.

Солнце слабеет. Как бледно и серо.  
У Алжирского носа под самым Беем  
тридцать пять тысяч одних курьеров.

*Игорь Чиннов*

# СИРИУС

Во втором часу ночи депутатский поезд ушел в Петроград. Синие вагоны с орлами остались стоять на опустевшем вокзале. Началась оттепель. С навесов капало. Долетал стук молотков по рельсам, сигнальные рожки.

Поздно ночью подали паровоз. Вышел начальник станции с несколькими служащими и двое военных. Тронулись, по обыкновению, тихо, беззвучно. Кто-то из стоявших на перроне перекрестился.

Когда вышли в темноту полей и лесов и набрали ход, в переднем вагоне хлопнула дверца, а в кухне застучали посудой. Граф Фредерикс не повернул ни головы, ни глаз устремленных в одну точку, когда вбежал гофмаршал князь Долгорукий, упал на диван и зарыдал.

— Что милый?

— Точно бездомный какой-то!.. Точно нищий! — всхлипывал Долгорукий. Он рассказал, как вошел к императору доложить, что поезд не снабдили провизией и чтобы не посетовал, если завтра стол будет из случайных запасов. А он: — Да все равно. Если дадите стакан чая и кусок хлеба, я буду доволен.

Душа перевернулась! — плакал Долгорукий.

Фредерикс, вдруг, поднялся. Он вспомнил, что государь сразу же по уходе Шульгина и Гучкова сказал ему: «Как только тронемся, придите ко мне».

Купе государя освещалось одной лампадой перед образом. Царь поднялся навстречу министру и обняв его заплакал. Поцеловав государю руку, старый граф просил, как последней милости — оставаться при нем безотлучно, где бы он ни находился.

— Спасибо Владимир Борисович! Как я могу отказаться от такой рыцарской службы!

Фредерикс хотел что-то сказать, запнулся и после некоторой паузы горячо одобрил решение царя ехать в Ливадию.

— В Ливадию? Как так?..

— Там сейчас весна, все цветет... Я молодею при мысли, что уже утром мы с вашим величеством будем дышать этим благодатным воздухом. Кажется, мы подходим к Джанкою.

Государь печально посмотрел на старика. Потом ему сделалось страшно. Поцеловав его в высохшие щеки, он настоял, чтобы граф вернулся к себе и отдохнул после стольких волнений. Проводил его до конца своего вагона и потом долго стоял на площадке, вслушиваясь в музыку мчавшегося поезда.

Затерявшись в псковских озерах, в витебских болотах, в кривичах и радимичах, заблудившись в лесах и перелесках, синий поезд вступил под утро в царство мертвого сна. Многие заснули не раздеваясь, кто на диване, кто сидя в креслах. Царь остался на софе в своем зеленом кабинете. Ему приснился знакомый сон. Он увидел себя в большом вокзальном зале. Стены внезапно разошлись и снаружи, ослепляя блеском, стала надвигаться голубая скала.

Император, видимо вскрикнул во сне, потому что дежуривший по соседству камердинер приоткрыл дверь кабинета и долго прислушивался к беспокойному дыханию государя.

К одиннадцати началось пробуждение. Слышно было, как застонал в своем купе адмирал Нилов. Штакельберг сидел неподвижный, плакал и сморкался. Воейков громко бранил Рузского и Алексея.

Государь, еще не открывая глаз почувствовал, как кто-то чужой и холодный будит его. В кабинете никого не было. Он хотел опять заснуть, но все скорпионы дремавшие в груди зашевелились и впились в сердце.

Когда то, в лазаретах, солдаты говорили ему, что боль от раны в первую минуту не замечается. — «Как он рубанул меня, ваше императорское величество, так я ничего и не почувствовал, вижу только, что рука на одной кожурилке болтается. Хотел сгоряча оторвать да бросить, чтобы не мешала. А как наши погнали их, вахмистр Федоренко кричит: — вертай до коновязей! Как я повернул коня, тут мне худо и стало».

Вчера во Пскове, на месте казни, тоже не чувствовалось боли; сегодня, будто раскаленное железо попало внутрь. Только мелькавшие за окном виды, как пластырь оттягивали одурь и возвращали чувствительность всему, что еще не отмерло в душе. Черневшие на мартовском снегу древесные стволы и сучья привели на память детскую сказку о том, как кот, козел, да баран, выгнанные хозяином, отправились в лес и стали там строить избушку.

Местами, чаща одевалась синевой, создавала сгустки и просветы похожие на прищуренные глаза, на оскаленные рты.

В свитском вагоне герцог Лейхтенбергский плакал, прощаясь как с первой любовью со своим флигель-адъютантством. — «А вы подумали о государе? — спросил Нилов. — Ему какво? После двадцати трех лет царствования проснуться не царем!..»

Вошел Долгорукий, с лицом осунувшимся, как после тяжелой болезни.

— Скажите, Константин Дмитриевич, может ли не быть царем тот, кто самим Богом помазан?.. Я так думаю, что не может. Что Бог дал, того Гучков и Родзянко не в силах отнять. Пусть земная власть отошла, но духовно — он наш царь во веки. — Нилов смотрел с удивлением.

— Теперь, мне кажется, настает истинное его царство и наша настоящая служба ему, до последнего вздоха.

Долгорукий встал и поднял правую руку. — «Будьте свидетелем моей присяги».

Адмирал бросился на шею Долгорукому. — Василий Александрович, да благословит вас Бог!



Днем, на одной из станций, в поезд вошел камергер Базили — директор дипломатической канцелярии при штабе верховного главнокомандующего. Он привез на утверждение государя проект извещения союзников о состоявшемся отречении. Воейков, сделав пальцы вилкой, покрутил ими в воздухе.

— Не в проекте дело. Эта ищейка послана Алексеевым,

чтобы узнать отношение государя к нему и ко всем чинам Ставки.

У Базили оказалась пачка «Известий», выпущенных комитетом петроградских журналистов, и пока камергер согласовывал в царском вагоне свой проект, свита жадно читала столичные новости. Прочли, как 1 марта, в двенадцатом часу вечера, пришел в Таврический дворец господин в шубе, бледный, шатающийся и заявил, что он тоже желает блага своей родине и потому явился добровольно. — Ваше превосходительство, отдаю себя в ваше распоряжение, — обратился он к Керенскому.

— Бывший министр внутренних дел Протопопов! — отчеканил Керенский. — От имени Исполнительного Комитета Государственной Думы, объявляю вас арестованным!

— Умора! — проговорил Нилов.

В листке от 2 марта сообщалось о признании Англией, Францией и Италией Исполнительного Комитета Думы, как единственного представителя власти в России. Потом шло перечисление имен арестованных министров, переведенных из Таврического Дворца в Петропавловскую Крепость. Щегловитова, привезенного в Думу без шубы, отправили в солдатской шинели. Протопопов выспрашивал у солдат и офицеров — что с ним сделают? Штюрмер твердил: — кто поручится, что с меня не снимут голову?

Чтение этой заметки прошло в полном молчании. Один Нарышкин, побледневший до того, что Долгорукому за него стало стыдно, прошептал вдруг: — С нами могут так же поступить.

— Ошибаетесь! — резко ответил Нилов. — Нас и в крепость не будут отправлять, вздернут на первом фонаре.

В настоящее бешенство привела адмирала речь Миллюкова. Листок подробно рассказывал, как он со списком новых министров в руках вошел в Екатерининский зал и объявил солдатам и матросам об образовании «первого русского общественного кабинета». После «ура!» и аплодисментов покрывших его вступление, новый министр стал объяснять, как могло произойти, что русская революция, свергшая старый

режим, оказалась самой короткой и самой бескровной из всех революций? Произошло это оттого, сказал Милюков, что история не знает другого правительства более глупого, бесчестного, трусливого, изменнического, чем павшее царское.

— Сволочь! — проговорил Нилов. — Сам изменник! Сам нож вонзал в спину. От его предательских речей и революция пошла!..

Злость так клокотала в нем, что Штакельберг поспешно налил воды и поднес адмиралу. Нилов хотел еще что-то сказать, но посмотрев кругом, сел на место. — «Не нам теперь громы метать», прочел он на лицах и понял, что пришло время терпеливо выслушивать всякую брань. Он ушел и затворился в своем купе.

А поезд мчался, как в былые державные дни с царственным гулом, со всепобедным стуком колес.

В Оршу, шумную, грязную станцию прибыли, когда стало смеркаться. На отдаленной платформе много народа. Что-то кричали, махали руками, но возле царского поезда было тихо. Постояв немного поезд тронулся и вечером подходил к длинной военной платформе Могилева. Было холодно. Ветер раскачивал фонарь под навесом, отчего выстроившаяся шеренга генералов шаталась из стороны в сторону.

Сотни глаз впились в дверь вагона, из которого должен был появиться государь. Его столько раз встречали на этой платформе, знали с какой ноги ступал на перрон, как держал голову, как окидывал взглядом собравшихся. Теперь ждали выхода царя — не царя.

Первым появился из соседнего вагона герцог Лейхтенбергский. По его похоронному шагу, которым он приблизился к двери, с выставленным перед нею маленьким трапом и вытянувшимися по бокам конвойцами, все поняли что произошло.

Император умер, привезли его тело.

Когда оно по ступенькам спустилось на платформу, видно было, что оно всеми силами хочет выдать себя за императора. Та же темно-серая черкеска, та же папаха, та же манера дер-

жать голову, но было ясно, что это не то, это как бы — тело вставшее из гроба и сияющее продолжать жизнь. Только, когда разглядели обтянувшуюся желтую кожу, выдвинувшиеся скулы, мешки под глазами и готовые брызнуть слезы, поняли, что это не тело, а душа исстрадавшегося человека. Всех передернуло как электричеством. Генерального штаба полковник Киященко зарыдал. Стоявший от него слева генерал Пронин, как приложил к папахе руку для отдания чести, так и стоял не отрывая ее и не принимая протянутой ему руки. Некоторые лишились способности что-либо сказать в ответ на царское приветствие, когда государь обходя строй, каждому говорил несколько слов. Только со свитским генералом Петрово-Соловово, обычно сдержанным и воспитанным в придворных манерах, случился как бы словесный припадок.

— А, вы вернулись! — сказал император здороваясь.

— Так точно ваше императорское величество, вчера с вечерним поездом. Поездка моя была очень удачной, уладил все дела с поземельным банком, уплатил последнюю сумму по выкупу особняка, что на Большой Ваганьковской, а главное посетил больную сестру. Ей теперь значительно лучше...

Кивнув головой, государь хотел перейти к следующему, но генерал продолжал что-то рассказывать...

— Да, ну, хорошо, — проговорил государь и быстро перешел к следующему.

— Боже! Что со мной? — ужаснулся сам себе генерал, зачем это я ?..

— Все мы на грани безумия, ваше превосходительство, — сказал стоявший рядом начальник военных сообщений Тихменев.

Пока подавали царский автомобиль, Тихменев подошел к Фредериксу посоветоваться насчет агентских телеграмм. Они, обычно, прямо от аппарата доставлялись государю, но за последние дни в них появилось столько брани по адресу царя и царской семьи, что Тихменев был в затруднении.

— Спросите Воейкова, — пробормотал Фредерикс.

— Знаете, — сказал Воейков, — посылайте попрежнему. Все равно, что уж теперь... Государь все равно знает.



Утром после чая, император, в сопровождении дворцового коменданта и дежурного флигель-адъютанта, отправился на доклад. У подъезда квартирмейстерской части к нему, как бывало, подошел с рапортом дежурный по штабу офицер. Алексеев, как всегда встретил на первой площадке лестницы. В комнате сели на свои обычные места. У Алексеева тряслись руки, когда он брал бумагу, но спокойствие государя помогло ему благополучно довести до конца обзор положения на фронтах. Генерал Клембовский не сводил с царя глаз, терзаясь догадками — безразличие это или сила воли? Император слушал внимательно, задавал вопросы, делал замечания, даже отдавал приказания. Только, когда кончился мучительный обряд, помолчал и проведя ладонью по лицу сказал: — Ну вот, господа, пришло время и нам с вами расстаться. Тяжело мне это, но видно так надо. Кончать войну вам придется без меня. Хочу думать, что мы победим, иначе быть не может.

— Еще бы одно сердечное слово и мы бы все расплакались, — признавался потом Клембовский. Но у царя никогда не было умения трогать сердца. Он встал, пожал всем руки и вышел.

К трем часам дня, на военной платформе вокзала собралась свита, старшие чины штаба. Приехал император. Пока он в своей кубанской форме ходил по платформе с герцогом Лейхтенбергским, штабные, собравшись кучкой, взволнованно обсуждали случаи брожения начавшегося среди войсковых частей Ставки. В Могилеве оживило подполье и у солдат железнодорожного полка обнаружена прокламация. Свитские перешептывались насчет Алексева, которому будто бы донесли, что солдаты требуют удаления Фредерикса и Воейкова. Алексеев успел доложить об этом государю и с его согласия передал министру и дворцовому коменданту указ немедленно покинуть Ставку.

— Прости ему Бог, что он в такое время вынуждает у государя подобные решения. И что я ему сделал, что он лишает меня последнего счастья быть до конца при моем государе.

Старый граф скрывал, что не изгнание причиняет ему боль, а та легкость с которой государь согласился на это.

Показался поезд. В вагонном окне мелькнуло лицо согревшее всех неожиданной радостью. Как будто сейчас только узнали, что в России есть другая государыня — не немка, не распутинская поклонница, а ласковая царица — живой памятник бывшего царствования. Когда она, выйдя из вагона и обнявши сына обошла великих князей, свиту, генералитет, каждому улыбнулась, сказала приветливое слово, события последних дней отступили куда то, как тяжелый сон.

С императрицей Марией Федоровной прибыла ее фрейлина графиня Менгден, шталмейстер князь Шервашидзе, великий князь Александр Михайлович, генерал-лейтенант князь Сергей Долгорукий. Привезли много нового о петербургских событиях. Их обступили и жадно слушали. Тем временем, мать и сын медленно пошли вдоль платформы, тихо беседуя. Подойдя к пустому сарайчику, неизвестно для чего выстроеному в самом конце платформы, они вошли и затворили за собой дверь. Разговоры на платформе разом смолкли. Добрую четверть часа длилось ожидание. Когда дверь отворилась снова, увидели Николая бледного, но как всегда непроницаемого, а по лицу Марии Федоровны видно было, что она только что горько плакала.

Во дворце уже готов был стол. Но Николай с матерью уединились в отведенных ей покоях и оставались там так долго, что собравшиеся не знали что делать. Стоял небывало громкий говор. Кто-то утешал Воейкова. — Отчего у тебя такой удрученный вид? Что тут особенного если тебя при перевороте и арестуют? У тебя есть состояние. Правда, ты лишишься положения, которое имел, но прекрасно можешь устроить жизнь и без придворных привилегий.

Принц Ольденбургский, привыкший всю жизнь наводить порядок, на всех кричать, всех распекать, казался очень доволен случившимся. — Что получили? Я бы вас и не так еще!.. Сумбур-паша как будто жалел, что люди кругом чересчур сильно наказаны и нет таких на которых можно было бы обрушиться, как прежде. Один Воейков показался подходящим.

Приблизившись к нему он начал: — Вы должны просить генерала Алексеева дать вам назначение в строй, на фронт, дабы искупить свою вину!

— Какую же вину, выше высочество?

— Как какую? Все считают вас одной из причин революции. Ваше тлетворное влияние на государя!.. Ваша закулисная политика!..

Александра Михайловича позвали к царице. Войдя он увидел ее сидящей и плачущей навзрыд. Николай стоя рядом курил.

— Мы с тобой, кажется, не поздоровались на вокзале, — сказал он зятю, — прости. Они обнялись. Оба что-то хотели сказать друг другу. Царь заговорил о только что полученном известии об отречении брата.

— Удивляюсь, кто дал ему такой странный совет. Оставить Россию без императора!.. Он не должен был этого делать.

Великий князь стиснул зубы. Он только что хотел спросить, почему сам Николай так внезапно и нелепо отрекся. Проникши в его мысли, царь замолчал. Потом, как бы отвечая на вопрос, стал сбивчиво говорить о своем желании избежать гражданских смут в России, о желании удержать армию в стороне от политики, дабы она смогла довести войну до победы. Выразил уверенность, что Временное Правительство будет править Россией более успешно, чем старая власть. Он попятился, взглянув в полные ненависти глаза своего Сандро.

«Ничтожество!» — прочел он в них.

Николаю было известно, что где то Сандро назвал его так однажды. И сейчас, казалось, вот-вот опять назовет. Он молча вынул пачку телеграмм полученных во Пскове от главнокомандующих фронтами.

— Я бы не придавал им особенного значения, если бы не эта.

Он достал одну, подписанную великим князем Николаем Николаевичем.

— Даже он!

Доложили, что завтрак подан.

За столом государь и императрица говорили мало, больше

отвечали на вопросы. Фредерикс походил на фантастическую птицу и когда говорил, не поворачивал головы. Только один раз, чуть не всем корпусом повернулся в сторону принца Ольденбургского.

— Что же вы, граф, намерены теперь делать?

— Собственная судьба меня меньше всего занимает. Но осмелюсь спросить ваше высочество, каковы ваши дальнейшие планы?

— Я поеду в Гагры.

— Желаю вам там спокойной и счастливой жизни.

На конце стола вполголоса шел разговор о том, что и при новой власти жить будет можно. Ну на первое время нужно будет куда-нибудь исчезнуть, отойти в тень, а там... В конце концов, офицеры не такой товар, что на дороге валяется; будут продолжать войну так и мы понадобится. Рассказывали, что генералу Корнилову уже предложен пост начальника петроградского гарнизона, что уезжая в столицу он высказал уверенность в скором успокоении страны и в благоприятном течении дел при новом строе. Надо только с большим доверием относиться к русскому солдату. После обеда — шумные разговоры о приказе нового правительства. Он уже ходил по рукам в Ставке и во всем Могилеве. Воинская дисциплина отменялась, одание чести отменялось, но самое главное — офицеры должны будут не назначаться, а выбираться солдатами. Высшим начальством будут не генералы, а солдатские комитеты.



Вернулся из Вырицы генерал Иванов с Георгиевским батальоном. Весь город высыпал смотреть, как стройный отряд в отличном порядке с барабанным боем маршировал по улицам. У Николая, глядевшего в окно, защемило в горле, когда раздалась команда: «Смирно! Равнение на-право!» и весь отряд, как на параде повернул к нему головы. Явился Николай Иудович с докладом, но сказавши два-три невнятных слова упал на колени и разрыдался.

В Ставке, вообще, было много слез. Фредерикс плакал

при любом разговоре. Он всем жаловался, что шестьдесят лет верно служил царю, а теперь изгоняется, как собака. Воейков был занят упаковкой многочисленных чемоданов. Понадобилось две подводы для доставки их на станцию. Но следя за укладкой вещей, дворцовый комендант не упускал случая навещать Штакельберга, Нилова, Долгорукого.

— А вы знаете, что сказал мне Алексеев? «Народу нужны жертвы. Переговорив с Родзянко и Гучковым, мы пришли к выводу, что вы и граф должны быть этими жертвами». Нилову он сообщил: — «Когда я отправился к Алексееву, в передней скороход Климов с усмешкой сказал мне, что генерал находится в городе на базарной площади, где под его председательством происходит первый солдатский митинг».

На вопрос куда собирается ехать, Воейков отвечал, что хочет добраться до своего пензенского имения в котором ему, может быть, удастся остаться жить. Несмотря на такие ясные планы, он заметно трусил. Пробовал через графиню Менгден обратиться к императрице Марии Федоровне с просьбой взять его в свой поезд. Императрица ничего не ответила, но один из ее свиты сказал Воейкову: «Как ты можешь проситься ехать в поезде с императрицей? Во-первых, мы сегодня не уезжаем, а во-вторых, твое присутствие в поезде может представлять для нас большой риск». Воейков понял, что свита не дoloжила царице его просьбу.

В этот день офицеры Ставки объявили своим деньщикам и всем нижним чинам, что теперь будут называть их «вы», а что они не должны называть начальство иначе как «господин генерал» и «господин полковник». Солдаты растерялись. Некоторые просили: — «Позвольте ваше высокопревосходительство, чтобы по-старому было». Но нашлись и противники старого строя. Парикмахер Ставки отказался брить бывшего царя. Пришлось вызвать штатского парикмахера из города. Поздно вечером, скороход Климов доложил, что на утро, в воскресенье будет обедня в присутствии их величеств в штабной церкви на берегу Днепра.



Дул холодный ветер. В городе неуютно. Но в ограде ста-

рой Троицкой церкви собралось много народа. Внутри одни военные. Солдаты рядами в парадной форме со знаками отличия, а спереди, ближе к амвону — генералы. Государь с императрицей на царских местах за левой колонной против северных дверей. Там — ковры, два деревянных кресла и теплилось много лампад.

— Благослови Владыко! — загудел дьяконский бас. — Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа! — отвечивал из алтаря старческий голос.

Служба началась. Хор пел вдохновенно. Сквозь пение и синие волны ладана, как голос с неба, долетал иногда звук колокола. Генерал Алексеев, неистово крестился и подолгу стоял на коленях. Но вот началась ектения и по церкви, как дуновение пронеслось; вместо «самодержавнейшего великого государя нашего Николая Александровича» поминали просто «государя Николая Александровича».

— Слышите? Слышите?..

Замелькали платки подносимые к глазам. Кто-то всхлипнул. Но когда дьякон закончил возгласом: «И сохрани их на многая лета!» — вся церковь, как один, опустилась на колени.

По окончании службы Николай с матерью первыми подошли к кресту. За оградой их ждала толпа. Военные отдавали честь, штатские снимали шапки. Севши в автомобиль, царь и царица грустно отвечали на приветствия народа.

За чаем, на этот раз, было больше оживления. Императрица, повидимому, органически не могла долго быть в подавленном состоянии. Печально, но много говорила она с Фредериксом, с Александром Михайловичем, только с собственным сыном, сидевшим рядом, не обмолвилась ни словом.

Вечером в шесть часов, отправились провожать Фредерикса и Воейкова. Против ожидания, собралось много народа, приехали даже штабные.

— Что бы там ни было, он наш брат военный. Ну, пусть сошел с правого пути, но ведь с кем этого не бывает!

Профессор Федоров заметил, что на Воейкова и его тестя смотрели, как на осужденных и жалеют, как всегда жалели преступников на Руси.

Что с ними теперь будет?

Что будет? Повесят, конечно, или расстреляют. Ну, ни пуха вам, ни пера, Владимир Николаевич! Сердечный привет Нине Владимировне. Я всегдашний ее и неизменный поклонник.

Поехали в разные стороны — Воейков на восток, Фредерикс — на запад.



Восьмого марта все проснулись раньше обыкновенного. Если бы в это утро пришло известие, что немцы прорвали фронт или взяли Ригу, никто не обратил бы внимания. Брились, причесывались, надевали мундиры, ордена. После десяти, чины Ставки начали собираться в управлении дежурного генерала, где был самый большой зал. Те что помнили, как два с половиной года тому назад шли в Зимний Дворец, в день объявления войны — едва удерживались от слез.

К одиннадцати зал был полон. Когда-то тут помещался могилевский окружной суд. Сохранилась даже невысокая балюстрада отделявшая места для публики от судей.

— Неужели нам сегодня предстоит быть судьями? — сказал великий князь Александр Михайлович брату Сергею, когда они проходили в эту часть зала через широкий проем в балюстраде.

— Ты, кажется, настроен очень судейски, — ответил тот.

Направо от входной двери темнокрасной шпалерой выстроились конвойцы, потом солдаты Георгиевского батальона и пестрые формы собственного его величества сводного пехотного полка. Вдоль другой стены — офицеры. У самой двери, налево, встал Алексеев со всем штабом. Придворные чины и члены царствовавшего дома поместились отдельно и неподалеку от них — военные представители союзников. Союзники скромно встали сзади, но так, чтобы все могли их видеть.

— Dans quels temps vivons nous! — произнес генерал Манжен, когда Клембовский поздоровался с ним, проходя на свое место.

Ровно в одиннадцать, генералу Алексееву доложили, что

государь вышел из дворца. У чинов штаба мелькнуло беспокойство, ответят ли ему на приветствие стоявшие внизу у лестницы солдаты. Но через несколько минут в зал долетело: — «Здравия желаем ваше императорское величество!» Потом легкие шаги по лестнице.

— Господа офицеры! — скомандовал Алексеев и двинулся навстречу государю. Николай был в любимой кубанской черкеске с белым георгиевским крестом. Пожав руку Алексееву, поздоровался с солдатами.

— Здравия желаем ваше императорское величество! — гаркнула сотня голосов. Этот молодецкий крик, которого никто не предвидел, резнул всех по сердцу.

— Что делаем?!..

Но осунувшееся лицо царя не оживилось. Он вышел на середину залы, держа левой рукой папаху на эфесе своей шашки. Было видно, что он приготовил речь, хотел ее произнести, но не мог начать и долго молчал. Тишина установилась такая, что казалось, если ее сейчас же не нарушат чем-нибудь, она сама с грохотом рассыпется.

— Сегодня... я вижу вас... в последний раз. Такова воля Божия...

Правая рука императора заметно дрожала. Ни до кого не доходил смысл его слов. Все видели только эту дрожащую руку и измученные глаза.

— Волею Божиею мне суждено оставить верховное командование...

— Господи! Господи!.. — прошептал кто-то, захлебываясь слезами.

У рослых казаков — в глазах слезы.

— Я видел вашу самоотверженную работу и знаю сколько сил положили вы на служение России. Мне выпало счастье делить с вами бремя войны с упорным и злым врагом и я верю, что наш совместный труд не пропадет, Россия вместе со своими союзниками выйдет победительницей и наши жертвы не будут напрасны.

Теперь плакали не одни нижние чины, но и генералы. Кто мог сдерживаться, у тех тряслись губы и подбородки. Послы-

шались глухие рыдания. А человек в казачьей форме прерывающимся голосом говорил, что благо отечества ему дороже всего, благодарил за службу и призывал так же верно служить новому правительству.

Кончив речь император поклонился и подойдя к офицерам стал пожимать трясущейся рукой такие же трясущиеся руки и бормотал что-то сквозь слезы. Штабс-ротмистр Муханов упал в обморок. Слыша всхлипывания государь оборачивался, сился улыбнуться. Возле шеренги Георгиевского батальона — два новых обморока. Грохнулся конвоец. Усилившийся со всех сторон плач заставил царя прекратить прощание. Он направился к выходу. Навстречу опять выступил Алексеев с лицом мокрым от слез и начал что-то говорить. Никто не разобрал его слов, видели только, как государь обнял и поцеловал своего начальника штаба.

Как только стихли его шаги, зала загудела, как класс после выхода учителя. Английский генерал Вильямс бросился к Клембовскому и взяв обеими руками его левую руку стал трясти, словно стараясь вытянуть признание.

— Почему? Почему вы не стали его умолять вернуться к власти?.. Ведь вы же все за него!..

Тоже говорил бельгиец генерал де Рикель. По его словам, при такой любви к царю, Ставка могла бы увлечь за собой армию и смести революцию.

— Храбрые вы люди, русские, — продолжал Вильямс. — У нас в Англии есть пословица, что нельзя во время переправы менять лошадей. Вы же не только лошадей, но и повозку переменяли!

— Осмелюсь доложить вашему превосходительству, — сказал генерал Кондзеровский, — что во всех этих переменах деятельное участие принимал английский посол Бьюкенен.

— Я думаю, не все одобряют деятельность Бьюкенена, — ответил Вильямс.

Расходились кучками, оживленно разговаривая и часто останавливаясь по дороге. Александр и Сергей Михайловичи шли вдвоем. Сергей Михайлович доставал время от времени платок и вытирал глаза.

Ты я вижу раскис не хуже самого Ники.

— Не надо быть таким жестоким, Сандро!

— Жестоким?.. Это он совершил жестокость. Всех своих верных слуг погубил, семью, весь царствующий дом...

— Надо смотреть шире. Ведь гибнет Российская Империя.

— Вот за империю то и нет ему прощения. Отдать ее без борьбы, без выстрела, по первому наскоку «организованной общественности», распорядиться Россией, как костромским имением, никого не спросив, ни с кем не посоветовавшись, подставить под обух собственную семью... Ничтожество!..

— Сандро!

— Но если царствовал бесславно, так хоть бы ушел по-царски. А то, ведь, мы видели не императора слагавшего с себя венец, а начальника почтового ведомства уходящего в отставку. Зачем он после заикающейся речи начал эти нелепые рукопожатия? Бездарный актер! Даже заключительного монолога под занавес не мог толком произнести. Так ли прощался Наполеон в Фонтенбло? И зачем понадобилось объяснять причину отречения? «Для пользы России» видите ли!.. Значит, пребывание его на троне было во вред ей?..

— У тебя желчь разлилась.

— Дай Бог, чтобы обошлось только желчью. Скоро наша кровь потечет...



После прощания со Ставкой государю полагалось бы уехать. Он и сам дорого бы дал, чтобы сразу отправиться на вокзал и сесть в поезд. Но позволения Временного Правительства не было. Продолжал жить в губернаторском доме — не царь, не верховный главнокомандующий, не простой смертный. Тягостнее всего было выходить к обеду и к чаю. На обед он отправлялся в вагон к старой императрице, там можно было поговорить и поплакать. Плакала она, у Николая все выражалось в курении. Он постоянно думал об Аликс, о детях, но не упоминал о них, знал что для матери имя Аликс — самое ненавистное сейчас.

В губернаторском доме, в отсутствие императора говорили свободнее. Нилову, Долгорукому и Дубенскому Федоров передал свою беседу с союзническими генералами. Советуют государю не задерживаться в России, как можно скорее уезжать. Революция только началась и Бог знает до чего может прийти.

— Да уж это так, — согласился Нилов, — раз допустили, теперь всего можно ждать. Только легко советовать, а куда уезжать?

— В Англию, конечно, об этом все говорят.

— В Англию!.. Через Балтийское море, что ли? Надо через Мурманск, а там немецкие подводные лодки, как шуки сторожат.

— Да что вы, Константин Дмитриевич, неужели у них хватит духу потопить корабль с царской семьей?

С немцев все станется.

— Но ведь можно обратиться к императору Вильгельму.

— Его-то я и боюсь. Он зверь, во-первых, а во-вторых, — дурак. А дураки всего опаснее.

— Государь мог бы найти в Англии надежный приют. К тому же у него там есть кой-какие банковые вложения.

— Да если и нет, — сказал Долгорукий, — то одни драгоценности, что августейшая семья возьмет с собой, позволят ей безбедно прожить, особенно при скромности и неприхотливости их величеств.

Нилов говорил, что согласен сидеть на цепи и жить в собачьей будке, лишь бы видеть каждый день государя.

— Какого великолепного бульдога приобретет Англия, — шепнул Долгорукому Федоров.

— Что вы там Сергей Петрович? Над ближним смеетесь? Смейтесь! Смейтесь! Ах, как бы я хотел быть собакой!..

А в городе революция праздновала победу. Кричали ура, ходили с красными флагами. Вечером зажглось много огней. Николай видел это, возвращаясь от матери.

На другой день, перед окнами губернаторского дома назначили церемонию присяги Временному Правительству. Выстроился конвой и личная охрана бывшего императора, ба-

тальон георгиевских кавалеров, отделение гвардейского железнодорожного батальона, морская и авиационная группы и офицеры штаба с Алексеевым во главе. Стояли великие князья — Борис Владимирович, Александр и Сергей Михайловичи.

Генерал Цабель перед выходом взволнованный прибежал к Штакельбергу: — «Как быть с вензелями? Солдаты верно уже сняли, если мы этого не сделаем может выйти скандал!» Дрожащими руками он начал снимать с погон вензеля, но они плохо поддавались. Генерал попросил курьера Михайлова, старого преображенца, помочь ему.

— Никак нет, не могу, — ответил Михайлов, — никогда этого делать не согласен.

На площадь солдаты пришли с вензелями, только Цабель и полковой адъютант барон Нольде — без вензелей.

Присяга совершалась старорежимным порядком. Стоял аналой с крестом и евангелием, духовенство в ризах цвета солдатских гимнастерок. Священник читал текст присяги, а военные повторяли его поднимая правую руку. Потом вся Ставка во главе с Алексеевым подошла к кресту, за нею конвой, железнодорожный батальон и прочие части.

Несмотря на мокрый снег падавший с ночи, настроение было хорошее. После присяги — молебен. На этот раз, имя государя вовсе не упоминалось. Впервые за триста четыре года. Даже «Спаси Господи люди твоя» было изменено. Вместо «Победы благоверному императору нашему Николаю Александровичу» пели — «победы благоверным сынам российским».

— Тебе не кажется, что Ники может слышать это? — спросил Сергей Михайлович, оглядываясь на окна губернаторского дома.

— Не говори мне о нем! — ответил Александр Михайлович.

Присяга сняла у всех тяжесть с души. Страх перед революцией, тревога за собственное будущее утихли. Начиналась служба новому правительству. Граф Граббе потирал руки от удовольствия, как ловко он сманивировал, забежав еще третьего дня к Алексею и попросив, чтобы собственный его величества конвой

сделали конвоем Ставки. По словам генерала Борисова, никто и не услышал, как из самодержавной России перешли в республиканскую. Когда пришло известие, что Фредерикс арестован в Гомеле, а Воейков в Вязьме, никто этим не был тронут. Так и должно было быть. Не могло же старому режиму безнаказанно пройти его прошлое. Каждый радовался за себя. Не верилось, что так благополучно отделались.

Про императора забыли. Когда случайно встречали, испытывали неловкость. Были довольны узнав, что Временное Правительство дало, наконец, согласие на его возвращение в Царское Село. Стало известно, что отъезд назначен на четыре часа следующего дня. Гофмаршал князь Долгорукий старательно собирал и упаковывал дворцовое имущество — белье, несесеры, столики. Старинное чайное серебро было уже отобрано у всех и приготовлено для отправки в Царское. Приехало из Петрограда несколько членов Думы.

Недоумение и толки вызвала группа прибывшая во главе с князем Тумановым, молоденьким армянином, полковником генерального штаба. Никто не знал какова его миссия и как к нему относиться. Побывал у Алексеева, в квартирмейстерской части, заглядывал в другие учреждения Ставки, но ни во что не вмешивался. Потом уехал куда-то в город со своей свитой.

Возник Плющевский-Плющик. — «Плющевский сказал... По мнению Плющевского... Вы знаете Плющика? Нет. Кто такой? Пойдемте, я вас познакомлю».

Возле стола, за которым он прежде честно трудился над бумагами, теперь толпились.

— Скажите, полковник, что сейчас в Петрограде?

— Все улаживается, все будет хорошо. Михаилу Владимировичу удалось окончательно сформировать новое правительство.

Никто не спрашивал, с каких пор председатель Государственной Думы сделался для Плющика «Михаилом Владимировичем».

— Ну, а что если нас на штыки начнут поднимать?

— Вздор! Вражеская агитация!

Сначала думали, что это немецкая агитация, но полков-

ник имел в виду «реакционные элементы». Его спрашивали о будущем главе военного ведомства и он отвечал, что Александр Иванович, кажется, уже принял портфель военного министра. Он так и сыпал именами-отчествами: Павел Николаевич, Георгий Евгеньевич... Знали, что никакой связи с Петроградом у него нет, Кондзеровский назвал его Хлестаковым, но он говорил от имени революции и это волновало.

Сенсацию вызвало появление в садике против дворца городского, вышедшего на свой пост не в форме. Ему было стыдно, он хмурился и от него смогли, только добиться: «Запретили. Ты, говорят, теперь милиционер и формы у тебя быть не может».

— Хотел бы я знать, кто отдает такие приказы — ворчал Нилов. — Ведь не Алексеев же. Хоть он и предатель, но некогда ему сейчас вникать в такие мелочи. Отменяют форму, изменяют молитвы, запрещают поминать царское имя на богослужениях. Ведь кто-то над этим думает, предусматривает, дирижирует... И это в такой момент, когда головы идут кругом.

— Никто этим специально не занимается, — ответил Федоров. — Делается само собой. Русский человек снабжен неутомимой логикой. Как Цабель: самодержавие пало, значит ни одной лишней минуты нельзя носить вензеля. Уверен, что и городскому никто не запрещал. Решили все в своей компании.



В городе шли митинги и манифестации. В местах расквартирования воинских частей Ставки стали шататься небритые, в расстегнутых шинелях солдаты могилевского гарнизона и штатская публика с красными бантами. Иногда двигались толпами. Часто заходили на вокзал. В поезде императрицы, в таких случаях, опускались шторы на окнах, захлопывались дверцы, все замирало. Но толпа, как будто ей отдан приказ, ни разу не приближалась к царским вагонам. Зато поезд в котором прибыл из Вырицы и жил Н. И. Иванов осыпался ругательствами и угрозами. Генерал должен был переехать в гостиницу. Вечером и туда явилась толпа, требовавшая, чтобы он вышел к ней. Сказали, что генерала нет дома.

Накануне отъезда царь написал последний приказ, как Главковерх:

— В последний раз обращаюсь к вам горячо любимые мною войска... уже близок час когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками одним общим стремлением к победе, сломит последнее усилие противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы. Кто думает теперь о мире, кто желает его, тот изменник отечества, его предатель... повинуйтесь Временному Правительству, слушайтесь ваших начальников, помните, что всякое ослабление порядка службы, только на руку врагу... Да благословит вас Господь Бог и да ведет вас к победе святой великомученик и победоносец Георгий.

На другой день, Николай хотел видеть печатный текст приказа, но ему сказали, что печатание запрещено по распоряжению из Петрограда. Из всех обид последней недели это была самая горькая.

Началось прощание. В обеденный зал собралось много народа. Явились Граббе и Цабель, остававшиеся в Ставке при новой власти. Царь виду не показал, что знает об их маневре и благодарил за службу. Пришли кое-кто из городских властей Могилева. Пожимая руки, Николай каждому старался сказать что-нибудь ласковое. Наблюдавший и слушавший это великий князь Александр Михайлович не выдержал и ушел к брату.

— Пойди, послушай, какими истинно царскими словечками сыплет наш вчерашний самодержец: — «Бог даст, ваши дети будут счастливы, берегите их... Я надеюсь, что вы найдете утешение в вашей жене, кланяйтесь ей... Я так привык к вам и мне так жаль оставлять вас...» Тьфу!

— Что ж тут такого?

— Что такого? Срам! Позор!..

В третьем часу военная платформа стала заполняться провожающими. Дул холодный ветер. С завистью посматривали на принца Ольденбургского, явившегося в полушубке. Впрочем, лицо у него было до того красное, что он казался самым озябшим из всех. Явились великие князья, чины свиты, но Ставку представлял один Алексеев. Еще утром генерал Конд-

зеровский предупредил всех штабных по телефону, чтобы никто не ехал на вокзал провожать государя. Таково его собственное пожелание. Штатской публики набралось человек с полтора.

Около четырех часов, возле царского поезда появились прибывшие из Петрограда депутаты Государственной Думы, начавшие разговор с генералом Алексеевым. От их группы отделился вскоре адъютант генерала и подойдя к адмиралу Нилову, пригласил к думцам.

— Временное Правительство запрещает вам следовать в Царское Село с бывшим императором, — сказал Нилову член Государственной Думы Бубликов.

— Что же, я арестован?

— Нет, но вы должны оставаться здесь.

Когда Нилов отошел, собравшиеся на военной платформе увидели, что Бубликов возобновил разговор с Наштаверхом. Через несколько минут поползла весть, что государь арестован и будет сопровождаться до Царского Села членами Думы.

— Начинается! — процедил сквозь зубы Александр Михайлович.

Видно было, как вместе с известием какая-то тень двигалась по платформе и ложилась на лица провожавших. Сергей Михайлович стоял бледный, как смерть.

Сидя в вагоне у матери, Николай сбивчиво говорил что-то о своем отъезде в Англию. Императрица смотрела на него сквозь слезы. Она чуть не в голос заплакала, когда дали знать, что поезд готов к отходу и пришло время расстаться.

— Ники, Ники! Спаси тебя Бог!

Покрыв несчетными поцелуями лицо матери и простившись со всеми в вагоне, он вышел. Думские депутаты холодно смотрели с конца платформы, как толпа в несколько десятков человек окружила императора, осеняя его крестным знамением, стараясь коснуться хоть его одежды. Когда он, высвободившись, пошел наискось через платформу к своему вагону, к нему бегом, согнувшись, бросился адмирал Нилов. Поймав царскую руку, стал неистово целовать ее.

Через несколько минут Николай появился в запыленном

вагонном окне. Стекол в царском поезде уже не мыли и не протирали, фигура императора в гимнастерке, с георгиевским крестом казалась тусклой, похожей на старую выцветшую фотографию.

— Он смотрит на нас, как из другого мира, — прошептал кто-то из провожавших.

Члены Думы раскланялись с Алексеевым и сели в свой вагон. Свисток. Поезд тронулся. Руки военных взметнулись для отдания чести.

Когда царский вагон поровнялся со стоявшим на другой стороне платформы вагоном императрицы, видно было, как мать в последний раз перекрестила смотревшее на нее печальное лицо, уходившее в страшную неизвестность.

Стоявших на перроне, как ветром качнуло, они потянулись вслед синим вагонам. Но те ускоряли ход. Лицо императора стало постепенно исчезать. Белел только георгиевский крест на гимнастерке. Потом пропал и он.

В вагоне императрицы опустили шторы на окнах.

*Н. Ульянов*

## С О Д Н А

За день выжало, уморило.  
Шторы наглухо! Дверь замкну!  
Погружается субмарина  
В океанскую глубину.

Люк завинчивай впритирку,  
Закрывай иллюминаторы,  
Я забьюсь в свою квартиру,  
Как на дно упрятанный.

На житейскую поверхность  
Перископ не выставлю,  
Ослепительно низвергнусь  
В темень аметистову.

Я нашел себе страну,  
Ту, что научилась  
Погружаться в глубину,  
Точно Наутилус.

И пускай в подводном иле,  
Отдаваясь гулами,  
Шествуют автомобили  
Темными акулами,

И кидаются в меня  
Световыми сваями, —  
Комнатушечка-броня,  
Ты непробиваема!

Ты непробиваема,  
Ты неуязвима!  
И акулы стаями  
Проплывают мимо.

Мне не надо ЛСД  
Или кокаина.  
Я ночую на звезде  
Из аквамарины.

Жил на пятом этаже,  
Да уплыл с квартирою,  
И на дне морском уже  
Я фосфоресцирую!

Я плыву подводной спальнею,  
И до утренней зари  
На поверхность социальную  
Я пускаю пузыри.

А ученый дяденька,  
Чистенький и гладенький,  
Где-то в кабинетике  
В дебрях кибернетики.

У приборов топчется  
Бородатый агнец,  
И больному обществу  
Ставит он диагноз.

“В наш период атомный  
Для леченья сердца —  
Говорит он — надобны  
Взрывчатые средства!  
Этим человечество  
Сразу же излечится!  
Людям в наши времена  
Помогает дивно  
Туча, ежели она  
Радиоактивна!  
Приходите все погреться  
В золотых лучах прогресса!”

Он как петрушка площадной  
Выскакивает над страной.

И, щупленький и сухонький,  
С морщинками на личике,  
Он сам себе на кухне  
Поджаривает блинчики.

Но хоть пожить он любит вкусно,  
Хоть любит чай с вареньем он,  
Как беспредметное искусство  
Почти что он развоплощен.

Почти прозрачен,  
Совсем спрессован,  
Он не иначе  
Как нарисован.

Но взрывы так красноречивы,  
Что все кругом потрясено,  
И до меня доходят взрывы  
На аметистовое дно.

Я знаю: вселенная где-то изогнута,  
И Бог по вселенной гуляет инкогнито.

А тут человек, непонятный как призрак,  
Швыряется взрывами в огненных брызгах!

И я убегаю побежкой волчьей  
И прячусь за всей океанской толщей.

Ночной темнотою укрыт как щитом,  
Я выдумка тоже. Я тоже фантом.

Я тоже нелепица, дикость, абстракт,  
И снюсь я кому-то сквозь лунный смарагд.

И я, уходящий все глубже и дальше,  
И тот — на поверхности жизни — взрывальщик —

Далеким потомкам в столетье ином —  
Покажемся оба чудовищным сном.

Но те, для кого я — отрезанный ломоть,  
Я знаю: меня захотят они вспомнить.

Моим одиночеством темным звеня,  
Как груз потонувший подымут меня.



Я прыгнул из окна,  
Но не сорвался вниз,  
А в воздухе повис,  
Как радиоволна.

А в комнате остались  
Часы и календарь.  
Там тень моя, состарясь,  
Глядит в окно как встарь.

А я вверху, в вечернем  
Сиреновом дымке,  
А я в четырехмерном  
Воздушном гамаке

Плыву как астероид,  
Сиянием дразня.  
Вы можете настроить  
Приемник на меня.

Я — звездный зазывала.  
Скользя по облакам,  
Я шлю мои сигналы  
Таким же чужакам,

Мечтателям, поэтам,  
Захватчикам высот,  
Кто сам себе планета  
И свет в себе несет.

Кто не в ладах с причалом,  
Кто кружит одинок  
По кривизнам печальным  
Возвышенных дорог.



На проспекте сносят дом.  
Старый дом идет на слом.

Сокрушая непрестанно  
Дома пыльное нутро,  
Стенобитного тарана  
Свищет в воздухе ядро.  
Оседают, грохоча,  
Пирамиды кирпича.

Обнажается проем,  
Где сидели мы вдвоем  
За обеденным столом.  
Все на слом идет, на слом.

Вот и нет окна уже  
На четвертом этаже,  
Освещенного луной,  
С папиросою ночной,  
С переливчатым стеклом.  
Все на слом идет, на слом.

Только сердце непременно  
Хочет все на старый лад —  
Там, где выломлены стены,  
Люди в воздухе висят.

Людя ходят, люди курят  
В высоте и в пустоте,  
А на самой верхотуре  
Позабылись двое те,  
Будто плавают в воде,  
Иль подвешены к звезде.

И становится мне страшно  
Этой выси голубой,  
Где качаюсь я вчерашний  
Над сегодняшним собой.

Где-то там, вверху, в проломах,  
Я остался в прошлых днях,  
Я запутался в объемах,  
Я застрял во временах.

Это сердце дни и ночи  
Глухо хлопает крылом  
Из минувшего не хочет  
Ничего отдать на слом,  
И из сил последних самых  
Подымает надо мной  
Из руин воздушный замок,  
Там, где рухнул дом земной.

*Иван Елагин*

## “ПЕРЕПИСЬ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЕЛЕНИЯ”

СОВЕТСКИЕ ТОЛСТЫЕ ЖУРНАЛЫ, 1965-68 г.г.

«Перепись литературного населения». Под таким заглавием в «Литературной Газете» от 2-го ноября 1967 г. появилась статья Владимира Канторовича. (Позже эта статья в несколько расширенном виде появилась и в журнале «Новый Мир», № 12, 1967). В этой статье Канторович пишет: «В том, что литература служит источником неоценимой социологической информации, мы никогда не сомневались. Об этом можно прочесть у классиков марксизма (вспомним хотя бы оценку Энгельсом Бальзака), и у многих современных социологов». И дальше: — «Я еще не успел объяснить цель ссылки на Бальзака, как один дотошный читатель прервал меня вопросом: не производилась ли у нас, в СССР, перепись литературного населения? И много ли **разных** (подчеркнуто **К.**) типов изобразили наши авторы?» И вот Канторович предлагает литературоведам и социологам начать такую «перепись литературного населения», а заодно проделать и «инвентаризацию проблем и конфликтов».

Это предложение, хотя и не обращенное ни к кому за рубежом, показалось мне интересным. Регулярно читая более 20 столичных и провинциальных советских журналов и составляя при этом некую картотеку, я уже давно заметила, что советских литературных персонажей можно интересно расположить по роду занятий, социальному происхождению и т. д. Предложение Канторовича только помогло их расположить по группам. И вот в первой группе у меня — партийный секретарь.

«Прошедшей зимой в селе Косогор закрыли церковь. Слава Богу, смеялся Капустин, последний рассадник дурмана прихлопнули. А радоваться по существу было нечему, особенно ему, секретарю райкома. На-днях в Косогоре подошла к Капустину старая женщина и сказала: «Ваша власть — ваша и сила. Церковь вы у нас закрыли, а что дали взамен? Разломать — ума не занимать. Где оно, секретарь, твое внимание к человеку? Попик, бывало, выслушает, утешит. А ты вот, **советский**

**поп**, пропылишь по селу на своей машине, да только тебя и видели».

Этими словами старушка из села Косогор называет секретаря райкома Капустина в романе Ивана Акулова «В вечном долгу» (журнал «Урал», кн. 1-2, за 66 г.), — «советский поп», один из армии парторгов, партийных секретарей всех рангов, от секретаря обкома до секретаря деревенской парторганизации. Старушка назвала секретаря «советским попом». Недалеко от этого определение и другого старого человека, заведующего складом Кузьмы, в повести Николая Голощапова «На Авдотьинной круче», в журнале «Волга» (кн. 9, за 66 г.). Кузьма говорит о секретаре парткома Ивашове:

«Ивашов кто? Инженер. А должность у него какая? В свя-  
тых ходить. Чтобы ни одного пятнышка народ на нем не увидел,  
а то он никакой партийный руководитель. Инженерскую-то  
науку поди забыл, а иного делать не умеет. Вот и получается  
— в святых ходить надо. В старину поп был на селе, так возле  
него молодежь не увивалась, а у нас сейчас для стара и для  
мала — Ивашов. Только что «батюшкой» не величают».

Исповедник, организатор политической и духовной жизни, устроитель быта и раздатчик земных благ — таким долго проходил по литературе партийный секретарь. Но тлетворное дыхание времени коснулось и его. Эту перемену отметил Владимир Санин в повести «Кому улыбается океан», в журнале «Октябрь», кн. 7, 66 год.

«Я очень сблизился с Александром Евгеньевичем. Он пом-  
полит, парторг — персонаж, для описания которого в литера-  
туре создано несколько непреходящих, вечнозеленых штампов.  
Я читал о парторгах, которые были потрясающе человечны,  
проницательны, отзывчивы, принципиальны, сердечны — ну,  
просто отцы родные. От них исходило сияние. Каждая кле-  
точка их существа говорила о том, что они явились на землю  
творить добро и наказывать зло. Можно было раскрыть книгу  
посередине и в толпе персонажей безошибочно определить  
парторга — по неоновому нимбу. Этот человек был настолько  
идеален, что от книги пахло дефицитным розовым маслом.

От многократного употребления этот штамп истерся, и  
парторга начали наделять одним-двумя крупными недостатка-  
ми, а иному даже подсовывали позорный порок вроде мораль-  
ного разложения. Посильнее лягнуть парторга стало считаться

хорошим тоном. Это было очень модно. А потом и этот штамп начал ржаветь. Книга, в которой критиковался парторг, перестала быть сенсацией. Надоели сплошные пирожные и сплошная горчица — захотелось нормальной, здоровой и вкусной пищи».

Да не смущает читателя вольнодумство В. Санина. Подготовив так читателя, В. Санин все-таки выводит в своей повести не партруководителя, а сусального «отца родного».

Г. Колесников написал свои «Краснодолинские очерки» почти по рецепту В. Санина — с горчицей. Но хоть и лишенный ореола святости, его первый секретарь Задонского райкома Гудилин все-таки — властный игумен, без благословения которого в монастыре никто не смеет и за холодную воду взяться. Вот как описывается рабочий день Гудилина.

Второй секретарь райкома Озеров пришел познакомиться с предстоящей ему работой. Проходя через приемную, Озеров заметил там уйму народа. Гудилин, едва поздоровавшись с Озеровым, велел впускать просителей. Первый человек, огромный детина, просил сапоги 45-го размера. В магазинах нет, а фабрика по заказу не шьет. Гудилин позвонил на фабрику и устроил. Вошла худенькая заплаканная женщина. Ее муж пьет, не дает денег на хозяйство. Гудилин обещал «повлиять». Следующий посетитель, маленький, бравого вида человечек, просил работу. Специальности у него нет, до сих пор работал «на руководящих постах». Гудилин записал его имя, обещал подумать и назначил день нового приема. Потом пришел глуховатый колхозник жаловаться на сына: не кормит, мол. Пришел офицер запаса. Требовал квартиру. Звонил председатель райпотребсоюза, спрашивал, кому давать картошку: пришло три вагона. И так — до трех часов. Наконец Гудилин встал, потянулся, и уже снимая с вешалки пальто, обратился к Озерову:

«— Ну, как тебе показался рабочий день секретаря райкома? — спросил Гудилин, явно рассчитывая на одобрение. Озеров ответил честно:

— Не очень понравился. Очень уж они у тебя все робкие. За всех ты все сам решаешь. Они даже картошку без тебя продать не могут».

Этот очерк Колесникова был напечатан в кн. 8, за 66 год. Тогда особенно сильно сказывался в литературе поход против

так называемого «волюнтаризма» — хрущевского наследия. И многие писатели торопились попасть в точку.

В литературе на производственные темы, на протяжении переломных 60-х годов, изображение всякого партийного начальства подвергалось меньшим изменениям. Изредка встречались и здесь противопоставления старого новому. Например, в романе Петра Лебеденко «Льды уходят в океан», в журнале «Дон», кн. 1, за 66 г., выведены оба типа: Лютиков — тип старого руководителя, признающего в основном окрик и команду, и Смайдов — новый парторг, больше действующий убеждением. В романе Юрия Грачевского «Течет река к морю» (в журнале «Нева», за 66 год), выведен уже только один новый тип — парторг Фоминых. При чем новизна этого портрета парторга проявляется в том, что как и директор, он понимает, конечно, что «предприятие обязано давать доход», и что от государственных дотаций нужно отказаться.

По моей м. б. неполной картотеке всего один раз помполит выведен, как абсолютно никому не нужный, лишний человек. Это — в повести В. Дружинина «Корвет Бриль», в журнале «Нева», кн. 11, за 65 год. Но чем ближе подходило время к юбилейному, 67 году, тем чаще в произведениях советских писателей возвращался «неоновый нимб» праведности на головы изображаемых ими партийных руководителей. Стали исчезать некомпетентные политначальники, перевоспитываться «волюнтаристы». В юбилейном году даже самая скромная критика парторга оказалась неуместной. Вот один из характерных портретов партийного руководителя в произведениях 67 года. В рассказе Ильи Миксона «Война кончилась», в журнале «Наш Современник» (кн. 10), второй секретарь обкома Большаков не находит времени ни для сна, ни для еды. Идет посевная. Большаков поздно вечером приезжает в колхоз. Ему хочется поесть и поспать... «120 минут посплю... нет, 90 минут». Но и это не выходит. Трактористы не умеют починить мотор, надо помочь. Уже светало, когда кончил. А тут объявили, что война кончилась. Значит — митинг. После митинга послал народ отдыхать, а сам отправился контролировать посевную.

Можно сказать, что святость парторга в советской литературе 67 года полностью восстановлена. Восстанавливается и необходимость крепкого политработника, поколебленная излишне правдивым изображением его во времена «оттепели».

В романе Аркадия Первенцова «Остров надежды», в журнале «Октябрь», кн. 1-я, за 68 год, командир подводной лодки говорит: «Мне нужен **политработник**. Нам не нужен политработник, который управляет лодкой, нам нужен специалист по управлению душами». И дальше он же: «Мне замполит необходим. Я не представляю себе, как бы я оторопел, если бы вдруг оказался без него». И этот нужный замполит, по фамилии Куприянов, выведен в этом романе, конечно, как человек с лучистыми глазами, умеющий «поговорить» с любым членом команды подводной лодки. И таким «сияющим» он и остается до конца.

«Советский поп», «специалист по управлению душами» восстановлены за последнее время во всей своей святости, ибо старый лозунг остается в силе: партия — «не ошибается».

Гораздо интереснее и все-таки более человечно изображается в советской литературе — председатель колхоза. В силу своего нелегкого положения между молотом — районным начальством, и наковальней — колхозником — председатель колхоза должен проявлять смекалку, хитрость, изворотливость, стойкость и разные другие качества.

В романе Евгения Носова «Затмение Луны», в журнале «Наш Современник», за 66 г., выведен «независимый» председатель колхоза Чепурин: «Стоит где-то кому-то авторитетно обронить: кролик — это хорошо, как уже строчат: кролик — вот оно золотое дно! Как эпидемия! Кроличьи бюро. Совещания актива. Инструктажи, накачки. Сосут из пальца передовой опыт. Строчат фельетоны на нерасторопных. А потом — передышка. Наигрались в кроликов. Потом лошадь не понравилась. Черный пар пришелся не ко двору. Клевер с люцерной изобличили. За луга взялись... В глазах рябит. Как на турецкой перестрелке». Так говорит председатель колхоза Чепурин у Е. Носова. И он же говорит: «На Западе считают, а мы все в почину играем». «Пошехонская идиотичность» приказов сверху создала в советской литературе тип председателя колхоза: «непокоившегося». Вот, например, председатель колхоза, который «не о собственной карьере печется». Это председатель колхоза «Озерихи» Грибов в повести Эрнста Сафонова «Деревенская история», журнал «Москва», кн. 8, 65 г. Ему район приказал не выдавать авансом зерно колхозникам, пока колхоз полностью не рассчитается с государством по хлебу. Районный секретарь

грозит ему всякими карами, а Грибов тайком от высокого начальства приказывает часть зерна ссыпать не в кузов машины, а на землю, и потом делит это зерно между колхозниками в счет будущих трудодней. Когда же дело раскрывается, районный секретарь уверен: Грибов под суд пойдет! Но секретарь комсомола Гриша пытается уяснить себе, в чем же вина Грибова? «Считают — Грибов государство обманывал. А государство — это ж люди, народ. Он, выходит, заботясь о людях, заботился о государстве. Где ж тут концы?» И этот Гриша получает поистине знаменательный ответ от автора повести: «политэкономии изучай, Гриша».

Не так давно, года три тому назад, в советской литературе была мода показывать таких независимых и вольнолюбивых колхозников. Так, у Юрия Казакова есть рассказ «Нестор и Кир», напечатанный в журнале «Простор», кн. 4, за 65 год.

Уже определяя писателя на постой к Нестору, председатель колхоза характеризует Нестора, как кулака. С этой меркой подошел к старику и писатель. Но мерка оказывается неподходящей для этого незаурядного человека. Автор узнает, что когда еще жив был отец Нестора, начал он с отцом разработку в приморских горах точильного камня. Сначала вручную обтачивали камни, потом приспособили горный ручей работать на них. Скоро со всей России пошли к ним заказы на точильные камни...

«— Где же теперь эта мастерская? — спрашивает автор.

— Где! А вот где — пришла раскулачка, батю на Соловки забрали, меня в колхоз забрали, мастерскую нашу туда же, а на кой она кому нада? Тогда одно надо было — церкву ломать, лошадей припрягли да канатом за маковку... Справных поморов извели, и уж прошай все, не вернется. Нас с батеи раззорили, все побрали — ладно, хорошо... Теперь гляди с другой стороны, что получается. Деньги, какие были, имущество, они что же с неба нам упали? Или эти твои бедняки поднесли нам? Мы тут раньше, знаешь, как жили!»

И старик Нестор рассказывает о прежней жизни, когда «захотел в Англию — дуй в Англию, захотел в Норвегию — дуй в Норвегию». Сам Нестор делу обучался в Норвегии — шхуны строил. Ходил из Архангельска в Норвегию с грузом забитых тюленей, оттуда ихний товар брал, чтобы шхуне пустой не идти. Самое тяжелое было для Нестора то, что после раскулачивания

(своя мастерская!) да ссылки отца в Соловки хозяйство было без толку разорено и им никто, даже враги, не воспользовались. «Дом у нас отобрали, ладно, хорошо. Так что ж с ним сделали, дураки? На дрова пожгли. Ему, лодырю, в лес некогда съездить!» И дом и все добро досталось мужику по прозвищу Хнык. Он и в доброе-то время корову соломой кормил. А его за бедность завхозом сделали. Спился потом, не выдержал. В Архангельск подался, а раскулаченный Нестор на месте живет.

«Ну что же! Вот выговорился предо мной Нестор... — заканчивает Юрий Казаков. — Поспорить с ним? Нет, не переспоришь! Так что же такое Нестор? Я вдруг вспомнил все свои странствования, где я только не побывал! На Смоленщине, в Ярославской, в Калужской областях, на Севере и в Сибири... И сколько попало мне таких вот Несторов».

Этот рассказ, повторяю, был напечатан в 65 году. Ни до, ни после не приходилось мне в советской литературе читать более страстное изобличение неправды, учиненной над деревней. Известно, что нынешние колхозы зачаты в слезах и крови. Но те, кто «во имя будущего» раскулачивал и ссылал тогда, что они чувствуют сейчас, уверены ли они теперь, что нельзя было иначе? Об этом рассказ Василия Шукшина «Дождь на заре», в журнале «Сибирские Огни», кн. 12, за 66 год.

«Ефим Бедарев помирал. Он понимал это. Ефим лежал в районной больнице в маленькой палате, на плоской железной койке. Он почернел от болезни. То и дело заходил врач, молодой парень.

— Ну, как дела?

— Как сажа бела, — с трудом отвечал Ефим. — Подвожу баланс».

Ефим был из тех, кто раскулачивал. К нему, умирающему, приходит Кирилл, говорит: «Ведь сколько ты вреда мне сделал! Хозяйство отобрали, по тайге гонял, как медведя какого, сослал вон куда — к черту на кулички... Я вовсе не лаяться пришел. Мне понять охота: почему ты таким винтом жил? Ведь ты каждой бочке затычка.

— Дурак.

— Опять — дурак! Ты пойми — я ж сурьезно с тобой разговариваю. Чего нам теперь с тобой делить то? Насобачились на свой век, хватит. Мне понять охота: чего ты добивался в своей жизни?..

Чтобы дураков было меньше. Вот чего я добивался.

Сам ты дурак. Трепач. Новая жись! Новая жись! Сам не жил как следует и другим не давал. Ты ошибся в жизни, Ефим!» Ефим раскашлялся и все твердил: «Вот дай поправиться... я...»

— Поправишься, — сказал Кирилл. — Вас, видно, одна могила исправит, чертей заполошных. Всю Рассею на дыбы подняли».

Ефим умирал тяжело, беспокойно. И в предсмертном бреду все бормотал: «Конечно, жалко малость... Тяжко...» И еще пытался кому-то доказать: «Да, к чему же? К чему? Я же знаю! Я все знаю!»

Но этот превосходный рассказ Василия Шукшина, как и рассказ Юрия Казакова о Несторе, стоят одиноко в советской литературе о колхозной деревне.

67 год, юбилейный, плохое время для высказывания правды. Он, конечно, ознаменовался в советской литературе оправданием колхозов. Виталий Закруткин наиболее старательно выполнил заказ верноподданного журнала «Октябрь». Его роман «Сотворение мира» (кн. 6-7, 1967) целиком посвящен коллективизации. Выведя в романе жизнь сельхозтехникума и его обитателей, Закруткин в уста преподавателя Кураева вкладывает такие слова:

«В отличие от заводской машины почва — живой организм. Она не терпит безответственного отношения к себе. Лишь в полной слиянности определенного участка земли с определенным земледельцем кроется успех сельскохозяйственного производства. Коллективное же ведение хозяйства сразу разрушает эту слиянность...»

Но другой преподаватель Берзинь стоит горой за коллективизацию. Коллективизацию, — говорит он, — завещал нам Ленин и поэтому сталинский курс правилен. Закруткин оправдывает и «уничтожение кулаков, как класса». К высылке из деревни Огнищанки намечаются двое «кулаков»: Антон Терпужный и Тимофей Шелюгин. К ним председатель сельсовета Длугач относится по-разному: прижимистого, хитрого и злого Терпужного яростно ненавидит, а смирного, работающего Тимоху Шелюгина втайне жалеет. Ни тот, ни другой по-настоящему кулаками-эксплуататорами не были. Были просто справные мужики. Но Длугач поясняет Шелюгину:

«Мы что? Разве ж мы караем именно тебя, огнищанского

гражданина Тимофея Шелюгина? Нет, брат. Тут класс на класс войной пошел, и замирения промеж них не будет... Знаю я, что ты человек честный, не контра какая-нибудь... А только правду ты нашу не понял...»

Закруткин очень бы хотел быть «объективным», для того он и сослал обоих: и хитрого, злого Терпужного и честного труженника Шелюгина, чтобы показать, вот, мол, — ошибки делались. И тем не менее его роман «Сотворение мира», это стопроцентная партийная агитка, приуроченная к юбилею «великого октября».

Из переписи литературного населения, предложенной В. Канторовичем, мы привели типы партруководителей и председателей колхозов, а из проблем — проблему покорности и независимости, как они представлены в советской литературе на сельскохозяйственные темы. Теперь, очень коротко, мне хотелось бы сказать еще об одном явлении в советской литературе, выродившемся в такой же трафарет, как «неоновый нимб» над головой парторга. Это — иностранцы в советской литературе. Один из характерных примеров — размышления геолога Хохлова в романе А. Рекемчука «Скудный материк» (журн. «Москва», кн. 1-я, 68 г.).

«Он пребывал заграницей трижды: до войны — в Соединенных Штатах и Бразилии, а сразу после войны — в Чехословакии и Австрии. Он ездил в командировки по делам государственной важности. Его отчеты были одобрены в наркоматах и министерствах. И все же, когда он добирался в анкете до графы: пребывание... ему делалось неуютно, как вот сейчас. Было чувство вины. Его анкета уже не была чиста. Он подсознательно ощущал свою неполноценность. Особенно в те моменты, когда что-то извне раздражало, подсказывало сравнение — вроде этих официантов. И тогда он недобро въедался в самого себя, ел себя поедом, уличал: что, дескать, набрался там?»

И чтобы убедить советского читателя, что Хохлов вовсе не «набрался там», Рекемчук заставляет Хохлова оборвать свою собеседницу: «а плевать на ваших нотдрамских химер, здесь у нас получше!» и заставляет слушать радиосообщения «о бактериологической войне» (!) американцев в Корее...

Забота о «чистой анкете» — обязательная тема советской литературы везде, где только советский гражданин сталкивается с иностранцем. В повести Б. Евгеньева «В Лондоне листопад»

(журн. Москва», кн. 1-я, 67 г.) молодая девушка-студентка едет со своим отцом, литературным переводчиком, в Лондон. Из-за плохой погоды лондонские аэродромы не принимают и пришлось приземлиться в Копенгагене. И вот Катя с отцом и другими спутниками в зале ожидания. Она сначала пытается уверить себя, что и за границей «люди, как люди», но потом приходит к убеждению, что все в зале ожидания в Копенгагене «выпендриваются». «Выпендривается белоголовая старуха с сигарой, и молодая пара, демонстрируя безоблачное счастье. И даже трехлетняя девчушка с бутылочкой: 'вот, мол, какая я славненькая!' И все фланирующие господа и дамы выпендриваются: 'вот какие мы достойные, благоденствующие, процветающие'. А идет это, похоже, не столько от личных свойств и качеств каждого, сколько от общих жестоких законов их бытия». После такого заключения автор все-таки заставляет свою героиню спросить себя: а не загибаешь ли ты? Но выяснив, что нет, Катя обращает внимание на своих, советских. «Интересно, как выглядят здесь наши, советские? Вот сидит отец. Какое у него хорошее лицо — доброе, умное!.. У киоска с иконами (эти иконы продаются, как экзотика в зале копенгагенского аэропорта. Т. П.) застыл в насмешливом недоумении Александр Матвеевич, немолодой толстый критик. Какой же он славный человек — душевный, компанейский!» Катя продолжает перебирать всех своих и находит их всех выше похвал. «Чего нам тянуться? Перед кем? Кому пускать пыль в глаза?» Евгенийев называет эти мысли Кати «законным ревнивым чувством к своему».

В романе на атомную тему «Солдаты без мундиров» Натана Рыбака (журн. «Дон», кн. 1-я, 67 г.) советские ученые приехали в Лондон на симпозиум физиков. Они, конечно, самые свободные люди в мире, а вот английские ученые — существа запуганные, затурканые разными американскими сенаторами, загримированными под ученых. Английскому ученому Чедвику понадобилось много смелости, чтобы прийти в гостиницу к советскому физiku Шульге. Сэр Чедвик поведал Шульге, что отошел от дел. Заниматься наукой ему не дают «бесстыдные бизнесмены» — читай американцы. Шульга поражен смелостью англичанина, который «отважился» прийти к нему.

Тема атомных физиков и соперничества между атомными странами была довольно частой гостьей в журналах прошлого и начала этого года. В пьесе В. Лаврентьева «Человек и глобус»

английские физики тоже, по выражению Бармина, главы атомного проекта, «боятся хозяев». Хозяева, конечно, американцы. В повести Лазаря Карелина «В доме оружейника» (журнал «Юность», 68 г.) мать героини, Майи, умирает от облучения. Майя спрашивает отца, почему же он не остановился, а продолжает опыты? И отец отвечает: «В Америке появился этот нацист Теллер. Теллер думал о супербомбе, он думал о мировом господстве. И он сделал эту бомбу. Потому и не остановились, что есть Теллер. И еще кое-кто. И там и тут — успевай только оглядываться». Может быть, «и там и тут» — это Америка и Китай? Но во всяком случае враждебность к Америке высказывается весьма красноречиво везде. Это — генеральная линия. В Майю влюбляется Лэм, американский студент. И Майя его любит. Но Лэм сам отказывается от нее. От него потребовали, чтобы он стал американским осведомителем. Он же хочет совсем остаться в Советском Союзе и жениться на Майе. Но его сражает его друг, тоже женившийся на русской и завязший в «шпионской американской грязи»; он сражает его тем, что требует подумать о его отце, враче. Если он, Дэвид Лэм, станет советским гражданином, «пациенты не пойдут лечиться к отцу перебегчика». И Дэвид Лэм уезжает.

Но пальму первенства в этой ксенофобской тематике надо отдать пьесе Юрия Мячина «Баловень судьбы» (журн. «Урал», кн. 1-я, за 67 г.). Речь идет об атомных медиках, которые ищут лекарство против облучения. До открытия занавеса — голос по радио: «Первая водородная бомба была взорвана на островах Бикини 1-го марта 1954 г. Примерно в 140 километрах от места взрыва находилось японское рыболовное судно...» И дальше даются сведения о дозе облучения японских рыбаков и кто умер от лучевой болезни. Потом начинается пьеса, в которой советский ученый Дмитрий Басаргин превращает себя в подопытного кролика — входит в камеру облучения, чтобы на себе испытать свой препарат. Но лучевая болезнь не поддается лечению. Вводить его препарат прямо ему в кровь — опасно. Лучше, дать его здоровому человеку, и потом его кровь перелить облученному. Любящая его девушка Светлана согласна на такой опыт. Опять при затемнении голос по радио говорит о взрыве первой атомной бомбы в Хиросиме. Следуют страшные пятизначные цифры, говорящие об убитых, искалеченных, облученных. Когда дается свет, по ходу пьесы выяс-

няется, что Светлана, давшая свою кровь Дмитрию, умерла. Дмитрий поправился, и опыт продолжает другой ученый Нина, которая тоже входит в камеру облучения. Противопоставление голоса в темноте, говорящего об американских атомных преступлениях, действию пьесы, где все жертвуют собой, и даже тунеядцы — сын профессора Черепанова — становятся честными людьми — это противопоставление настолько примитивно и неумно, что это поняла, кажется, и партия. И нам не придется увидеть постановки этой замечательной пьесы.

Я выписала только несколько примеров из произведений, отражающих нынешнюю директиву отношения к иностранцам. Таких произведений много. И все это такое же рабское следование партийной директиве, как и «неоновые нимбы» над головами партторгов и предколхозов.

*Т. Петровская*

*Юрию Офросимову*

Юношей в Амальфи из Соренто  
Ехал я в извозчичьей пролетке.  
Утро словно медлило зачем-то  
Было и неярким и нечетким.

А потом ворвалось, ослепило,  
Золотом блеснуло на просторе  
И дорога круче зазмеилась  
Над вплотную подбежавшим морем.

Мелкий ослик с грустными глазами  
Вёз лимонов полную корзину  
И крестьянин мне, сверкнув зубами,  
Самый золотой и крупный кинул.

Мой возница, спрыгивая с козел,  
Рвал травинки, растирал в ладони.  
Ни одной сладчайшей в мире розе  
Не струить подобных благовоний!

Вечером, в монастыре, что тоже  
Обречен был стать плохим отелем,  
Амальфийка с золотистой кожей  
Раздевалась у моей постели.

Сколько взял я золота с собою,  
Сколько взял с собой благоуханий  
За один, уступленный судьбою,  
Щедрый день исполненных желаний!

## 2

Странствия! Распахнутые двери!  
Скудости разорванные узы!  
Вы, кому поэт, что вас измерил,  
Подарил особенную музу!

Посложней бывали и попроще,  
Но всегда к чему-то приводили —  
Пусть всего лишь только к ближней роще,  
К одинокой, без креста, могиле.

А случилось: у себя же дома  
В старой книге, что пятнает плесень,  
Встретишься с рассказом незнакомым  
О заморских городах и весях.

И читая — скачешь с кем-то рядом  
По тexasской выжженной равнине,  
Иль крадешься мавританским садом  
На свиданье с белою рабыней.

А не то, в потемках разбирая  
Хлам чердачный, что припудрен пылью,  
Набрeдeшь на чашку из Китая  
Иль на кастаньеты из Севильи

Будьте-же вовек благословенны,  
Музою десятою ведомы,  
Странствия по свету, по вселенной,  
Странствия по собственному дому!

## 3

“Она” и “он” — два разных естества,  
Таких несхожих, что нельзя представить,  
Как могут быть одним вот эти два,  
Не лгать притом, не спорить, не лукавить.

А миллионы лет тому назад  
Единой плотью были мы конечно  
И это был наш древний райский сад,  
Обитель нашей радости безпечной.

Каким ударом и чьего меча  
Мы были так рассечены когда-то,  
Что всё еще бредем кровотока  
И тщетно лечим встречами утрату?

Мой лучший друг! Ведь даже ты не та,  
Не часть меня, утерянная где-то!  
Вот ты прильнула и твои уста  
Дыханьем жадной близости согреты.

И все-таки, едва ты отошла,  
Ну вот на шаг, ну вот на эту малость —  
Я чувствую: да, ты со мной была,  
Но именно была и не осталась!

Как сочетать двоих в себе одном,  
Предельно, навсегда, неразделимо?  
Нельзя! Никак! Мы можем быть вдвоем,  
Но никогда не можем стать единым!

## 4

Положено за что-то  
Любить своих подруг:  
За верность и заботу,  
За жадность губ и рук;  
  
За то, что с первой встречи  
Она твоей была,  
За то, что в темный вечер  
К тебе с огнем вошла.

Мой друг! Люблю тебя я  
Светло и горячо,  
А вот за что — не знаю,  
Не распознал еще.

И так-ли важно это?  
Люблю тебя! — и в том  
Вся правда, все ответы,  
Всё сложное — в простом.

## ЖЕНСКИЕ ПОРТРЕТЫ У МОЛОДОГО КУПРИНА

В 80 книге «Нового Журнала», в статье «О портретном искусстве писателей», Р. В. Плетнев дал сжатые, но интересные характеристики портретной манеры изображения действующих лиц у крупнейших русских писателей.

Перечисляя основные виды художественных портретов у Гоголя, Плетнев указывает, что кроме чисто карикатурных и реалистичско-психологических, у Гоголя встречаются также портреты-описания, в которых сильно отражены и авторские чувства. Автор не мог остаться равнодушным к своим героям и стремился заразить читателей или своим восторгом или ненавистью и отвращением, тревогой или волнением, и портреты действующих лиц получались порой гиперболичны. Р. В. Плетнев вскользь говорит: «Интересно отметить, что в ряде женских портретов А. И. Куприн шел в молодые годы по тому же пути восторгов и преувеличений» (стр. 139).

Мне хочется развить эту мысль проф. Плетнева и на примерах дать иллюстрации к его замечанию о портретной манере молодого Куприна, тем более, что творчество Куприна все еще недостаточно изучено, несмотря на возросший за последние годы к нему интерес.

В начальный период, когда у Куприна еще не было своей собственной литературной манеры, в его произведениях можно найти достаточно признаков влияния классического романтизма. Здесь особенно бросается в глаза, как правильно и указывает проф. Плетнев, явная «романтичность» в создании женских портретов.

Вот, например, один из таких живописных портретов, сделанный почти полностью в духе романтических традиций 30-х годов прошлого столетия:

«Она стояла перед мужем легкая и грациозная во всем пышном расцвете своей двадцативосьмилетней красоты, с высо-

кой грудью и гибкой талией. Легкая кофточка из тонкого белого крепа, лежавшая на ней свободными складками и не скрывавшая стройных очертаний ее молодого тела, оставляла открытыми по локоть круглые и крепкие чуть пушистые руки; губы маленькие, полные и круто изогнутые, какие встречаются у женщин на картинах Рубенса; большие глаза, казавшиеся вечером совсем черными, благодаря расширившимся зрачкам; пышные, немного жесткие чернорыжеватые волосы, вьющиеся мелкими завитками на висках и на затылке». (А. И. Куприн, Собр. Соч., Гос. Изд. М., 1957, т. 1, стр. 272, «Страшная минута»).

В этой детальной и яркой изобразительности все богатство словесной живописи щедро растрачивается с явной целью, сделать портрет как можно более привлекательным. Дается даже и ссылка на картины Рубенса. Что это? Как понимать губы «у женщин на картинах Рубенса»? Такие ссылки на кисть известных художников характерный прием классического романтизма, употреблявшийся весьма часто. Пусть эти ссылки не очень ясны, но «эффектны».

А вот другой портрет, тоже взятый из одного раннего произведения Куприна. В нем в достаточной мере проявляется эмоциональная возбужденность рассказчика, которая и обуславливает романтическую неопределенность эпитетов.

«Может быть, господа, кому-нибудь из вас случалось встретить хоть раз такую женщину, которая промелькнет в вашей жизни, как Оссиановская тень и навсегда остается в памяти, как далекое милое, но странное сновидение. Пусть она на вас не обращала никакого внимания, пусть вы сами никогда и не пытались даже полюбить ее, пусть вы потом встречали женщин умных, чутких, красивых — ни один образ не застелит этого неуловимо-своеобразного тонкого образа, такую именно и была Лидочка. Я до сих пор необыкновенно живо умею представлять ее наружность; гибкое, худощавое тело, властно очерченные брови, черные кудри, голубые жилки на висках, нервный некрасивый рот и в виде контраста к нему прекрасные темные глаза, суровые, почти скорбные, никогда не улыбающиеся.

...Все в ней было очаровательно: и простая внимательная отзывчивость на чужое горе, и грациозная прелесть каприза, и наивная резкая правдивость, и застенчивость и еще что-то, что сказывалось во всем ее существе: не то дерзость, не то какое-

то жадное ко всему крайнее любопытство. Не умею я, черт возьми, всего этого глубоко передать, но таких женщин на каждом шагу не встретишь». («Лидочка», стр. 175).

Стиль этого отрывка сильно напоминает тургеневский («Три встречи», «Андрей Колосов»). Кроме того в этой цитате опять чувствуются характерные для романтического стиля приемы: тут не только ярко выраженная, эмоциональная окрашенность слога, отражающая в эпитетах настроение рассказчика, но присутствуют и элементы романтической напевности, отраженные в этом отрывке частым повторением «и», а также — «пусть». Наконец, в этом отрывке, отражается еще одна типичная нота романтического стиля, а именно: невозможность до конца разрешить проблему живописания. Куприн, как и типичные романтики, для усиления эффекта, иногда не только ссылается на картины известных художников (Рубенса, Рембрандта, Врубеля и др.), но и просто признает, что у него не хватает красок для соответствующего описания своей героини. Наряду с патетической фразеологией у раннего Куприна встречается и прямая «гипертрофия» чувств:

«.....я не успел еще пройти половины аллеи, как на другом конце показалась Лидочка..... Ее тоненькая фигурка в простом белом платье то мелькала в тени деревьев, то заливалась ярким золотым светом. Я пошел к ней навстречу. Мне хотелось упасть к ее ногам, хотелось кричать, смеяться и петь. В ее глазах еще виднелось отражение утреннего сна: темные кудри, наскоро причесанные нетерпеливой рукой, падали на лоб небрежными локонами. Как она была прекрасна: свежая, розовая, смеющаяся!» (стр. 180).

«Восторг» здесь не только в эпитетах, в восклицаниях, он отражен и в движениях, во всем строе фраз.

Для сравнения приведем отрывок из произведения одного из типичных романтиков первой половины прошлого столетия.

«Я подошел к ней на два шага. Последние лучи заходящего солнца падали ей на лицо, на щеках ее играл нежный розовый румянец, как будто перебегая с одного места на другое: какая-то чудная нега дышала во всех чертах ее и когда она подняла на меня свои томные глаза, я вдруг заметил в них какой-то особенный блеск, тот ослепительный чарующий блеск женских глаз, который тревожит и волнует самое спокойное, самое сосредоточенное в себе чувство..... Я не узнавал Ксению, она

была свежа, как цветок под утренней росой». (П. Н. Кудрявцев-Нестроев. «Повести и рассказы». Москва, 1860, стр. 206).

Даже этот небольшой отрывок, сделанный в духе классической романтической манеры типа *pittoresque*, указывает на общность и единство портретного стиля у молодого Куприна и у характерных представителей романтической школы. Здесь обще не только чрезмерно повышенная эмоциональность и игра красок, цветов и света, но, также, и сходная фразеология, и характер словосочетаний.

В словаре молодого Куприна часто встречаются те же эпитеты и шаблоны, которые употреблялись ортодоксальными романтиками. Сюда, в первую очередь, нужно отнести такие «яркие» определения, как, например: ослепительный, изумительный, очаровательный, необыкновенный, чарующий, золотой, мраморный, сверкающий, чудесный и т. д.

Значительную общность можно найти и в воздействии понятия красоты. У раннего Куприна, как и у типичных романтиков, действие ее исключительно. Стремление выразить свой, почти беспредельный, энтузиазм по поводу красоты, достигает у Куприна необыкновенной силы. Писатель не ограничивается только излияниями восторга перед «изумительностью и необыкновенностью» героинь, но и настойчиво внушает читателю, что красота это божественная сила. Это понятие, даже, легло у Куприна в основу определенного эстетического канона женской наружности.

Вот, наприм., какое действие иногда может производить на человека необыкновенная женская красота: — «Из-за занавески вышла женщина и стала сзади прилавка..... Когда Кашинцев повернулся к ней, ему показалось, что какая-то невидимая сила внезапно толкнула его в грудь и чья-то холодная рука сжала его затрепетавшее сердце. Он никогда не видал такой сияющей, гордой совершенной красоты. Он, даже, не смел думать, что она может существовать на свете. Прежде, когда ему случалось видеть красивые женские головки на портретах знаменитых художников, он про себя внутренне был уверен, что таких правильных безукоризненных лиц не бывает в натуре — что они вымысел творческой фантазии. И тем удивительнее, тем неправдоподобнее было для него это ослепительно-прекрасное лицо, которое он теперь видел в грязном заезжем трактире». («Жидовка». Там же, т. 3, стр. 220).

Здесь действие, производимое красотой на Кашинцева, совпадает с действием, которое производила красота, например, на героев Гоголя, Лажечникова, Кукольника. В «Вие» Гоголя бурсак, увидя в гробу героиню, «не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз», это была «такая страшная сверкающая красота».

Красота ослепляет — она действует как яркий свет. Один из героев Кукольника, увидя красавицу, «присел, как-то понизился и зажмурился». («Максим Созонович Березовский»). У Лажечникова в его «Ледяном доме» красота заставляет героя остолбенеть. Так, «Волынский, пожирая глазами Мариорицу стоял, как вкопанный».

Часто Куприну, так же как и романтикам, недостаточно было описывать действующее лицо односложными эпитетами; он употребляет двойные («ослепительно-прекрасный»), и, даже тройные («губы, полные, красные, отдающиеся», «глаза, огромные, черные, сияющие» и т. д.).

В приведенном отрывке эмоционально-патетическое напряжение достигается, также, при помощи приема речевого ускорения. Ускорение речевого темпа у Куприна производится не только употреблением гиперболической тавтологии, но и применением групп вводных слов и придаточных предложений.

Однако, в отличие от романтиков для Куприна понятие красоты было не только понятием эстетическим. Для него красота была явлением, обладавшим чрезвычайной силой внутренней человеческой энергии. И недаром эмоционально-патетическое напряжение в рассказе «Жидовка» достигает такой остроты в передаче мыслей Кашинцева.

«В чем счастье? — спросил самого себя Кашинцев и тотчас же ответил: — «Единственное счастье — обладать такой женщиной, знать, что эта божественная красота — твоя. Гм.... пошлое армейское слово — обладать, но что в сравнении с этим все остальное в жизни: служебная карьера, честолюбие, философия, известность, твердость убеждений, общественные вопросы?»

Обаяние «торжествующей, цветущей красоты» овладевает героем в такой сильной степени, что Кашинцеву хочется всеми правдами и неправдами завладеть именно вот такой женщиной: — «Пусть она будет грязна, невежественна, неразвита, жадна — о, какие это мелочи по сравнению с ее чудесной красотой».

Как видно, автор сам верит в эту силу красоты, которую описывает с таким романтическим подъемом.

«Можно ли описать кому-либо это лицо? — говорил про себя Кашинцев... — Можно ли передать **обыкновенным, бедным, повседневным** (подчеркнуто мной. А. Д.) языком эти изумительные черты, эти нежные и яркие краски? Вот она теперь повернулась почти прямо ко мне лицом. Как чиста, как изумительно изящна эта линия, что идет от виска к уху и опускается вниз, к подбородку, определяя щеку. Лоб низкий, заросший сбоку тонкими, пушистыми волосами, — как это прелестно и женственно, и колоритно. Глаза огромные, черные, до того огромные и черные, что кажутся подрисованными, и в них, около зрачков, сияют живые, прозрачные золотые точки, точно светлые блики в желтом топазе. Глаза окружены темной, чуть-чуть влажной тенью; и как неуловимо переходит этот темный тон, придающий взгляду такое ленивое и страстное выражение, в смуглый, крепкий румянец щек. Губы полные, красные, и хотя в настоящую минуту сомкнуты, но кажутся раскрытыми, отдающимися, а на верхней губе, несколько затененной, хорошенькая черная родинка около угла рта. Какой прямой, благородный нос и какие тонкие, гордые ноздри! О милая, прекрасная, — повторял про себя с умилением Кашинцев, и ему захотелось заплакать от восторга и нежности, которые овладели им и стеснили ему грудь и щекалоли глаза». (Там же).

В этом отрывке отражено не только влияние романтической манеры, но заметно и другое: настроение создается посредством нагромождения деталей и предельно-точного описания мельчайших подробностей портрета. Это уже типично натуралистический прием. Правда, и у романтиков можно часто встретить подчеркивание тех или иных сугубо личных деталей: то какой-нибудь жилки (голубой, тонкой, прозрачной и т. д.), которая едва просвечивает сквозь кожу, то оттенка глаз и их блеска, то отсутствие в них блеска, то темную тень под глазами, то особенный цвет лица и т. д. Но разница в том, что у Куприна в описании внешности героинь часто подчеркивается также какой-нибудь недостаток их облика. Рисую, например, портрет Зинаиды Павловны — героини своей повести «Впотьмах», Куприн не делает ее изумительной красавицей, она, как писатель подчеркивает, «почти дурнушка». И тем не менее образ ее воспринимается читателем, как необыкновенно при-

влекательный и, даже, обаятельный. Как автор достигает этого?

В начале рассказа Куприн показывает читателю Зинаиду Павловну в поезде, «в полутьме вагона». Лицо героини покрыто «легким вуалем». Это дает возможность автору не описывать всех деталей лица. Но когда автор упоминает, например, что лицо Зинаиды Павловны «болезненно-бледное», то он сейчас же добавляет, — зато «синие глаза прекрасного очертания». Если он говорит об общей неправильности черт лица своей героини, то сейчас же это контрастируется с «легкостью и воздушностью фигуры». Если сообщается, что лицо Зинаиды Павловны «было всегда грустно», то тут же подчеркивается, что ее улыбка была «очаровательна» и она «освещала и делала чрезвычайно симпатичным ее лицо». Таким образом, Куприн, приводя на фоне недостатков привлекательные черты, добивался этой игрой контрастов максимальной симпатии к своим героям или героиням. В образе же Зинаиды Павловны Куприн не ограничился только этим. Здесь он с особым чувством подчеркивает, что у Зинаиды Павловны была «крошечная ручка», а ее фигурка была «тоненькой, хрупкой, беспомощно-жалкой». Это подчеркивание миниатюрности почти граничит с литотесом, который часто встречается у романтиков.

Романтики с этой целью часто пользовались красочными контрастами портрета и фона, в качестве декорации. Так, например, «белые плечики» княжны Мэри в «Герое нашего времени» Лермонтова оттенены «пунцовым платком»; «соболь воротника» Мариориты («Ледяной дом» Лажечникова) сочетается с «черными локонами», а «бледное лицо и белокурые волосы» одной из героинь Марлинского («Замок Нейгаузена») ярко отделяются от «черного камлотового, опущенного горностаем платья», и т. д.

И Куприн в своем творчестве (и не только в раннем) тоже пользовался различными контрастами красок в описаниях фона для своих героинь. Вот один из примеров, где с помощью эффекта освещения, игры света и тени, подчеркивания позы и деталей одежды, автор с чувственной приподнятостью, отражает соблазнительную прелесть женского образа:

«Иван Петрович следил за ее словами и движениями точно наэлектризованный. Он видел, как высоко поднималась ее

волнующаяся грудь, видел как среди полутьмы сверкало красное отражение огня в ее широко открытых глазах, как трепетали и раздувались ее тонкие розовые от камина ноздри. ...Он заметил, как легкие складки платья определяют форму всей ее стройной крепкой ноги». (Там же, т. 3, «Негласная Ревизия»).

Даже в беглых зарисовках Куприн часто прибегает к контрастам игры противоположных цветов: — «Ему сразу очень понравилась эта темная шатенка с кошачьими движениями, вся в завитках, завитки у ней были и на лбу и на висках и на белой прекрасной шее — с упонительно-ярким ртом. (Там же, т. 1, стр. 299, «Мясо»).

Умел Куприн описывать своих героинь и подчеркиванием эффектных штрихов их внешности: — «Ах какая она была миленькая эта Марианна Фадеевна. Лицо у нее было такое белое — именно не бледное и не матовое, а белое и все как будто в рамке пышных волнистых волос цвета... цвета рыжего соболя. Кожа розовела, точно также как и края ладони, — признак, говорят, нервной натуры. Глаза темно-карие, того оттенка, который некоторые зовут рыжим, а другие — золотым, ласковые и дерзкие.... А губы! Именно в губах и заключалось.... все очарование ее лица. Я никогда потом в жизни не видел таких губ: выпуклых, прекрасно изогнутых, свежих и выразительных». (Там же, т. 1, стр. 544-545, «Марианна»).

Надо признать, что некоторые портреты раннего Куприна, сделанные по принципу красочных контрастов, порой нельзя даже отличить от портретов в духе старомодного романтизма. Например:

«Я невольно остановился перед ней, пораженный ее странной красотой: такими рисуют художники-символисты ангелов. Представьте себе высокую и тонкую, именно воздушную фигуру, необыкновенно белое, почти без теней лицо и длинные египетского очерка глаза, полные молчаливой грусти, и в то же время загадочные, как у сфинкса. Надет был на Виктории Ивановне белый костюм, какого-то фантастического покроя, весь в продольных складках.... Она пристально поглядела на меня, молча наклонила голову и медленно протянула руку, прикосновение которой заставило меня вздрогнуть точно от внезапного предчувствия». (Там же, т. 2, стр. 101, «Виктория»).

Как видим и здесь нет недостатка в атрибутах романти-

ческого клише. Тут и «странная красота», и «воздушная фигура», и необыкновенное ангельское лицо, как рисуют художники-символисты, и загадочные глаза, как у сфинкса, и внезапное предчувствие и другие туманные и отдаленные эпитеты и сравнения, делающие и этот портрет живописно-патетическим.

Нам кажется, что приведенные примеры с достаточной убедительностью иллюстрируют наличие влияния романтического стиля в творчестве молодого Куприна, в частности, в манере живописания его женских образов. Конечно, и в ранний период у Куприна можно найти немало портретов, где автор стремился следовать принципам реалистических зарисовок, воздействовать на читателя в чисто психологическом плане. Однако, эти стремления, в этот период не нашли еще своего полного художественного отражения. Реалистические тенденции в манере портретописания были тогда еще в стадии формирования. Это видно, хотя бы из того, что внутренние образы героев произведений молодого Куприна раскрываются не по мере сюжетного действия, а, очень часто, под влиянием непосредственных вторжений и ремарок автора. (Образ Аларина в повести «Впотьмах», Бобров в «Молохе» и др.).

Только к началу 900 г.г., когда писатель вступает в зрелый период своего творчества, ему удается постичь сложную и противоречивую природу человеческих характеров. Куприн теперь концентрирует свое внимание не на внешних обликах героев и героинь, — портреты героев писателя становятся психологически-тонкими. Если он и рисует внешность, то основной упор делается на такие детали, которые помогают внутреннему раскрытию образов. Высокая художественность проявляется не только в умелом выборе и освещении таких деталей, помогающих читателю проникать за пределы внешних представлений, но и в утонченной четкости наблюдений.

Для иллюстрации приведем один из таких портретов, взятый из последнего крупного произведения Куприна повести «Жанета» (1933). Описание газетчицы (мать парижской 6-тилетней девочки Жанеты — героини повести) подается мимоходом и очень кратко. В дополнение к нескольким, бегло перечисленным, наиболее характерным деталям внешности (полная, цветущая, южного типа женщина) Куприн пишет:

«Глядя на беззастенчивый рот матери, казалось, что она недавно крепко поцеловалась с мужчиной, и опухшие губы по

забывчивости еще сохранили форму поцелуя. Кроме того, что она, как и все французы, была очень нетерпелива, — она была еще груба с клиентами и нередко покрикивала на них. Особенно доставалось от нее ее ami, должно быть, слесарю, механику или водопроводчику, судя по лицу, всегда перепачканному глянцевитой гарью. Она держала его в строгости. Но в воскресенье, расфранченные, они прогуливались по лесу и, присаживаясь на скамейках, несмотря на публику, обнимались с той откровенностью, которая повелась в Париже со времен войны». (Там же т. 6, стр. 441).

Свою дочку она может «осыпать бешеными поцелуями», «ворковать стонущим, нежным голубиным голосом: «о, мой цыпленок, о, мой кролик» и т. д., а через три минуты, «без всяких переходов», награждать ее тумакami и грубыми прозвищами.

Несмотря на всю лаконичность здесь в нескольких строках передается характерный, живой и психологически-верный образ импульсивной француженки парижского предместья.

Отметим, что по мере накопления жизненного опыта росло и реалистическое мастерство писателя. Но романтическая струя все же не исчезает, ее особенности меняются, она уходит в глубину, но она, пусть в другой форме, продолжает озарять творчество Куприна.

Она проступает в приподнятом взволнованном диалоге, в красочно стилизованных образах и пейзажах, в лирических отступлениях. (Например в «Суламифи», «Гранатовом браслете», «Юнкерах» и др.). Причем все это теперь сочетается с высокой художественной культурой. В сюжетных структурах произведений Куприна (особенно в поздний период) чувствуется общая тенденция «благословения всего живущего». Эта тенденция и определяет в целом характер творчества писателя, расцветивает его тонами романтической колоритности.

За умение рисовать людей и жизнь «по горячим следам», т. е. так как они представляли перед глазами писателя, Куприна, в свое время, называли «свирепым реалистом». Однако наличие романтической колоритности подтверждает и то, что основную цель своего искусства Куприн видел в стремлении «украшения жизни».

Цели же искусства, чисто реалистического направления

обычно были другими. Поэтому я думаю, что Куприна нельзя причислять без всяких оговорок к типичным реалистам. Хотя проявления романтических звучаний в творчестве Куприна все еще недостаточно изучены, тем не менее можно согласиться с целым рядом современных критиков (В. Афанасьев, А. Волков, О. Михайлов, К. Паустовский и др.), которые тоже относят этого замечательного писателя к своеобразным романтикам-реалистам.

*Лансинг, Мичиган.*

*Александр Дынник*

## НА ЗАКАТЕ

Наподдав ногою кошку,  
Мы идем навеселе.  
Раздвигает друг гармошку:  
“На деревне, на селе”...

Небоскреб там, или хата,  
Темза, Волга, иль Гудзон?  
Вспоминаю, как когда то,  
Где то... Может — просто сон.

Не до девок, не до баб нам,  
Только б водка с огурцом,  
Чтоб с размахом, чтоб похабно  
Погулять перед концом.

После войн, нужды и странствий  
Остается пить да петь.  
“Нам ли брошенным в пространство,  
Обреченным умереть...”

## ИЗ ЦАРСТВА РА

Во время оно,  
Для нужд наук,  
Из Фараона  
Изъят был жук.

Из камня сделан,  
Оставив свет,  
В царе сидел он  
Пять тысяч лет.

Пред жизнью нашей,  
Тая испуг,  
Все ж ошарашен  
Священный жук...

На мир безбожных  
Услад, скорбей,  
Глядит тревожно  
Жук — скарабей.

*Глеб Глинка*

## ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ

*Марку Шагала*

Небесный сыр, — моя луна  
Уже надъедена мышами.  
Они живут за облаками  
В корнях потусторонних верб.  
И нет луны. Есть лунный серп.  
Надолго ль он в ночи?

Но вот,  
Мой пожилой покойный кот  
В мышиный табор сиганул, —  
Одних сожрал, других — испугнул.  
И нет луны. Есть звездный свет,  
Мерцающий тьму тысяч лет.

1942

Тебе не страшны голод и пожар.  
Тебе всего уже пришлось отведать.  
И новому ль нашествию татар  
Торжествовать конечную победу?  
О, сколько раз борьба была невмочь,  
Когда врывались и насильники и воры,  
Ты их вела в свою глухую ночь,  
В свои широкие звериные просторы.  
Ты их звала доверчивых собак  
В свои трущобы, лютая волчица.  
И было так, и снова будет так,  
И никогда тебе не измениться.

*Николай Туроверов*

# ПОЭТЫ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

МИХАИЛ КУЗМИН

Кое-что в его книгах читательского внимания как-будто не заслуживает. Но если читатель запасется терпением, он всегда будет вознагражден за скуку прелестной строчкой даже в самых слабых его стихотворениях. Он был мастером, но иногда, из-за какой-то прихоти писал небрежно, как-то даже нарочито притворяясь любителем.

«Александрийские песни» все хороши. Это верлибр, которые у нас мало кому удавались. Русские поэты до сих пор не порывают с песней, с песенным ладом, а в поэзии, напоминающей прозу, — не поется; правда, мы поем наши церковно-славянские гимны, это те же верлибр (хотя в некоторых гимнах сохранились византийские метры).

В чем секрет «Александрийских песен»? Анализировать их ритмику трудно, как и нашу литургическую поэзию. В этих стихах — счастливое сочетание песенных рефренов, немногих метрически «правильных» размеров, редких звуковых повторов и — разговорных выражений, прозаических описаний, нарушающих плавное течение поэтической речи. В одной из этих песен тот же повторяющийся зачин в рассказе молодой гречанки: «— Не знаю, как это случилось?» (амфибрахий?). Но болтовня ее с соблазнителем ломает напев: « — А что у меня во рту, видишь?» — «Чему быть у тебя во рту? Крепкие зубы, да болтливый язык...» Но иногда приемы Кузмина сложнее, неуловимее. Так, этот отрывок, посвященный любимцу императора Адриана — Антиною, **организуют** внутренняя рифма (волшебством — пустом), звуковые повторы (три «п») и, в особенности эмфаза на последнем слове (полднем!):

Волшебством показалась мне его красота  
и его молчание в пустом покое  
полднем!

«Александрийские песни» сравнивали с «Песнями Билитис»

Пьера Луиса. Иногда они напоминают стихи Константина Кавафиса (1863-1933), ново-греческого поэта, жившего в Александрии и прославившего этот город. Их обоих преследовали светлые серые глаза... и те же у них соблазны, та же разговорная проза в сочетании с напевными стихами. Но Кавафис мрачнее, тяжелее легкого, воздушного Кузмина.

Из чего сделана его поэзия? Из очень разных слагаемых: это капризная манерность и будничная простота, веселые песенки и печальные элегии, стилизация прошлого и бытовые наблюдения, грубая похоть и братская нежность, смертные грехи и райская невинность, старомодный дендизм, модное декадентство и горестные или блаженные молитвословия; изредка сюрреалистический бред — австралийский пейзаж и ассирийский царь, похожий на Пугачева... («Конец второго тома»); или же таинственные предчувствия, соприкосновение с мирами иными в цикле «Лазарь» (1928); при всем этом детскость, детская душа, хотя уже и нагрешившая... (...мы все как маленькие дети...).

Кузмин — новый Анакреон, но менее беспечный; Анакреон со слезным даром, со вздохом об иной легкой жизни в селениях райских. Он продолжает русское анакреонтическое рококо — иногда возвышается до метафизики, как и любимый им Моцарт — в музыке.

Легкомыслие Кузмина удивляло, веселило после глубокомыслия символистов. Все же его видения и грезы сродни символистам. Но он не жрец, как В. Иванов или Блок, а в лучшие — высокие свои минуты — пляшущий Давид или вздыхающий Мытарь.

Песня песней Кузмина — его стихотворение: Господь, я знаю я недостойн... (1916 г.). Здесь прозвучали самые чистые мотивы его поэзии — жалость, нежность, вздохи мятежные и вздохи покаянные:

Еще я ревную, мучусь, немею  
(Господь, мое счастье обереги!),  
Еще я легким там быть не смею,  
Где должны быть крылаты шаги.  
Еще я верю весенним разливам,  
Люблю левкои и красную медь,  
Еще мне скучно быть справедливым,  
Великодушьем хочу гореть.

У него было это великодушие, была щедрость — не мудреца, а «несерьезного человека», одаряющего всеми прелестями земными на коротком пиру жизни: Из сердца пригоршней беру я радость... Зная, как несовершенна и, в несовершенстве своем, все же прекрасна природа человеческая, он втайне верил: все спасутся —

Увидишь, мы дети Божьи  
У теплых родных колен.

### АХМАТОВА

Ахматова называла Анненского своим учителем и, действительно, она многим ему обязана. Это он научил ее говорить будничным языком в лирической поэзии. От Анненского же — ахматовские колющие иголками мелочи жизни, например, знаменитая — надетая на правую руку перчатка с левой руки. Здесь *understatement* — преуменьшение в описании драматической ситуации: **внешнее** (перепутанная перчатка) свидетельствует о внутреннем, о том, что происходит в душе.

Ахматовские паузники тоже «анненского» происхождения. Так, например, метрически совпадают эти две строчки:

#### **Анненский.**

Обиды своей жалчей...

#### **Ахматова.**

Не знаешь ли, где светлей...

Все же, сходство это скорее формальное. Уколы Ахматовой мягче уколов Анненского.

Анненский не прощал Богу обиды, страданий. Ахматова всегда прощала. А ей суждено было пережить скорби, ужасы, которые не снились Анненскому даже в самых его кошмарных снах.

Для Ахматовой: где скорбь, там и свет. Это она знала еще в юности, в эпоху веселых сборищ в кабачке «Бродячая собака». Изумительна ее одним дыханием написанная юношеская поэма «У самого моря». Фон — будничный: черноморская деревня; а мечты сказочные: дерзкая, веселая девочка мечтает о заморском царевиче. Он и приплыл, но еще до встречи с ней умер после падения в море. Над ним поют Христос Воскресе —

И несказанным светом сияла  
Круглая церковь.

Эпилог этой поэмы неожиданно напоминает одну из александрийских песен Кузмина — о солдате, пораженном красотой любимца Кесарева (Антиноя), который тоже погиб в море —

И голоса ангелов пели:  
«Осанна!»  
Новый бог  
дан людям!

У Кузмина и Ахматовой — та же порожденная мечтами любовь «простых сердец», и то же торжество смерти — светлое торжество; у обоих поэтов стихи белые, свободные, но, при этом, у Кузмина ритм неуловимее, сложнее, прозаичнее.

В поэме «У самого моря», атмосфера будничная, но и сказочная.

Но вот наступила Октябрьская революция — кромешная тьма:

Все расхищено, предано, продано,  
Черной смерти мелькало крыло,  
Все голодной тоскою изглодано, —  
Отчего же нам стало светло?

Великая скорбь — и опять свет! Уже не в сказке, а свет во тьме. Ахматова всегда втайне знала — смерть неокончательна; и на закате дней обмолвилась: Какое нам, в сущности, дело,/ Что все обращается в прах... Была она сильна, и было у ней особое — христианское чувство «внесмертия» жизни, певшей свою песню в поэзии.

Жизнь она любила и как еще любила! Темы ее — большая любовь, и легкая любовь, «кокетство», «флирт», все вообще оттенки страстей и увлечений женщины: и все эти мотивы прославили ее еще в ранней юности. Особенно удавались ей герои, далекие от «идеала»: например, гость — денди, у которого

Ни один не двинулся мускул  
Просветленно-злого лица.

Да, она любила жизнь, но смерти не страшилась.

Сталинщина, ежовщина были ужаснее террора первых революционных лет. Бóльшей беды не было в России ни при тарах, ни при Грозном и, может быть, о беде этой нельзя писать в стихах. Иногда кажется: ритмы, рифмы как-то предают

нечеловеческие страдания той проклятой эпохи. Во всем цикле сильнее всего звучит эпиграф из погребального гимна: Не рыдай Мене, Мати, во гробе сушу. Только в этих словах: свет, а простому смертному здесь нечем светить и, тем более, не следует ему помышлять о собственном памятнике. А все же есть светлая правда в последних стихах «Реквиема»:

И голубь тюремный пусть гулит вдали,  
И тихо идут по Неве корабли.

Да, простить — нельзя и спеть-выпеть такое горе трудно, а все же жизнь в целом невиновата: хотя бы эти голуби и корабли.

Такая была Ахматова. Такой у нее был дар, благодатный дар приятия жизни. Не блаженно-детский дар мученика Мандельштама, тоже все приявшего — все спевшего, а дар выносливой женщины, которую судьба не избавила от общерусских скорбей.

Еще было у ней — последней из русских больших поэтов — чувство России — и Петербурга, и черноморья, и провинциального Бежецка и азийского уже Ташкента. Была преданность России. Весь настежь распахнут поэт, — писала Ахматова, и она сама была — распахнута России, как и Блок. Но для Блока — «музыка ушла из мира» вскоре после написания «Скифов» и «Двенадцати», а Ахматова слышала музыку в России и в последующие годы, до самой своей смерти.

«Поэма без героя» — одна из вершин Ахматовой. Прелюдию к ней она слышала еще в 20-х г.г., а написала поэму в начале 40-х г.г. Это лирическая повесть о веселом Тринадцатом Годе — о веселых друзьях юности, уже обреченных на гибель. Самоубийство одного из них, поэта-гусара В. Князева переживается, как предзнаменование будущей катастрофы. Это воспоминания — но особенные. Все воссоздается и как будто опять радуется: оживают не только умершие друзья, но и милые пустяки той эпохи. Однако, в этой песне песней о прошлом улавливается и другое: свет вечной памяти. Прошлое не повторится и повторяться не должно. Все же оно окончательно не исчезло: увлечения, надежды, разочарования, горести и даже легкомыслие юности светят в поэме другим вневременным светом. Преждевременно истолковывать эту поэму. Но в ней явно выделены два образа. Это В. Князев:

и темные ресницы Антиноя  
 вдруг поднялись — и там зеленый дым  
 и ветерком повеяло родным...

И, в особенности, О. А. Глебова-Судейкина — Путаница-Психея, уже миновавшая лету:

Ты в Россию пришла ниоткуда,  
 О мое, белокурое чудо,  
 Коломбина десятых годов!

Терцины, ей посвященные, звучат молодо-победно: это самый живой, самый «внесмертный» образ Ахматовой. Глебова-Судейкина — слабая, земная женщина, но и «чистейший образец», муза. Сюда принесла я блаженную память... писала Ахматова в 1957 г. Этой памятью одушевлена «Поэма без героя».\*

Еще более поздние стихи 1963 г. — неясные, и все же многое объясняющие. **Она** в этом стихотворении — жизнь, судьба, эпоха, но и поэзия.

Была над нами, как звезда над морем,  
 Ища лучом девятый смертный вал;  
 Ты называл ее бедой и горем,  
 А радостью ни разу не назвал.

Но Ахматова, вопреки, а может быть, и благодаря своему горькому-горестному опыту — называла **ее** радостью.

Звучали в ахматовской лирике пасхальные мотивы: И смертью смерть поправ...

\* Многие стихи в «Поэме без героя» написаны логаздами, т.е. особого рода правильными размерами, которые до сих пор еще не классифицированы. Некоторые литературоведы думают, что в этих размерах мы находим сочетание разных двухсложных и трехсложных размеров, например, ямбов и амфибрахий. Но логазды — не комбинация метров, а особые размеры, и их несколько видов. Сравним эту строку Ахматовой (из «Поэмы без героя») со строкой Цветаевой (из «Тезея»):

Теплый ливень уперся в крышу. (Ахматова).  
 Выше, выше, пробивши кровлю. (Цветаева).

Здесь тот размер, который я называю условно «восьмеркой» (в нем восемь слогов до последнего ударения). Как хорей или ямбы, этот восьмиричный логазд допускает ограниченное число сочетаний.

# ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

У Северянина легкомыслие Хлестакова, нагловатость Ноздрева; и оба эти героя тоже любили звучные слова. Хлестаков упивался наименованием рыбы — лабардан, а Ноздрев сублимным суперфлю или канальями-канарейками: так он с восхищением отзывался о каких-то бабешках. Эти гоголевские герои могли бы оценить ананасы в шампанском или шампанское в лилии Северянина. Это не для них ли:

В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом  
По аллее олуненной Вы проходите морево...

А еще больше понравились бы им эти стихи:

Часто приходила ты в одной рубашке  
Ночью в кабинет мой, возжелав меня...

«Отдавалась грозово» или — «на ландышах» — тоже поэзия для Хлестакова и Ноздрева. Еще выразительнее эта гастрономическая эротика:

Вся в черном, вся — стерлядь, вся — стрелка...

Пошлость? Конечно, пошлость, но, при этом увлекательная поэзия пошлости, которую Анненский находил в поэме «Мертвые Души». Пошрое самодовольство, но и увлечение, упоение не только жратвой, винцом, бабцами, но и звуками — музыкой пошлятины. Все-таки и певучая пошлость остается пошлостью. Да, конечно. Но искусство все выражает: также и вульгарное. Чем вульгарнее и, при этом, чем абсурднее, — тем все выразительнее в северянинских напевках анапестах с цезурой:

А когда перепуганный — очарованный нищий  
Бессознательно выполнил гривуазный приказ,  
Утомленная женщина, отшвырнув голенищи,  
Растоптала коляскою марьонетку проказ.

Этот апофеоз пошлости комичен, но и поэтичен. Есть комическое, но есть и поэтическое в виршах капитана Лебядкина (Порхает звезда на коне... или — Краса красот сломала член...).

Следуя за Хлестаковым, Ноздревым, Лебядкиным, Северянин спел свою «песню песней» пошлости.

Перед первой войной его обожал массовый читатель и, в особенности, массовая читательница, он был полубогом поэзии. Его читали больше, чем Блока, Ахматову, Бальмонта, хотя в журнале «Аполлон» стихов его не помещали, и его нельзя было увидеть у Мережковских, у Вячеслава Иванова. Но Брюсов и Сологуб ценили Северянина.

Перед первой мировой войной читательская масса подняла на шит вульгарного и звонкого Северянина, как лет за тридцать до этого восьмидесятники — мелодраматического, дребезжащего Надсона.

«Прекрасное должно быть величаво...», но все же «служенье муз» иногда терпит и суету (на нижних отрогах Парнаса).

О друге своем Константине Фофанове Северянин писал: в его поэзии «упоителен шаблон»; и фофановские шаблоны, действительно, певучие. У Северянина шаблонов нет, он — оригинален, хотя его неологизмы типа ошедеврэн, озкранен иногда встречались и у поэта пушкинской эпохи — Владимира Филимонова (огишпаненный, офалернившись). Филолог Р. Брандт с одобрением отзывался о северянинских сокращенных словах — сверк, сонь, лунь (от луны), а выражение бездарь вошло в русский язык, но лиловь или улыбь — едва ли приемлемы. Все же надо отметить, что этого рода сокращения в духе русского языка (рвань, голь). Таких новообразований немало и у Маяковского — ясь, загробь, нишь (В. Виноградов). Есть певучесть, распев в тресложных размерах Северянина. (Как у Некрасова или в наших безрифменных старинах-былинах).

Последние двадцать лет жизни Северянин прожил в рыбацкой деревне Тойла, в Эстонии. Сам рыбачил и писал стихи о природе:

Осеню себя осенью — в дальний лес уйду,  
В день туманный и серенький — подойду к пруду.  
Листья точно кораблики, на пруде застыв,  
Ветерка ждут попутного, но молчат кусты.

Листья легкие-легкие, да тяжел удел,  
У пруда они выросли и умрут в пруде.

Стихи эти — осенне-жалобные, и непохожи на его преж-

ние вульгарно-эпатирующие поэзы, хотя и дореволюционный Северянин иногда воспевал рыбную ловлю:

На реке форелевой, в северной губернии,  
В лодке, сизым вечером, уток не расстреливай:  
Благостны осенние отблески вечерние  
В северной губернии, на реке форелевой.

Северянин тоже был нужен в обширном хозяйстве русской поэзии.

### ХЛЕБНИКОВ

Хлебников часто непонятен и не потому только, что некоторые стихи его темные, даже заумные. Этот поэт, на всех других поэтов непохожий, был устроен иначе, чем другие люди, и читателю трудно в него вжиться. Некоторые слагаемые его творчества — умопостигаемы, но целое остается скрытым за семью печатями. Попытаюсь объяснить то, что поддается объяснению, но уже заранее знаю, что в конце концов упрусь в стену непонимания.

Лучшие его комментаторы — Н. Харджиев в России, в Америке Р. Якобсон и В. Марков, автор английской монографии о Хлебникове; и кое в чем я следую за Марковым.

Иногда хлебниковская заумь совсем непонятна (укс, кукс, эль). Все же, в некоторых случаях странные сочетания звуков осмысливаются читателем: Бобэоби пелись губы... Слова бобэоби мы не знаем, но в нем доминирует звук «б», т.-е. губной, согласный.

Позднее заумь культивировали и французские дадаисты. В зауми слышится вызов всей современной рационализации жизни и отчасти даже быта. Разочарование в разуме, в разумности цивилизации, изготовляющей средства разрушения, а также открытие подсознательного мира в психологии, — усилили интерес ко всему иррациональному. Если вся наша «умь» губит, то, может быть, поможет **заумь**! Это — обольщение: помощи от нее ждать нельзя, но психологи правы: в нашей душе таятся потемки: заумь такой же несомненный факт, как и «умь»!

Отмечу: ни хлебниковская, ни дадаистская заумь не имеет ничего общего с экстатическим бормотанием древней пифии или христианских мистиков. Или же: сходство это — внешнее.

Современные заумники не беседуют ни с богами, ни с Богом.

Слово для Хлебникова — «самовитое слово», живущее своею жизнью. Он умел к слову прислушиваться и, каким-то ему одному ведомым путем, подслушивал, что слово говорит: так **смех** подсказал ему **смехацей**, неизвестных русскому языку, но, может быть, уже существовавших до того как они были названы («Заклятие смехом»). Действительно, почему бы не быть этому слову и обозначаемому им «предмету», если уже существуют трубачи, палачи, силачи, снохачи, бородачи? Академик В. Виноградов разъясняет: суффикс **ач** — малопродуктивный (но, например, рвач сравнительно недавно вошел в речевой обиход). Сотни или даже тысячи хлебниковских неологизмов могут интересовать преимущественно лингвистов, а поэтов и любителей поэзии они скорее утомляют. Между тем, Хлебников, с каким-то упорством, и не без педантизма, изготавлял их в своей лаборатории химика или алхимика словесности. Но о воздействии на читателя, о поэтической магии, он не заботился. Все же, в писаниях этого диковинного «творянина» мы найдем немало волшебных стихов.

«Они голубой тихославль, они голубой окопад. Они в никогда улетабль, их крылья шумят невпопад». Кто это **они**? Поэты, паломники, птицы, ангелы или сумасшедшие? Но уточнять здесь не следует: это поэзия высокого полета. Тихославль, выдуманный по аналогии с Ярославлем, ассоциируется с церковным гимном: Свете тихий святые славы. Не то, светлый Китеж, вознесшийся на небо, не то новый Иерусалим, сходящий с небес: и небесный град этот манит. Но сразу же за этой волшебной строфой, в той же XIII-ой «плоскости» сверхповести «Зангези» следует утомительный список нанизанных неологизмов (инеса-собеса, нетуры-летуры). Гимнология сменяется технологией. Хлебников, как-то походя, может быть, случайно (а случаи в искусстве бывают счастливые) — одарил поэзией, а затем опять занялся лабораторными опытами, восхищающими некоторых лингвистов.

Технические опыты совершаются по плану, и у Хлебникова такие планы были. Но он не только неутомимый лаборант, но и вечный ребенок. Подобно детям, он иногда теряет интерес к своим занятиям или играм и, поэтому, стихов не отделяет, темы не развивает, поэму не оканчивает. То ошеломит поэтов волшебной строфой, то удивит лингвистов новыми словообра-

зованиями, а то «понесет вздор» и не побрезгует выражениями шаблонно-поэтическими. Говорится это не в осуждение: Тихославль, даже списки неологизмов, или детский беспорядок, вообще смещение разных «плоскостей» — имеет свою прелесть. Отмечу также: в творчестве Хлебникова нет позы (а современные ему поэты позировать любили). Все, что он делал, он делал искренне, серьезно.

Тематика: ее определить не так трудно, но из этого не следует, что мы сможем понять творчество Хлебникова — в целом.

Хлебникова тянуло к пра-истории человека и земли. Его привлекало все первичное, примитивное, каменные бабы в южных степях, древняя мудрость востока, монгольские шаманы, персидские дервиши, все азийское (о, Азия, тобой себя я мучу...). В одной из своих наиболее понятных поэм («Хаджи Тархан») он заявляет: Ах, мусульмане те же русские, / И русским может быть Ислам... Или:

Казак сдувал с меча пылинку,  
На лезвие меча дыша,  
И на убогую былинку  
Молилась Индии душа.

Кроме тяги к древним тайнам, к укорененному в прошлом пестрому Востоку, у Хлебникова была еще тяга к неизвестному, но заманчивому будущему. Он ведь «будетлянин» — футурист, хотя, конечно, не вмещается ни в какие измы, включая футуризм. Он бредил революцией, но не октябрьской, а другой, — которая одолеет смерть (об этом же мечтал загадочный Н. Федоров, требовавший «научного» воскрешения мертвых):

Это у смерти утесов  
Прибой человечества,  
У великороссов  
Нет больше отечества.

Хлебников — скорее всего анархист, его вдохновляла Свобода-Неувяда, а в будущем ему мерещился Могатырь, который все может:

Шагай, могатырь! можарь, можар!  
Могун, я можею!

Но далее опять следует утомительный список неологизмов с тем же корнем (моглец, я могу... и т. д.).

У Хлебникова немало срывов, но были и откровения — странные, ошеломляющие образы: Целуй врага, пока он не исчезнет (хлебниковское истолкование евангельской истины в поэме «Ладомир»).

Хлебников — поэт-экспериментатор, играющий ребенок или же — свободный странник:

Мне много ль надо? Коврига хлеба  
И капля молока,  
Да это небо,  
Да эти облака.

Все эти гипотетические определения как будто подтвержаются его стихами, но все же сущность Хлебникова остается непроницаемой, что-то самое важное ускользает и от анализа, и от синтеза. Как-то он сам себя назвал марсианином и, действительно, этот дикий человек походил на выходца с другой планеты.

Не постигая его в целом, мы понимаем-осмысливаем лишь разрозненные части хлебниковского творчества. Всюду кучи песка, шлака, но нет-нет, да и блеснет крупца промытого им золота. Почему же он не отделял драгоценный металл от сырья и отходов? То ли хотел показать весь творческий процесс? То ли по-детски верил, что читатели, не заботясь о выигрыше, увлекутся его чистой игрой?

Хлебников повлиял на Заболоцкого и на некоторых современных молодых поэтов в России. Все же его подражатели или продолжатели — не марсиане, а «земляне» и в тайну его не проникают. А если и есть исключения, то говорить о них рано. Одно несомненно: загадочный «творянин» Хлебников — учит, и радуется.

*Ю. Иваск*

## МИР

Дорóгой, дорóгою голою  
из белых безбрежных высот...

Но вот — из Созвездия Голубя  
Земля, как голубка, встает

Вот мир на Земле и забвение  
и край непочатый добра

И чаша уже запустения  
испита должно быть до дна

И с птичьими звонкими токами  
как Ноев ковчег между вод

С златыми обводами тонкими  
земля в мирозданье плывет...

И так — на заре геологии —  
во тьму на небесный восток

Так шар из Созвездия Голубя  
во злате, как в ризах, встает

И лес заповедный колышится  
и соки бегут у стволов

“Осанна, о Господи!” — слышится  
но больше не слышится слов...



*“не шелест...”*

не шелест вздрогнувшей травинки  
а две души — как в первом сне

две половодья половинки —  
в объятья к свету и весне

а все кругом — как в кои веки  
не две реки — а две руки

смолой раздувшиеся ветки  
рекой разлитые ручьи  
и говор — чудо, не наречье  
и две души — в одном гнезде  
в одной Земле, в одном Двуречье  
в одной умытые в воде  
ах, тут нескитанность и тёмность  
орбит, залеченных обид  
и эта вечная подробность —  
пчела в цветке в медовом спит



свеча догорала в подсвечнике  
— и эхо — Кодали хорал —  
в пространство, в мучительно вечное  
нагар в полумраке стекал  
ни боя часов, ни участия  
невнятных давно уже слов  
ни дня похорон ни ненастия  
ни веры в улов рыбаков  
но нет здесь ловца человеков —  
за тяжкою разве плитой  
свеча —  
                    обгоревшее млеко  
в подсвечник сливает в пустой

*Яков Бергер*

## Л. ТОЛСТОЙ О ШЕКСПИРЕ

Отношение Толстого к произведениям Шекспира, его трагедиям, было, с первого его знакомства с ними, весьма отрицательным. 28 лет от роду он назвал Шекспира «фразером». С той поры, и в течение всей жизни, отношение это, по существу, не менялось, разве только становилось еще более отрицательным. В последние годы жизни Толстой считал Шекспира не только плохим, но прямо-таки вредным писателем. Анри Труая (Тарасов) в своей книге о Толстом справедливо называет Шекспира «la bête poïge» русского писателя. Уже будучи 75-летним стариком, Толстой написал свою известную статью «О Шекспире и о драме», где в весьма резкой форме подвел итоги своей критике. Если бы Толстой ознакомился с Шекспиром только в этом возрасте, можно было бы сказать, что в это время он уже был на склоне своих душевных сил и своего таланта, и этим объяснить неточности и преувеличения этой статьи. Но взгляд Толстого на Шекспира складывался, как он и сам об этом говорит, в течение «полустолетия», хотя в письменной форме, в статье, он выразил его только под старость. Интересно, как Толстой писал этот этюд. Сначала это должно было быть только предисловие к статье Кросби «Шекспир и рабочий класс», но, начав писать, Толстой все больше расширял свою статью и писал ее целых четыре месяца. Одно это показывает, как долго и упорно думал он о Шекспире и как он хотел, наконец, свести с ним счеты.

В «О Шекспире и о драме» Толстой берет для более детального разбора «Короля Лира», ибо это «одна из наиболее восхваляемых драм Шекспира». По мнению многих шекспирологов «Король Лир» не наиболее совершенное произведение английского драматурга, во всяком случае, структурально, с точки зрения «формы». Но Толстой для своей цели взял именно эту трагедию. Последуем за ним.

Писатель пересказывает пьесу сцену за сценой, утверждая, что делает это объективно. Однако, это не так: Толстой не забывает внести в свой пересказ скрытую критику, сказыва-

вающуюся в подчеркивании и высмеивании отдельных деталей, и это — в ущерб передаче основного мотива пьесы — душевной драмы Лиры.

Пересказав, по-своему, «Короля Лиры», Толстой дает такое общее определение драмы: «Условия всякой драмы, по законам, установленным теми самыми критиками, которые восхваляют Шекспира, заключаются в том, чтобы действующие лица были, вследствие свойственных их характерам поступков и естественного хода событий, поставлены в такие положения, при которых, находясь в противоречии с окружающим миром, лица эти боролись бы с ним и в этой борьбе выражали бы присущие им свойства». Следует сразу же заметить, что это определение годится для драмы, но не исчерпывает понятия трагедии: главное действующее лицо в трагедии, «трагический герой», является всегда более сильной, более значительной личностью, чем окружающие ее люди.

Далее Толстой переходит к своей критике «Короля Лиры» и формулирует ее в нескольких пунктах. Первый пункт заключается в том, что положения, в которые поставлены действующие лица, «неестественны, выдуманы нарочно». Чтобы возразить на это утверждение, ограничимся тремя примерами. По поводу завязки трагедии Толстой говорит, что Лиру нет никакой нужды и повода отрекаться от власти, и далее, что неестественно то, что он верит речам старших дочерей и не верит правдивой речи младшей. Однако, вполне можно допустить (и он сам это говорит), что 80-летнему Лиру надоело управлять и заниматься делами своего королевства. Он хочет оставаться королем, но хочет и покоя. Относительно же того, что он верит лживым речам старших дочерей, а слова младшей возбуждают его гнев, надо сказать, что Лир привык к лести, ничего другого и не ожидает от уверений старших дочерей и ждет того-же и от младшей. Его деспотический, вспыльчивый характер вполне объясняет вспышку гнева в ответ на слова Корделии. Толстому же это кажется «усилением эффектов», т. е. чем-то неправдивым, в жизни не встречающимся, а потому и ложным, плохим. Но трагедия на театре не есть подражание жизни, и герои трагедии, как говорил Станиславский, не «люди с Мясницкой». Их чувства, изображаемые драматургом, могут производить на нас впечатление «усиленных» по сравнению с чувствами обыкновенных людей. Вто-

рая завязка (отношение Глостера к своим сыновьям), которую критикует Толстой, говоря, что она ослабляет первую; что, сама по себе, она психологически неверна — также вполне допустима. Ослабляет она или усиливает первую не имеет значения. Единство замысла в трагедии есть, обе завязки имеют сходство, но они не одинаковы полностью. Сложность трагедии, конечно, от этого увеличивается, но одновременно, увеличивается и разнообразие положений, «богатство» материала. Весь вопрос только в том, справился ли с этой сложностью Шекспир? Надо думать, что справился. Ведь сам Толстой, как увидим, признает, что Шекспир умеет «вести сцены». Умеет он их вести и в «Короле Лире». Замечание Толстого, что отношение Глостера к своему (законному) сыну Эдгару меняется «сразу», т. е., что оно психологически неверно, вызывает возражение. Ведь перемена в отношении Глостера к Эдгару очень хитро подготовлена Эдмундом (незаконным сыном) при помощи подложного письма к нему брата. Кроме того, Эдмунд выбирает весьма подходящий момент для осуществления своего замысла: отец его, Глостер, в это время «выбит из колеи», он еще под впечатлением сцены проклятия Лиром Корделии и изгнания Кента.

Второй упрек. Почти во все время действия (за исключением конца трагедии) Лир не узнает своего приближенного, придворного Кента. Конечно, тот выдает себя за другого, но, спрашивает Толстой, как же, все-таки Лир не может узнать в этом человеке того, кого он так часто видел и слышал? Но ведь Лир впадает — или уже впал — в это время в безумие. Весь мир становится для него преображенным, неузнаваемым. Кроме того — и это очень важно — действие происходит в театре и маскарад Кента может — и должен быть — сделан очень удачно.

Третий упрек. Король Лир, в один из самых трагических моментов действия, начинает разговаривать с шутом, причем обменивается с ним фразами, которые, по мнению Толстого, ставят его почти на один уровень с шутком, т. е., в положение комическое, а стало-быть, опять в «неестественное». Но ведь потрясенный духовно Лир, слушая умные и язвительные насмешки шута, находит в них, хотя бы временное облегчение, какой-то исход своей скорби и своему гневу. В шекспировских трагедиях элемент трагический часто переплетается с элемен-

том комическим и этой антитезой придается особая сила первому.

Следующий пункт критики Толстого — в том, что лица трагедии Шекспира «живут, думают, говорят и поступают совершенно несоответственно времени и месту». На первый взгляд это может, действительно, показаться странным, что в трагедии, время и место которой за 800 лет до Р. Х. в Англии, выступают французский король, бургундский герцог и придворные, напоминающие собой придворных елизаветинской эпохи в Англии и т. д. Толстой здесь «не приемлет» того, что в «Короле Лире» этот реализм (времени и места) совершенно неважен, что не к этому стремился Шекспир, ибо все действие пьесы, весь ее смысл **вневременны**. Если же в трагедии имеются некоторые отблески елизаветинской эпохи, то это только чисто внешнее и оно не мешает восприятию основного содержания пьесы — душевной драмы Лира.

Третий пункт критики Толстого: «У Шекспира, вопреки установившемуся мнению, нет изображения характеров». Характеры, представленные в драме или трагедии, должны говорить, по Толстому, «каждый своим, особенным, свойственным ему языком». У Шекспира, говорит Толстой, этого нет. «Все его лица говорят одним и тем же шекспировским вычурным языком», и далее: «по характеру речи невозможно узнать того, кто говорит». Толстой указывает затем на 5 разновидностей в языке шекспировских героев, одну из которых употребляет тот или другой герой. Толстой делает, как увидим далее, одно лишь исключение — для Фальстафа.

1. Язык королей: «он дутый и пустой». 2. «Язык, должныствующих быть поэтичными, женщин: Юлии, Дездемоны, Корделии, Иможены, Марины — фальшиво-сентиментальный». 3. Язык злодеев — Ричарда, Эдмунда, Яго, Макбета: «они высказывают те злые чувства, которые злодеи никогда не высказывают». 4. Речи сумасшедших — «они одинаковы, со страшными словами». 5. Речи шутов: «с несмешными остроумиями».

Язык королей. Но тут следует вспомнить, что именно таким языком и говорили короли в 15-ом и 16-ом столетии в Англии, когда обращались к своему народу, к своим подчиненным. В разговорах же частного характера у королей сказываются

другие, притом каждому из них свойственные черты (разговоры Клавдия с Гертрудой; с Лаэртом).

Язык «поэтических женщин». Действительно ли он «фальшиво-сентиментальный»? Да, он «сентиментален», но только в том смысле, что выражает чувства, испытываемые или бушевавшие женских героинь Шекспира. Но он вовсе не одинаков у Корделии с его простотой и твердостью или у Юлии (Джюльетты) с ее страстью. Все помнят и язык Офелии (до помешательства) — этой нежной и покорной дочери.

Язык злодеев. Но они у Шекспира, никогда не высказывают свои «злобные чувства» перед теми, от которых хотят их скрыть, они высказывают их сообщникам, конфидентам. И это вполне «естественно» т. е. правдоподобно.

Речи сумасшедших. По Толстому, они все «одинаковы, со страшными словами». Но бред Лира, речи сумасшедшего Глостера, речь помешавшейся Офелии — отнюдь не одинаковы.

Речи шутов. Они «изобилуют несмешными остротами». С этим тоже вряд ли можно согласиться. Прежде всего; речи шутов, напр., шута в «Короле Лире», не всегда и претендуют на юмор в обычном смысле этого слова. Главное в этих речах то, что они, часто в метафорической форме, вскрывают правду. Шут в «Лире» говорит королю о том, что с тем на самом деле произошло. Затем: своего рода, юмор в некоторых сравнениях, употребляемых шутами, очень часто и не должен быть «глубоким». Он более поражает своей быстротой парирования замечания собеседника. Поэтому тот длительный разбор речей шута, которому отводит столько места Толстой, читателя, знающего Шекспира, не убеждает.

Здесь следует сказать несколько слов о языке драматических и трагических героев вообще. Он может или просто обрисовывать их чувства и поступки с общечеловеческой точки зрения или же, давая эту обрисовку, одновременно передавать и внешний колорит, т. е. принадлежность данного героя к тому или другому слою общества, к той или иной эпохе. Когда Шекспир этого хотел, он великолепно умел передать и этот «второй», «внешний» язык (напр., в своих исторических трагедиях, в «Кориолане», «Юлии Цезаре»). Надо признать, что иногда, вероятно, из-за быстроты работы над некоторыми из своих пьес, он вставлял в речи своих римских героев выражения елизаветинской эпохи (что так верно отметил Гёте в своей второй

статье о Шекспире «Shakespeare und kein Ende»). Но в такой трагедии, как «Король Лир», где историческая эпоха для Шекспира была вопросом далеко не первой важности, этот «второй, внешний язык» отходит также на второй план, вернее, Шекспир о нем в *этой* трагедии не заботится. Конечно, отношения «ранга» (король это или придворный и т. д.) намечены, но это и все, к чему Шекспир здесь стремится в смысле «языка».

Говоря о языке действующих лиц у Шекспира Толстой делает одно исключение — для Фальстафа. Фальстаф говорит, по Толстому, языком ему свойственным, подходящим этому изломанному, полушутовскому характеру. Но, замечает Толстой, это только одно из выведенных Шекспиром 500 действующих лиц; вдобавок, прибавляет писатель, «сколь отвратителен этот характер».

Не находя еще достаточной свою критику «Короля Лира», Толстой берет ту драму неизвестного автора «King Lear», которой воспользовался Шекспир для своей «переделки» и находит, что эта драма куда выше ее шекспировской «редакции». Пусть читатель прочтет сам, если захочет, эту просто-вато-сентиментальную историю с ее «счастливым» концом: примирением Лира с дочерью. Толстой отмечает, что никто в конце этой пьесы не умирает, ни Лир, ни Корделия. И этот конец, говорит Толстой, «куда более соответствует нравственному требованию зрителя». Мы видим, что здесь Толстой вносит в свою критику уже не эстетический, а нравственный критерий. И мы знаем, что автор статьи «Что такое искусство» считает подобное смешение вполне допустимым.

Кроме подробного разбора «Короля Лира», Толстой в своей статье касается также «Отелло» и «Гамлета». По поводу Отелло Толстой находит, что «лицо Отелло, по сравнению с итальянской новеллой, из которой взят этот сюжет, все-же остается характером». Однако, отдельные сцены, в особенности, сцена с речью Отелло перед самоубийством, не оценены и «не приняты» Толстым. Толстой говорит, что речь Отелло перед самоубийством психологически неверна. Однако, если у Левина (в «Анне Карениной») стремление покончить с собой наталкивается на его инстинкт самосохранения (до того доходящий, что он прячет от самого себя ружье), то венецианский военачальник, мужественный Отелло выносит себе приговор и

не колеблется в его выполнении, только просит, чтобы Сенату Венеции было правдиво рассказано о его преступлении (убийстве Дездемоны) и о том, как он это преступление искупает.

Характер Гамлета, наиболее сложный из выведенных Шекспиром героев его трагедий, тоже совершенно «не принят» Толстым. Толстой находит, что у Гамлета вообще нет характера. «Герой отличается отсутствием характера». Его колебания, его душевная драма проходят мимо Толстого. Речи Гамлета кажутся Толстому совершенно неуместными; это «размышления самого Шекспира, вложенные в уста героя пьесы». К тому же Толстой говорит, что Гамлет то любит, то дразнит Офелию.

Мы полагаем, что оценить Шекспира Толстому мешали, главным образом, две причины. Прежде всего Толстому не нравился самый язык Шекспира, который он находил «вычурным». Верно, что язык Толстого во всех его произведениях, — полная противоположность языку Шекспира. Язык Толстого — совершенная простота и «естественность». Язык же Шекспира — роскошен, богат, изобилует метафорами. И это Толстого явно отталкивало. Кроме того всем героям произведений Толстого — как русским — были чужды лирические излияния на итальянский или французский манер. Сдержанность, почти стыдливость — вот отличительные черты выражения русских чувств. Поэтому никаких лирических «эффектов» у Толстого мы и не найдем, а они раздражали Толстого в Шекспире.

Что-же, в конце концов, остается, по Толстому, у Шекспира, у этого совсем «дурного писателя»? Шекспир умеет вести сцены, действие, умеет изображать движение чувств. В этом снисходительном допущении Толстого невольно вскрывается несостоятельность его упрека, что «Шекспир не умел изображать характеры», ибо ведь движениями чувств и определяются характеры.

С другой стороны, против какого из упреков Толстого Шекспиру трудно возразить? Пожалуй, против эвфуизма, т. е. высокопарности и многоречивости его героев, которой Шекспир был подвержен наравне с другими писателями его эпохи. Однако, эвфуизм — был больше одеянием шекспировских героев, да и то — не всегдашним. Но верно, что в наше время редко можно давать шекспировские пьесы без купюр, хотя и в этой форме велико бывает впечатление, ими производимое.

Отвергнув эстетические достоинства пьес Шекспира, Толстой, как известно, критиковал их и с этической точки зрения. В этом случае Толстой шел за критикой Шекспира немецким критиком Гервинусом, поверхностно, хотя и очень «аккуратно», исследовавшим Шекспира. Что-же говорит этот критик? По Гервинусу (цитирую по Толстому): «Шекспир считает хорошим, должным для человека, чтобы он действовал». «Не нужно ставить себе идеалы, а нужна только во всем здоровая деятельность и золотая середина». «Стремление к признанию равенства людей — безумие». Иначе говоря, перефразирует Толстой Гервинуса, убийцу, но одновременно, человека «деятельного» (Макбета, напр.), Шекспир предпочитает человеку нравственному, мудрому, но не энергичному. Но Толстой, конечно, не так уж слепо следует за Гервинусом. У него есть и собственное мнение о «моральных взглядах» Шекспира, основанное на взглядах на искусство вообще, изложенных Толстым в статье «Что такое искусство». Говоря о драме Толстой пишет больше о том, какой она не должна быть, а не о том, какой она быть должна. «Она не должна быть поучением, не должна заключать в себе аллегорий, но должна выражать «определенное мировоззрение» (религиозное), которое бессознательно для автора проникает все его произведение». Если подходить с этим критерием к произведениям Шекспира, то, конечно, они такой критики не выдерживают, но такой критики не выдерживает очень многое в литературе.

Однако, если Толстой в своей критической статье не смог убедительно для нас, читателей, «развенчать» Шекспира, то, как художник слова, он смог занять в мировой литературе место, равное тому, которое, по праву, занимает Шекспир.

*В. Гавронский*

## ВОТ И ДЕНЬ ПРОШЕЛ, КАК МГНОВЕНИЕ...

Вот и день прошел, как мгновение,  
Ничего не случилось во вне,  
Только горечь и сожаление,  
Да мечта о завтрашнем дне.  
Этот день мой не был отмечен  
Ничем. Он висел надо мной.  
Он был торжественно вечен,  
Прозрачный, ясный, пустой.  
Но когда умирать придется,  
То пройдет предо мною, как тень  
Не любовь (о, как сердце забьется!)  
Но этот безвестный день,  
Безымянный... О, какая нежность  
К этим тихим будничным дням!  
Это в них обрел я вечность...  
Жизнь, как мед, прошла по усам,  
Как состарился — не заметил сам.

---

Георгий Сергеевич Евангулов, поэт и прозаик, скончался в 1967 году в Гамбурге, в Германии, после тяжелой болезни. Незадолго перед смертью он прислал нам эти два стихотворения. РЕД.

## КОГДА УМРУ...

Когда умру, и перед отпеваньем  
Псаломщики, не торопясь, придут,  
И став у изголовья с завываньем  
Псалмы поочередно заведут,

То им, непонимающим ни слова  
На языке умерших, я скажу:  
Вам хорошо сменять один другого,  
Пока в гробу недвижим я лежу...

Но если бы кому-нибудь из вас  
Пришла бы мысль счастливая — о Боже!  
Меня сменить хоть на единый час,  
Лечь за меня на час на это ложе,

Я вышел бы тихонечко за дверь,  
И никого не испугав, — поверьте, —  
Так жадно надышался бы теперь,  
Как не надышешься и перед смертью!

*Георгий Евангулов*

# С. В. РАХМАНИНОВ

## К 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ

Двадцать пять лет тому назад, 28 марта 1943 года, скончался Сергей Васильевич Рахманинов. Мне хочется отметить эту грустную годовщину небольшой статьей о нем.

Я знала Рахманинова с детства, увидев его впервые 14-ти летним учеником Консерватории и воспитанником профессора Н. С. Зверева. Два года спустя он был вынужден покинуть дом Зверева и переехать к нам, в нашу семью. Моя мать была сестрой его отца, Василия Аркадьевича Рахманинова.

Это был уже третий крутой перелом в жизни 16-ти летнего юноши. Первый произошел в детстве, когда мальчику было 7-8 лет. Северная русская природа, деревенское раздолье, где то на Волхове близ древнего Новгорода, большой дом, семья, добрый балующий отец, любящая, но строгая мать и больше всего и ярче всего старая бабушка, заступница и защитница всех проказ и шалостей, милая, ласковая — вот первые детские впечатления Рахманинова. Здесь, в Онеге, в одном из имений матери провел он с братьями и сестрами свое счастливое, раннее детство, не зная ни нужды, ни забот.

Простая помещичья жизнь в деревне, среди лесов, озер и цветущих лугов, имела несомненно глубокое влияние на растущего мальчика. С какой любовью, как часто вспоминал Рахманинов много лет спустя Волхов с его живописными окрестностями, заливные луга, покосы, в особенности какой-то запах, в котором были смешаны запахи травы, воды и дым рыбацких костров.

---

Эта статья о С. В. Рахманинове написана его двоюродной сестрой Софьей Александровной Сатиной. Отрывок С. В. Рахманинова «Ивановка» печатается впервые. С. А. Сатина — автор книги «Образование женщин в дореволюционной России», вышедшей по-русски и по-английски. РЕД.

Copyright by I. S. Wolkonsky, 1968.

Но широкий образ жизни его отца, очень доброго, но весьма легкомысленного, его неопытность в делах и неумение вести хозяйство, перешедшее к нему после смерти тестя, разорили семью. Рахманиновы, жившие безвыездно с пятью детьми в деревне, должны были продать имения, отпустить всех служащих и переехать в Петербург. Вместо привольной свободной жизни в большом благоустроенном доме семье пришлось поселиться в нанятой наспех тесной и неудобной квартире, в душном и шумном городе. Дети почувствовали себя там совсем потерянными. Теснота повела к тому, что один из мальчиков должен был даже на время переехать в совершенно незнакомую ему семью своей тети, М. А. Трубниковой, младшей сестры его отца. Выбор пал на Сережу. По словам ее, он был очень самостоятельным, мрачно молчал и, отклоняя всякую предлагаемую ему помощь, произносил почти шопотом только одно слово — «сам». Его так и прозвали тогда в шутку «Сам».

Когда старшая дочь, Елена, была помещена в пансион, а старший сын, Володя, был принят в один из кадетских корпусов Петербурга, Сережа вернулся домой. Благодаря его выдающимся музыкальным способностям и хлопотам его бывшей учительницы музыки, А. Орнатской, он получил стипендию и 9-ти лет поступил в Консерваторию.

Невзгоды преследовали семью. На второй или третий год их пребывания в Петербурге трое детей заболели дифтеритом. Мальчики, Володя и Сережа, выздоровели, а сестра Соня умерла. Два года спустя неожиданно скончалась и Елена. К 16-ти годам у нее развился великолепный голос. Пение этой красивой, умной и талантливой девушки покоряло всех слушателей. Ей предсказывали блестящую карьеру и она была принята уже в труппу Большого театра в Москве. Наибольшее впечатление производило ее пение романсов Чайковского. Обычно она акомпанировала себе сама, но иногда, чтобы доставить удовольствие Сереже, звала его на помощь. Как он любил это, как гордился своей ролью акомпаниатора «самой Леле».

Первый год или полтора ученые Сережи в Консерватории шло хорошо. Но начавшиеся после переезда в Петербург нелады между родителями не прекращались. Они часто ссорились, на время мирились, и в конце концов, между ними произошел полный разрыв. По взаимному соглашению, они решили расстаться и отец был вынужден покинуть навсегда семью, оставив детей на попечение матери. Мать, Любовь Петровна

Рахманинова, тяжело переживавшая этот разрыв, тратила последние силы на уход и присмотр за младшим сыном — Аркадием. Она не обращала достаточно внимания на Сережу и он оставался без нужного надзора. Воспользовавшись этой преждевременной свободой он начал ходить в Консерваторию только на уроки музыки и постепенно перестал посещать общеобразовательные классы. Вместо уроков и учения он предпочитал бесцельно гулять по городу, кататься на коньках. Одним из его любимых развлечений была довольно рискованная игра на городских конках. Он с разбега на быстром ходу конки вскакивал на подножку вагона и соскакивал с нее. На третий год пребывания в Консерватории, провалившись на экзаменах по всем общеобразовательным предметам, Сережа был лишен стипендии.

Растерявшаяся мать не знала что делать. Она не могла уже справиться с 12-летним сыном. Он никого не слушался и совсем отбился от рук. Не имея средств, чтобы платить за его учение в Консерватории, сознавая и боясь, что его выдающийся музыкальный талант может погибнуть, она решила последовать совету двоюродного брата Сережи, молодого пианиста А. И. Зилоти, случайно приехавшего в это время в Петербург. А совет Зилоти, прослушавшего игру Сережи и жалобы его матери на его поведение, заключался в том, что мальчика надо перевести в Московскую Консерваторию и отдать в руки Н. С. Зверева.

Н. С. Зверев был преподавателем в младших классах Консерватории. Он брал к себе в дом двух-трех талантливых учеников, учил, воспитывал, кормил и одевал их совершенно бесплатно, но с условием, что воспитанники его не будут во время каникул возвращаться к родителям без его разрешения. Зилоти, который сам был когда-то одним из таких воспитанников и учеников Зверева, был уверен, что последний быстро справится с талантливым, но разленившимся, шаловливым и непослушным мальчиком. Зилоти брался устроить это дело. И действительно, вернувшись в Москву и переговорив со Зверевым, он уведомил Любовь Петровну, что Зверев согласился принять к себе Сережу и что он ждет его к себе в начале сентября. Таким образом, весной 1885 года судьба Сережи была решена.

До отъезда его в Москву оставалось еще около трех месяцев. Со времени переезда семьи Рахманиновых из деревни в Петербург Сережа проводил каждое лето у своей любимой ба-

бушки С. А. Бутаковой. И это лето 1885 г. она ждала его к себе «в Борисово», небольшое имение под Новгородом, куда Сережа рвался всей душой. Там — любовь и заботы окружавшие его, свобода и безнаказанность. Как он любил это Борисово! Судьба оберегала его. Если он рисковал сломать свои руки, развлекаясь зимой своеобразным спортом на коньках в Петербурге, то еще рискованнее были его поездки по Волхову на лодке, прозванной рыбаками «душегубкой». В этой лодке мог поместиться только один человек. Управлялась она одним веслом, грести на ней было неустойчиво, но при малейшем неосторожном движении лодка опрокидывалась. Но как раз это и было самым интересным моментом для Сережи. К счастью, ему всегда удавалось благополучно добраться до берега вплавь. В результате подобных упражнений в нем развилась ловкость, находчивость и смелость. Водный спорт навсегда остался одним из любимых его увлечений.

Обязанности его у бабушки были очень ограничены: только изредка, когда к бабушке приходили гости, его принуждали поиграть гостям. Он большей частью импровизировал, выдавая эти импровизации за сочинения известных композиторов. Незыскательные гости не разбирались в этом. Другой его обязанностью было посещение церквей и монастырей Новгорода, куда он, правя лошадью, возил свою бабушку. Посещая с ней службы, он с детства полюбил хоровое пение в церкви. Древние строгие церковные распевы и переливчатые звоны великолепных новгородских колоколов оказали на будущего композитора большое влияние. Колокольные звоны влекли к себе всю последующую жизнь Рахманинова и, как известно, слышны они потом в целом ряде его произведений.

Бабушка понимала, что переезд ее внука будет ему на пользу. Как ни горько ей было расставаться с ним, она примирилась с мыслью о разлуке. Перед отъездом они съездили в один из любимых ее монастырей, отслужили молебен и она отвезла его на станцию. Жизнь с бабушкой прервалась навсегда.

Переезд в Москву к Звереву был вторым резким переломом в жизни 12-ти летнего Сережи. Перелом тяжелый, который не мог не подействовать на впечатлительного мальчика. Жизнь у Зверева оказала сильное и благотворное влияние на его характер, поведение и развитие и способствовало росту, а может быть, и спасению его таланта.

Что же ждало Сережу, когда он приехал к грозному и по-

рою деспотичному Звереву? Прежде всего вместо полной свободы — строжайшая дисциплина и взыскания за непослушание. Кроме него, у Зверева жили еще два ученика-воспитанника, ровесники Сережи. За поведением мальчиков, за приготовлением ими уроков, пока они учились в общеобразовательных классах Консерватории, и за их игрой на рояле следила пожилая сестра Зверева. О всяком нарушении установленных в доме правил она сообщала брату. Для каждого воспитанника было составлено расписание. Каждый знал свои часы работы и отдыха. Два раза в неделю каждый из них должен был начинать свои упражнения на рояле в 6 часов утра, как бы поздно он ни лег спать накануне, вернувшись с концерта или из театра. Зверев присутствовал на всех экзаменах своих воспитанников в общеобразовательных классах, а в течение года неоднократно проверял у учителей этих классов поведение и успехи своих воспитанников.

Дома у него была большая библиотека и он всячески поощрял интерес и любовь воспитанников к чтению, расспрашивал их о прочитанном, обсуждал разные возникавшие в разговоре вопросы. Он не подавлял их индивидуальности, в спорах поощрял находчивость, остроумие и очень жестоко высмеивал хвастовство. Уверток и лжи он совершенно не переносил.

По воскресеньям к обеду у Зверева обычно собирались гости. Кроме друзей-музыкантов, приходили профессора Университета, известные адвокаты, художники, актеры. Кого только за годы пребывания у Зверева не видели и не слышали его воспитанники. По требованию Зверева, они всегда присутствовали на этих обедах. Нередко, желая похвастаться успехами своих учеников, он заставлял одного из них сыграть гостям какую-нибудь вещь.

Много делал Зверев и для развития их музыкального вкуса и общего развития. По его приглашению, два раза в неделю приходила пианистка и играла с ними на двух роялях в 8 рук. Они проигрывали с ней симфонии всех классиков. Воспитанники учились также танцам с ученицами Зверева в доме родителей одной из них. Он обращал много внимания на манеры мальчиков, на то как они держат себя в обществе, как едят, здороваются, кланяются. Кроме того, он возил их на все премьеры Малого театра, на спектакли и концерты, в которых выступали приезжавшие в Москву мировые знаменитости.

Зверев действительно не щадя средств готовил своих вос-

питанников к артистической деятельности и тратил на них много сил и энергии. Они это видели, ценили и искренно любили его.

Осенью 1889 года прошло четыре года со дня переезда Рахманинова в Москву к Звереву. За эти годы он сильно вырос и во многом переменялся. Из непослушного, шаловливого, ленивого мальчика он превратился в сдержанного, замкнутого и серьезного юношу. Как и остальные его два товарища он учился уже второй год на старшем отделении Консерватории у других профессоров. На старшем отделении Рахманинов успешно шел по двум специальностям — рояль и специальная теория. Последняя открывала дорогу к творческой деятельности. Зверев не противился, но и не очень сочувствовал этому. Он видел в Рахманинове только будущего большого пианиста. Но в Рахманинове уже с 14-ти лет пробудилось стремление к творчеству. Он начал понемногу сочинять. Влечение его к творчеству усиливалось и в 1889 году оно стало настолько сильным, что после долгих и мучительных колебаний 16-ти летний юноша решил попросить Зверева отвести ему к.-н. место, к.-н. угол в доме, где он мог бы уединиться, сосредоточиться для работы. Мирно начавшийся разговор неожиданно окончился бурной сценой и полным разрывом отношений, когда, внезапно рассердившийся на что-то сказанное его воспитанником, Зверев замахнулся на Рахманинова, а последний остановил его, твердо сказав, что он не смеет его бить. Перенести такое заявление от своего воспитанника Зверев не мог.

Рахманинов неоднократно, но тщетно, пытался поговорить со Зверевым, извиниться перед ним. Дома Зверев его к себе не допускал. При встречах на улице и в Консерватории он отворачивался от него и молча проходил мимо. Так продолжалось около месяца. Наконец Зверев попросил Зилоти собрать родственников Рахманинова, живущих в Москве; приказав Рахманинову следовать за ним, он пришел к собравшимся и сообщил им, что он не может больше заботиться о Рахманинове и, что последний должен выехать из его дома.

Вспоминая об этом разрыве со Зверевым, Рахманинов всегда считал себя виноватым в этой истории, говоря, что от волнения и смущения он, вероятно, не сумел толком объяснить своей просьбы человеку, которому он был так бесконечно обязан и которого он искренно любил и уважал.

Надо добавить, что примирение между ними все же состоя-

лось. В день окончания Рахманиновым Консерватории, в 1892 году, Зверев подошел к нему, обнял и поцеловал его и отстегнув от жилета свои золотые часы, отдал их Рахманинову. Часы эти Рахманинов бережно хранил всю жизнь.

Узнав от Зверева о трудном положении своего племянника, моя мать приняла в нем горячее участие. Переместив наскоро кое-что в нашей квартире и устроив ему отдельную комнату, она на другой же день после этого собрания родственников поехала за ним к Звереву. Но Рахманинова она там уже не нашла. Рано утром он покинул его дом, собрав свои вещи и не сказав никому куда и к кому он уехал. После долгих расспросов и поисков она нашла его у одного из его товарищей, приютившего его на время у себя в комнате, и убедила его переехать к нам.

Этот вынужденный уход от Зверева и переезд к родственникам, которых он почти не знал, был третьим переломом в жизни юного Рахманинова. Легко понять как мучительна была в течение последнего месяца его жизнь у Зверева и как страдало его самолюбие.

Его мать, узнав о разрыве со Зверевым, звала сына к себе, но он не хотел переходить из Московской Консерватории в Петербургскую, менять своих профессоров и бросать товарищей.

Рахманинов был принят нашей семьей очень радушно. Все взрослые в доме его искренно жалели. Наша старая няня и ее сестра с дочерью, служившие у нас, приняли живое участие в уходе за обиженным, по их мнению, молодым барином и оказывали ему особенно ласковое внимание. Наш старший брат Саша, который был его ровесником, да и мы, все младшие дети, быстро подружились с ним и полюбили его. Он скоро почувствовал себя полноправным членом нашей семьи, принимая деятельное участие в наших играх и забавах: зимой — катанье с ледяной горы, устроенной у нас на дворе, ранней весной увлекался, как и мы, младшие члены семьи, устройством «речной системы» в Европейской России, т.-е. проведением многочисленных мелких ручьев (притоков), впадающих в большие ручьи (реки) и моря тающего снега, а позже, когда подсыхала земля, участвовал в разных играх с мячом — лунки, лапта и пр. Если мяч попадал на крышу он был одним из первых, который доставал его с крыши.

В отведенную ему в нижнем этаже дома комнату не дости-

гал ни шум, ни наша игра на рояле, стоявшем наверху в зале. Сам он мог играть когда и сколько хотел, никому не мешая. Жизнь у нас была тихая, семья дружная. В течение дня все были заняты, каждый своим делом, а вечером, приготовив уроки, все собирались в общую комнату и проводили время вместе. Рахманинов, уехав от Зверева, лишился интересных встреч с выдающимися музыкантами, профессорами и другими представителями русской интеллигенции, лишился посещения спектаклей знаменитых актеров, но взамен этого он приобрел спокойную семейную жизнь, внимание и ласковую заботу о нем, т.-е. все то, что он потерял так рано и чего ему так не хватало.

Характер человека складывается преимущественно в его детстве и юности. Все пережитое в эти годы Рахманиновым несомненно отложило отпечаток, отразилось на его характере. Этим можно объяснить его так сильно развившуюся впечатлительность от происходивших вокруг него событий. Он оставался внешне замкнутым, но без слов с его стороны чувствовалась его глубокая отзывчивость к чужому горю и нужде.

Отзывы о личности Рахманинова очень различны. На людей, встречавших его впервые или мало его знавших, он производил обычно впечатление необщительного, холодного, угрюмого, мрачного и даже неприступного, наводящего страх человека. Его друзья, его бывшие служащие, вообще люди часто встречавшие и хорошо знавшие Рахманинова, говорят и пишут о нем совсем другое. Они неуклонно отмечают его сердечность, чуткость, доброту, считают его верным и внимательным другом, отмечают его скромность и правдивость, его тонкий юмор, любовь к добродушной шутке и заразительный искренний смех. М. Добужинский, редактировавший в 1946 г. книгу «Памяти Рахманинова», пишет в своем послесловии, что «почти нет никого среди участников Сборника, кто бы не упомянул о смехе Рахманинова. Во избежание повторений пришлось эти места сократить». И действительно при всей своей сдержанности в разговоре, как умел С. В. посмеяться, пошутить, заметить во многом юмористическую сторону.

Мнение друзей об отзывчивости Рахманинова к чужому горю и нуждам людей не голословно. Оно подтверждается многочисленными, хранящимися в его архиве письмами, полученными от лиц, которым он помогал. Кто только не обращался к нему за помощью. Разные общества, союзы, учреждения, шко-

лы, писатели, художники, студенты, знакомые и незнакомые ему люди различного образования, различных профессий. Помощь его шла преимущественно в Европу, но он также много помогал русским людям, живущим в Америке и Китае. Кроме того С. В. давал ежегодно концерты, сбор с которых шел инвалидам, учащейся молодежи и т. д.

Громадное количество посылок было отправлено им по почте и через АРА голодающим в России. Кроме родных, друзей, бывших служащих Рахманинова, посылки с едой были переданы персоналу Московской Консерватории и всех Высших Учебных Заведений в Москве. Посылки шли также отдельным артистам, актерам Художественного и Малого театра, некоторым средним и низшим школам. Большая помощь была оказана и живущим в Петербурге, Киеве и Харькове. Полученные через АРА расписки получателей пакетов с едой почти всегда сопровождались трогательными словами благодарности за помощь, за память. Их до слез больно читать. Они все находятся в архиве Рахманинова, который бережно хранится в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне.

В его архиве имеется еще папка, озаглавленная им «Мои Дела». Его старшая дочь, шутя подделавши почерк отца, добавила к этому оглавлению слово — «неудачные». В этой папке лежали письма лиц, просивших у Рахманинова деньги взаймы для организации затеянных ими разных предприятий, которые по их расчету должны были принести им большие доходы. Большинство обязывалось вернуть деньги как только дело их пойдет на лад. Помнится, что только трем лицам удалось исполнить обещанное. «Дела», безусловно, были неудачные.

Отдыхая по вечерам от работы Рахманинов обычно раскладывал пасьянсы или развлекался т. н. jigsaw puzzle. Эти картины, наклеенные на тонкие доски или картон, выпиливались с большим мастерством его дорогой внучкой Софинькой Волконской. В приготовлении этой игры участвовал иногда и секретарь и друг Рахманинова — Е. И. Сомов. Две-три коробки с этой игрой, колода карт и книги всегда сопровождали С. В. во время его концертных поездок по Америке.

Живя летом в деревне, он увлекался игрой в теннис, диатло, любил работать в саду, где косил траву, копал землю и обпиливал сухие ветки. Унаследовав от отца любовь к лошадям,

он великолепно ездил верхом и нередко объезжал молодых лошадей, носивших его иногда по полям.

Позже Рахманинов увлекался управлением автомобилем, а живя в Швейцарии на озере около Люцерны и в Америке на берегу моря, он часами катался на своих моторных лодках.

Один из его друзей американцев, зная как он любит заводить у себя всякие новшества, часто совершенно ему ненужные, подарил ему как-то морские часы, которые отбивали каждые полчаса т. н. склянки. Рахманинов был в восторге. Повесив их в свою лодку он неоднократно ходил сам и водил своих гостей слушать их бой. Но катаясь по морю и слыша их звон, он почти всегда спрашивал: который же час они сейчас пробили?

Об артистах нередко приходится читать статьи, дающие неверные и часто ни на чем неоснованные сведения, попросту говоря небылицы. Хочу отметить здесь одну из таких небылиц. Автор ее музыкант, окончивший много лет тому назад Московскую Консерваторию. В своей статье о композиторе Прокофьеве он почему то утверждал, что Рахманинов никогда не читает книг. Это утверждение совершенно неверно. Еще подростком к знакомству с классиками его поощрял Н. С. Зверев. Но еще большее влияние на него относительно чтения, выбора книг и знакомства с русскими и иностранными писателями, поэтами, критиками оказал его двоюродный брат Саша Сатин. В деревне у Сатиных была большая и хорошая библиотека, основание которой было положено дедом молодых Сатиных, а в Москве Рахманинов пользовался большой и хорошо подобранной библиотекой Саши, которая им постоянно пополнялась. Прочитанное часто и горячо обсуждалось молодежью — Сашей и его товарищами гимназистами и студентами, посещавшими его. Рахманинов нередко с увлечением принимал участие в этих спорах.

В ранней молодости он особенно любил Пушкина, Лермонтова, Толстого и Достоевского, а из иностранных писателей его любимцами были Шекспир, Байрон, Шелли и Гейне. Разумеется, с годами увлечение его тем или иным писателем или поэтом менялось.

Дочь Рахманинова, кн. И. С. Волконская, говорит, что ее отец увлекшись какой-нибудь книгой с трудом от нее отрывался и нередко проводил ночи напролет за чтением. Ей кажется, что он ставил выше всех Толстого, но что душе его особенно близок был Чехов. Он был хорошо знаком с книгами по

истории, особенно русской истории, не раз перечитывал Ключевского, книги которого брал с собой нередко во время своих концертных поездок. Любил он также мемуарную и эпистолярную литературу и увлекался чтением книг, в которых были собраны речи знаменитых русских адвокатов. Что касается русских поэтов, то кроме Пушкина и Лермонтова, которые всегда оставались его любимыми поэтами, он увлекался стихотворениями Ахматовой, Блока, Бунина и в особенности Тютчева, выделяя и особенно ценя его *Silentium*. Чтение Рахманиновым стихотворений производило на его дочь, И. С., всегда сильное впечатление. По ее словам, он читал их как-то совсем особенно, очень тихим, проникновенным голосом, только слегка повышая его в особенно удачных и красивых, по его мнению, строфах. Он глубоко переживал все сказанное в этих стихах и часто по нескольку раз повторял одну и ту же строфу.

В России у Рахманинова была хорошая библиотека. За границей часть приобретаемых им книг хранилась в Нью Йорке, часть в Швейцарии на его даче Сенар. Возвращаясь из Европы после летнего отдыха в Америку, он всегда привозил с собой много новых книг, вышедших из печати во Франции или в Германии, а уезжая отсюда в Европу брал с собой книги купленные здесь, преимущественно напечатанные в России. Он с интересом следил за появлением молодых талантливых писателей, например, Булгакова, Катаева, Ильфа и Петрова и т. д. Последние годы его любимым чтением были различные Воспоминания, так или иначе относящиеся к России.

Как он любил Россию, как он до конца своей жизни тосковал по ней! Здесь уместно привести его собственные слова о русской деревне.

#### «ИВАНОВКА»\*

«В каждом русском есть тяга к земле, больше чем у какой-либо другой нации. У других, например, у американцев, я ее совсем не замечаю. Мне кажется она здесь отсутствует.

---

\* Это отрывок из статьи, продиктованной в 1931 г. Рахманиновым по-русски, она переводилась на английский и предназначалась для одного американского журналиста, которому С. В. обещал передать свои «Воспоминания о России». Журналист, получив часть материала, начал прибавлять к написанному Рахманиновым свои собственные сведения о России. Узнав об этом, Рахманинов отказался от дальнейшего с ним сотрудничества и прервал с ним сношения.

Когда я говорю про тягу к земле, не думайте, что в этом чувстве я подразумеваю любовь к стяжанию, т.-е о чувстве лучше всего выраженном в знаменитом рассказе Льва Толстого о лошади Холстомере, который рассказывает, что у людей есть потребность как можно больше вещей называть «моими». Нет, в мыслях русских людей о земле есть какое-то стремление к покою, к тишине, к любованию природой, среди которой он живет и отчасти стремление к замкнутости, к одиночеству. Мне кажется в каждом русском человеке есть что-то от отшельника. Не потому ли русские не способны к объединению. У некоторых это чувство тяги к земле соединено очевидно и с чувством собственности.

Если возьмете крестьян в России, которые составляют чуть ли не 90 процентов населения, то там помимо тяги к самой земле есть и тяга к собственности, обстоятельство которое на мой взгляд обрекает на полную неудачу решение правителей современной России привить коммунальное хозяйство. Кстати и Ключевский предсказал: «крестьянин надует царя, религию и социалистов».

Начал я говорить о тяге к земле, потому что и у меня она имеется. Жили русские люди так: крестьяне не покидали своей земли никогда. Если же снимались с места, то на новые земли в поисках счастья. Более состоятельные люди проводили на земле полгода, именно в летнее время, связанное с наиболее интенсивной работой на земле. Другую половину — в городах.

До 8 лет я жил в имениях, принадлежавших моей матери, но к 8 годам мои родители растеряли свое состояние, имения пропали, были проданы и я уезжал на лето в имение моего родственника Сатина. С 16 лет вплоть до момента, когда я покинул Россию (навсегда?), целых 28 лет я и жил там. С 1910 года это имение перешло в мои руки. Находилось оно около 300 миль к юго-востоку от Москвы, или ночь пути по железной дороге, и называлось оно Ивановкой. Туда я всегда стремился или на отдых и полный покой, или наоборот на усидчивую работу, которой окружающий покой благоприятствует. (Как умно, что у Вас в Вашей стране многие Университеты и Колледжи построенны вдали от городов). Я сказал, что туда, в Ивановку, я всегда стремился. Положа руку на сердце, должен сказать, что и ныне туда стремлюсь.....

Надо ли описывать Вам это имение? Никаких природных красот, к которым обыкновенно причисляют горы, пропасти,

моря — там не было. Имение это было степное, а степь это то же море, без конца и края, где вместо воды сплошные поля ржи, пшеницы, овса и т. д., от горизонта до горизонта. Часто хвалят морской воздух, но если бы Вы знали насколько лучше степной воздух с ароматом земли и всего растущего и цветущего (и не качает). Был в этом имении большой парк, насаженный руками, в мое время уже сорокалетний. Были большие фруктовые сады и большое озеро.

Последние годы моего пребывания там, когда имение перешло в мои руки, я очень увлекался ведением хозяйства».....

Рахманинов вообще любил все русское и живя в Европе и здесь в Америке не мог привыкнуть к иностранцам. За весьма малым исключением все его служащие были русские. По правде сказать, он терпел порядочное количество неудобств из-за этого. Поступавшие к нему шоферы не умели как следует управлять машиной, нередко, подавая автомобиль к подъезду, наезжали на тротуар, не знали дорог. Выучивались они управлению уже на службе. Кухарки нередко не умели готовить. Мало кто из служащих мог объясняться по-английски, а из-за этого, когда они отвечали по телефону американцам, нередко получались смешные, а иногда и неприятные недоразумения. И все это Рахманинов терпел, предпочитая иметь дело со своими русскими, чем с иностранцами.

Покинув Россию Рахманинов лишился столь необходимого ему общения с друзьями-музыкантами и чувствовал себя в этом отношении совершенно одиноким. В России они часто приходили к нему, еще чаще пожалуй он ходил к ним. Они обменивались впечатлениями о новых музыкальных произведениях, о новых артистах, приезжавших из-за границы. Наиболее близким друзьям он играл свои новые сочинения. Еще в России он сошелся с молодым Гофманом, игрой которого он так восхищался. Преклонялся он и перед талантом Фрица Крейсlera, виолончелиста Казальса и дирижера Никиша. Но больше всех он любил и выше всех ценил талант Шаляпина.

Первые годы жизни Шаляпина в Москве в конце прошлого века он очень часто приходил по вечерам к Рахманинову. Это были годы, когда Шаляпин создавал свои прославившиеся на весь мир роли Мельника в Русалке, князя Галицкого, Олоферна и т. д. Они репетировали и разучивали к. н. новые роли

Шаяпина, или просто часами проводили время, исполняя арии, романсы, песни. Весь наш дом тогда замирал, боясь нарушить их работу каким-нибудь шумом, и наслаждался их игрой и пением. По окончании их работы подавался самовар и за чаем Шаяпин занимал присутствующих своими рассказами и представлениями, над которыми Рахманинов смеялся до слез.

Дружба Рахманинова с Шаяпиным не нарушалась до конца жизни последнего, а когда он скончался Рахманинов послал в редакцию «Последних Новостей» следующее письмо:

«Умер только тот, кто позабыт». Такую надпись я прочел когда-то, где-то на кладбище. Если мысль верна, то Шаяпин никогда не умрет. Умереть не может. Ибо он, этот чудо-артист, с истинно сказочным дарованием, незабываем. 41 год назад, с самого почти начала его карьеры, свидетелем которой я был, он быстро вознесся на пьедестал, с которого не сходил, не оступился до последних дней своих. В преклонении перед его талантом сходились все: и обыкновенные люди, и выдающиеся, и большие. В высказанных ими мнениях все те же слова, всегда и везде: необычайный, удивительный. И слух о нем пошел по всей земле не только Руси великой. Не есть ли Шаяпин и в этом смысле единственный артист, признание которого с самых молодых лет его было общим? «Общим» в полном значении этого слова. Да! Шаяпин — богатырь. Так было. Для будущих поколений он будет легендой».

Заканчивая этот очерк я приведу еще раз слова самого Рахманинова. В декабре 1932 г. один американец, г. Вальтер Коонс, обратился ко многим музыкантам с просьбой определить «Что такое Музыка». Ответ, полученный им от Рахманинова, был, конечно, написан на английском языке, но в архиве Рахманинова сохранился набросок, написанный его рукой.

«Что такое музыка?!

Это тихая лунная ночь;

Это шелест живых листьев;

Это отдаленный вечерний звон;

Это то, что родится от сердца и идет к сердцу;

Это любовь!

Сестра музыки это поэзия, а мать ее грусть!»

С. Сатина

## ИЗДАЛЕКА

Это будет простое, туманное утро в Китае.  
Прокричат петухи. Загрохочет далекий трамвай.  
Как вчера и как завтра. Но птица отстанет от стаи,  
Чтоб уже никогда не увидеть летящих стай.

Босоное солнце, зачем то вскочившее рано,  
Побежит на неряшливый берег и на острова,  
И откинута прочь длинноносые девы тумана,  
Над рекою брезгливо подняв свои рукава.

Ты проснешься и встанешь. И, моясь холодной водою,  
Недосмотренный сон отряхнешь с полусонных ресниц.  
И пойдешь переулком, не видя, что над головою  
Распласталась прилетная стая усталых птиц.

Это сердце мое возвращается к милым пределам,  
Чтобы там умереть, где так жадно любило оно,  
Где умело оно быть свободным и чистым, и смелым,  
Где пылало оно... И сгорело давным-давно.

Но живет и сгоревшее — в серой золе или пепле.  
Так я жил эти годы, не вспыхивая, не дыша.  
Я, должно быть, оглох, и глаза мои рано ослепли,  
Или это оглохла, ослепла моя душа?

Ты пойдешь переулками до кривобокого моста,  
Где мы часто прощались до завтра. Навеки прощай,  
Невозвратное счастье! Я знаю спокойно и просто:  
В день, когда я умру, непременно вернусь в Китай.

## ЭПИГОНЫ

Была земля прекрасней и моложе,  
Невинней был и проще человек,  
Который засыпал на жестком ложе  
Невдалеке от первозданных рек.

Мир от него свои не прятал краски,  
Его не искушала крутизна,  
Чудесные рассказывала сказки  
Ему большая, близкая луна.

Смирялись молнии, смолкали громы,  
Когда поэт, похожий на царя,  
За вдохновеньем шел тропой знакомой,  
С природою, как равный, говоря.

Как он велик, тот первый, светлолицый,  
Который радугу назвал мостом,  
Закатом — смерть, большое счастье — птицей,  
Огнем — любовь, и женщину — цветком!

Теперь иначе. Солнце жизни гаснет.  
И мы, поэты сумерек и зим,  
Не веря в сказки, сочиняем басни,  
Не видя звезд, о хлебе говорим.

Единый голос нам уже неслышим,  
Единый лик дробится в зеркалах.  
Мы не творим, но равнодушно пишем  
Стихи о книгах, книги о стихах.

*Валерий Перелешин*

# САМОУБИЙСТВА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ФАДЕЕВ, ТАБИДЗЕ, ОВЕЧКИН

В 1925 году в Ленинграде повесился Сергей Есенин. Позже в Москве застрелился Владимир Маяковский. В разгар Сталинского террора, замечательный грузинский поэт Паоло Яшвили, поставленный Лаврентием Берия перед выбором, либо предать самого себя, либо быть арестованным и замученным в НКВД, заложил дула охотничьего ружья в рот и нажал на спуск. Во время прошлой войны чудесная Марина Цветаева, вернувшаяся из эмиграции в Россию, в Елабуге, покончила с жизнью — повесилась.

Но если трагические смерти Есенина, Маяковского, Яшвили и Цветаевой уже до известной степени “изучены” и это уже в какой-то мере “прошлое”, то много ли было сказано, как в СССР, так и на Западе, о самоубийствах таких советских писателей, я подчеркиваю это, *советских* писателей, как Александр Фадеев, Галактион Табидзе и Валентин Овечкин? Я думаю, что самоубийства Фадеева, Табидзе и Овечкина обнаружили все тот же конфликт между личностью и государством, между писателем и властью, присвокупив к нему специфический конфликт между писателем-коммунистом и самой коммунистической партией, так как и Фадеев и Овечкин были многолетними и достаточно ортодоксальными членами КПСС.

Именно потому, что об этих трех самоубийствах почти ничего не написано, потому, что мало исследованы обстоятельства при которых они были совершены, я и попробую, как могу, опираясь на то, что мне, как московскому литератору, было известно, “обжить” эти белые пятна в истории моей страны.

Прежде всего я должен оговориться. Валентин Овечкин покушался на самоубийство и стрелял в себя. Но врачи спасли его и он выжил. Он скончался в нынешнем году в Ташкенте. Смерть его была физиологически естественной. Поэтому его лучше на-

звать полу-самоубийцей, хотя для общей темы — о причинах самоубийств советских писателей — это существенной роли не играет.

Начнем с Александра Фадеева.



Кто в Советской стране не знал Александра Фадеева, автора “Разгрома”, “Последнего из удеге”, “Молодой гвардии”? Мы, в наших писательских кругах, всегда называли его *маршалом*. И конечно же он был в Советской литературе маршалом. Многолетний “Генсек” Президиума Союза Советских Писателей, многолетний кандидат и член ЦК ВКП(б) и ЦК КПСС, многолетний депутат Верховного Совета СССР, член бюро Всемирного Совета мира, член Президиума Советского комитета защиты мира, дважды кавалер ордена Ленина, лауреат Сталинских премий, председатель Комитета по присуждению Сталинских премий, личный советник Сталина, его любимец... Куда же больше?

Думая о Фадееве, я сразу вспоминаю школьную скамью “трудоулой семилетки” с хрестоматией по литературе, в которой на первом месте стояли: “Железный поток” Серафимовича, “Чапаев” Фурманова и “Разгром” Фадеева. Передо мной и сейчас поднимается образ нестигаемого большевика Левинсона с маузером в деревянной кабуре. Я вижу и хлюпика Мечника. С юношеским жаром я увлекался этой захватывающей, талантливо описанной историей борьбы красных партизан на Дальнем Востоке.

Думая о Фадееве, я вспоминаю мою первую встречу с ним, в кабинете генсека, на улице Воровского около тридцати лет тому назад. Тогда я приехал из Тбилиси в Москву и поступил в Литературный институт Союза Советских писателей. У меня было рекомендательное письмо к Фадееву от старейшего грузинского драматурга, в прошлом светлейшего князя, Шалвы Дадияни. Это было летом. Фадеев сидел за столом весь в белом, белые брюки, украинка, парусиновые туфли, с седыми мягкими волосами, лицо его было красновато-бурым от загара, глаза весело блестели, кажется он был “на-взводе”. Когда он говорил на шее у него вздувались жилы, а голос звучал как-то странно, даже смешно, точно он говорил в полу-пустом зале, с натугой при этом. Фадеев был прост в обращении, доброжелателен и, я бы сказал, подчеркнуто демократичен, хотя на столе у него стояла “крем-

левка” или как еще говорят, “подкожный” телефон (у него такой аппарат был и на даче в Переделкино), во дворе дождалась машина с правительственной сиреной-“кукушкой”, а в приемной — уйма терпеливо высиживавших просителей, как в приемной у какого-нибудь крупного наркома. (Разглядывая обтянутые кожей двери, ковры, портреты Ленина и Сталина на стене, торопливых и сосредоточенных секретарей и референтов, я тогда быть может впервые подумал: “Дела литературные в СССР — дела государственные”).

Потом я встречал Фадеева на собраниях в ССП и в Клубе Литератора. Выступал он красиво, “с огоньком”, себя не жалел, вкладывал в слова, так сказать, душу. Но его позиция в литературе никогда не отличалась оригинальностью. Трезвый Фадеев был откровенным апологетом того, что, с легкой руки Максима Горького, называли “социалистическим реализмом”. Как-то драматург Владимир Соловьев, на одном из совещаний, встал и сказал, просто, ясно и так верно:

— Вот тут призывают нас создавать образы наших великих современников: сталеваров, кузнецов, секретарей райкомов, дворников, милиционеров и пр. А я не знаю что это такое. Я знаю что такое страсти: любовь, страх, ревность...

Фадеев перебил Соловьева, вскочил и дал ему “изнижтожающую” отповедь, заявив, что мол черт с ним с Соловьевым, он и так де сидит в “яме”, но вот его слушают молодые (он имел в виду нас-студентов Литинститута), и это мол уже опасно.

Я встречал Фадеева и в начале войны в Казани, когда он приехал с фронта в военной форме с наганом на боку и с двумя ромбами в петлицах — чин бригадного комиссара. Мне вспоминается как в огромной зале Дома Промышленности, разделенном чемаданами, тряпками и фанерными щитами, расположились семьями “маститые” представители Советской литературы, эвакуировавшиеся из Москвы. Это было что-то вроде цыганского табора. “Великие” бегали за кипяточком, как на узловой станции железной дороги, стояли в очереди за кулечками с сахаром и манной кашей, шепотом обсуждали сводки Совинформбюро. И даже здесь “враждующие” не смотрели друг на друга. Когда вошел Фадеев — как бы блеснул луч солнца. Со всех сторон раздалось:

“Саха!.. Александр!.. Сан Саныч... Фадеев... Товарищ Фадеев!..”

Мне довелось присутствовать на праздновании пятидесятилетия Фадеева в 1951 году, в зале имени Чайковского в Москве. Тогда Александр Александрович, в темном костюме, как знаменитый артист в день своего бенефиса, взойдя на концертную сцену, произнес знаменитую речь, в которой вдохновенно почти свято *покаялся* быть верным товарищу Сталину до “последнего вздоха”, отождествляя, конечно, имя Сталина с идеей коммунизма.

Фадеев клялся в верности Сталину, и тогда, сидя в зале, я был уверен, что его клятва — *правда*. Парадоксально, что я тогда был уверен в этом, хотя и знал уже тогда, что в пьяном виде из ресторана “Арагви” тот же Фадеев звонил на дом Борису Пастернаку и говорил:

— Борянька, ты у нас один, единственный, кто не врёт...

Несколько лет спустя жена Пастернака, Зинаида Николаевна, рассказала мне несколько эпизодов, которые, несмотря на их как бы бытовой характер, по-моему, выходят за пределы житейской суеты.

В начале войны умер сын Зинаиды Николаевны от первого брака, Адик. Борис Леонидович обратился к Фадееву, чтобы тот помог ему получить разрешение на похороны Адика в саду дачи, которую арендовал Пастернак в Переделкино. (Такова была последняя воля Адика). Фадеев сделал это, хотя это и было вопреки советским законам. Больше того, перед возвращением Пастернака из эвакуации, Фадеев приказал высадить у него в саду яблоневые деревья, и когда Борис Леонидович приехал, он сказал ему:

— Боря, тебя ждут тяжелые времена.

Фадеев часто навещал Пастернаков, он приносил с собой заветную бутылочку, просил Зинаиду Николаевну испечь картошки и, выпив, начинал говорить такое, что Борис Леонидович на следующее утро посылал с домработницей на дачу Фадеева записку: “Ты у нас не был и ничего не говорил”.

Но вот совсем другое:

Во время музыкального конкурса, кажется, имени Шопена, сына Зинаиды Николаевны, пианиста Станислава Нейгауза власти не пустили в Варшаву. (Даже в Варшаву!) Зинаида Николаевна побежала за содействием к Фадееву. Тот был трезв и сказал ей:

— Нас, Зина, перед тем как выпускать зарубеж основательно “объяхивают”. И делают правильно...

— Но ведь ты же знаешь Стасика, — ответила Зинаида Николаевна, — ведь он рос на твоих глазах.

Фадеев возразил и притом с каким-то странным злорадством:

— Э-э-э, не скажи. Стасика воспитывал Боря.

Зинаида Николаевна вспыхнула и бросив: “Поздравляю тебя с этим открытием!”, ушла и долго после этого не разговаривала с Фадеевым.

Между прочим, до сих пор никто не знает почему Сталин не арестовывал Пастернака? Ведь почти все вокруг Пастернака были скомпрометированы, а Пастернак остался тогда цел. Высказывалось одно время мнение, что Бориса Леонидовича спас Фадеев, который в глубине души любил его и якобы сумел “отстоять” его в разговоре со Сталиным.

Поверить в это трудно, но мнение такое высказывалось.

*Спрашивается:* что же происходило с Фадеевым, верил ли он действительно в Сталина, или это были многоярусные внутренние приспособления, верил ли он в коммунизм, или тут была замешана новоявленная советская смердяковщина, был ли Фадеев активным борцом за “социалистическое общество”, или он спасался сам за тенью Сталина? Справедливо ли приписывать Фадееву слова: “Лучше ложь, чем ничего”?

Верил или не верил? Трудно и сложно говорить о подобных размежеваниях, когда речь идет о советском человеке, даже таком, как Фадеев. Когда я жил в СССР я не мог ответить на этот вопрос по той простой причине, что я не мог честно и откровенно ответить на свой собственный вопрос: “А верю ли я Сталину?”. И такой вопрос стоял почти перед каждым маломальски думающим творческим человеком, в том или ином виде.

Мог ли Фадеев верить в Сталина, если тот вынуждал его визировать ордера на аресты друзей и товарищей Фадеева, литераторов? (А Фадеев, известно, завизировал аресты 20 писателей только из одного поселка Переделькино, в том числе и арест Спасского). Мог ли писатель Фадеев верить Сталину, если тот заставил его *переписать* роман “Молодая Гвардия”, посчитав, что автор недостаточно “осветил” в нем организаторскую роль коммунистической партии и слишком подчеркнул стихийное начало в период отступления Красной армии. А ведь посвященные этому главе романа и были лучшими.

Фадеев *пил*, пил много, часто, запой длились порой по две-три недели, до очередного вызова Сталина, когда врачи приво-

дили его в порядок, усаживали в машину с правительственной “кукушкой” и отправляли в Москву. Фадеев пил и это, конечно, помогало ему ладить с самим собой, это и было ответом на все трагические вопросы, это как-то мирило совесть с террором, талант с партийной директивой, пролетарское прошлое с кремлевскими пайками и так далее. И все же мне кажется, что до смерти Сталина в трагедии Фадеева доминантой была пусть даже фальсифицированная, пусть даже циничная, но вера в Сталина и в идею, так как Фадеев по натуре своей не походил на приспособленца, конъюнктурщика и временщика в *чистом виде*. Я бы сказал, что Советская власть была его властью, а Сталинский режим был его режимом, где-то в главном, в основном. И, наконец, существовала спасительная русская поговорка: “Лес рубят, щепки летят”. Без жертв, внешних и внутренних, общество не переустроишь, если такая задача поставлена. Значит надо идти на эти жертвы, значит надо было прежде всего ломать и калечить самого себя и очень часто, во имя высоких лозунгов, черное выдавать за белое.

Однако после смерти Сталина и, особенно, после разоблачительного доклада Никиты Хрущева на 20-м съезде КПСС, в жизни Фадеева наступил последний этап, когда доминанта веры в Сталина, в идею, уступила место доминанте *трезвой* оценки действительности и, главное *своего* места и своей *роли* в ней.

Оказалось, что лес рубили варварским способом, преступно...

И вот человек, который написал в финале “Разгрома”: “Нужно было жить и исполнять свои обязанности”, 13-го мая 1956 года выстрелил из револьвера себе в сердце.

Жизнь и обязанности кончились. Это было, вероятно, логично. Но было ли это неизбежно? Разве Фадеев, как многие другие, не мог найти для себя оправдание и свалить все шипки на усаца? Разве он не мог усыпить свою совесть, наконец, просто обмануть самого себя, как делали многие?

Мог. Но не сделал этого. Не сделал, ибо в нем, по-моему, было не только писательское, но и гражданское дарование, он был все же *человеком*, или лучше сказать, в нем сохранилось что-то, какая-то частица от человека, так как он не был духовным трусом, так как он был готов платить за прошлое.

Утаить факт самоубийства литературного маршала было невозможно, хотя такие вещи и практиковались. У нас в совет-

ской прессе ведь до сих пор существует универсальное слово: “скончался”. А как скончался, от чего скончался, при каких обстоятельствах скончался, да естественной ли смертью, это советским гражданам знать не обязательно. (Так, между прочим, произошло и с Галактионом Табидзе). Но в случае с Фадеевым передернуть карты было *невозможно*.

“Правда” сообщила, что самоубийство Фадеева явилось следствием болезни писателя, то есть, алкоголизма. Но это была очередная неправда “Правды”, так как в литературных кругах Москвы хорошо знали, что Александр Александрович последние три месяца перед выстрелом *не пил*. Он был все это время совершенно трезвым, что вызывало общее удивление, и покончил с жизнью в состоянии ясного рассудка. Больше того, известно, что Фадеев долго и тщательно готовился к этому решающему акту. Известно, что он ездил по памятным местам, посещал старых друзей, как бы прощаясь с тем, что ему было дорого...

Непосредственным поводом к выстрелу явилось следующее.

После того, как началась реабилитация невинно пострадавших при Сталине, (этот процесс назывался у нас “поздним реабилитасом”, в отличие от “раннего ренессанса”) некоторые жертвы Фадеева, то есть, те, которые были арестованы и посажены, по ордерам завизированным Фадеевым, вернулись в Москву. Среди них был писатель, которого я обозначу буквой М., так как с нее начиналась его фамилия. Этот писатель публично назвал Фадеева негодяем и чуть ли не плюнул ему в лицо. После этого М. *повесился*.

Что ж и это молча проглотить? Были такие, которые глотали и даже улыбались. Но ведь писатель М. повесился, он вынес все невзгоды сталинских исправительно-трудовых лагерей, выжил, а вот вернулся и тут, в Москве, назвав Фадеева негодяем, повесился. Надо было быть полнейшим ничтожеством, чтобы не почувствовать глубины этого факта.

Тени жертв, видимо, стали преследовать Фадеева. Но это не все, хотя одного этого уже было бы достаточно для того, чтобы придти к мысли, что наступил час расплаты.

В 1954 году Фадеев опубликовал несколько глав из своего нового романа “Черная металлургия”. Он попытался создать эпопею о жизни рабочего класса в СССР. Он работал над романом долго и упорно. Но в результате оказалось, что этот “индустриальный эпос” просто-напросто *липа*. Оказалось, что матерна-

лы для романа, полученные Фадеевым в одном из союзных министерств, фиктивные и фальшивые. А Фадеев на них построил весь свой замысел. Труд пошел насмарку. Но дело было не в труде. Тут обнаружилось нечто самое страшное для писателя. Фадеев вдруг с предельной очевидностью понял, что он как писатель *кончился*, иссяк, что он не может бороться с самим собой, что виденье жизни в нем уже подменено придумыванием жизни, ее схематизацией, стереотипизацией, что он давно уже занимается партийной алхимией, что, впрочем, было ясно и после романа “Молодая Гвардия”, основанного так же, как теперь выяснилось, на весьма сомнительных документальных материалах.

Мне невольно вспоминается разговор с одной бабой в Переделкино. Она мне сказала:

— Александр Сапыч называл меня приятельницей, а я его приятелем. Вот мы так друг с дружкой и калякали. А в тот день (день самоубийства) встретились мы, по-случаю, подле Бахметьевской дачи, он мне и говорит: “Эх, приятельница, все у нас убивают и убивают. Вот пастух имеет свои заботы, вот у артиста, значит, пьеса, а что у писателя? А у писателя — думка. Так вот, приятельница, убивают думку, убивают”. А опосля пульнул он в себя, сердечный... Перед тем, прослышала я, в двух сберкассах счета открыл, а сберкнижки, выходит, племянникам определил...

В Переделкино же я узнал, что Фадеев любил последние годы простую русскую женщину, по имени Клава. Это была дородная красивая баба, которая работала в закуской и жила в бараке тут же в Переделкино, пососедству с библиотекаршей Еленой. Клава с трудом сводила концы с концами и воспитывала сына. Муж ее, кажется, погиб на войне. Фадеев помогал ей. Это, быть может, было его последним внутренним прибежищем, миром, в котором он изолировал себя от реальности, уже понимая, что реальность для него смерть. О чем он говорил Клаве? Открывал ли он ей свою “думку”? Кто знает. Только после смерти Фадеева, Клава исчезла, вернее, ей немедленно дали отдельную квартиру в Москве и она смешалась с многомиллионной массой людей. Следов, так сказать, не осталось...

В тот роковой день, после обеда, Александр Фадеев поднялся к себе в кабинет, это было на даче в Переделкино, написал два письма, одно жене, Степановой, актрисе Московского Худо-

жественного театра, второе в ЦК КПСС, лег на диван, обложился подушками и застрелился.

Урию с прахом Фадеева, если я не ошибаюсь, замуровали в Кремлевской стене, рядом с другими выдающимися деятелями коммунистического государства. Когда же Михаил Шолохов, приехав в Москву, позвонил Ворошилову, который тогда был Председателем Президиума Верховного Совета СССР, и спросил его о письме Фадеева в ЦК КПСС, Ворошилов, как следует обругав покойника, сказал:

— Если бы вы знали, что он нам написал, вы бы не задавали этого вопроса.

Позже поэт Александр Твардовский задал тот же вопрос Хрущеву, поинтересовавшись содержанием письма Фадеева в ЦК КПСС. Хрущев ответил:

— В партии есть такие тайны, которые могут знать только два-три человека, товарищ Твардовский.

Никому не известно, что же написал Фадеев в Центральный Комитет той партии, членом которой он состоял, не больше не меньше, как 38 лет. Но есть версия, конечно же, придуманная, и не одним человеком, и в этом ее обобщающая сила, по которой Фадеев написал в своем письме очень коротко: *“Я стрелял в политику Сталина, в эстетику Жданова, в генетику Лысенко”*.

...Жизнь иногда свивает поразительные по причудливости узоры.

На углу площади Маяковского и улицы Горького в Москве, неподалеку от того места, где теперь советская молодежь все чаще и чаще устраивает демонстрации в знак протеста против тоталитарных действий властей, стоит дом, в котором живут, так сказать, “высокопоставленные”. Над входом в одно из парадных этого дома, можно увидеть бюст-барельеф Фадеева. Тут находилась московская квартира Фадеева, ныне превращенная в квартиру-музей.

Так вот, в 1961-63 годах мне пришлось заниматься кооперативным строительством по линии Союза Работников Кинематографии СССР. Как известно Советское правительство в этих случаях дает кооперативам ссуду, но тщательно контролирует и строительство и весь начальный процесс организации кооператива. Я хочу сказать, что вы за свои деньги не можете получить квартиру, которую бы вам хотелось получить. Вас ограничивают размером жилой площади, а если у вас уже есть жилпло-

щадь, но она вам кажется недостаточной и вы хотите ее увеличить, — возникают неопишуемые трудности.

Сын Фадеева женился на популярной киноактрисе Людмиле Гурченко. Они решили получить собственную квартиру и вступили в наш кооператив. В Отделе по регулированию жилищной площади Краснопресненского района мне пришлось отстаивать их права быть членами нашего кооператива. Заместитель председателя Райисполкома, некто Параскун, огромный детина, с толстой шеей, краснощекий, безусловный выходец из “низов”, с ехидной улыбкой сказал:

— Не пройдет этот номер. Они могут жить в квартире по улице Горького.

Я ответил:

— Да, но ведь это квартира-музей писателя Фадеева...

Параскун перебил:

— А нам начхать на то, что это квартира-музей писателя Фадеева. Нам важен *метраж*.

Тогда я подумал, что для Параскуна (а Параскун это ныне хозяин жизни), имя Фадеева ничего не значило, кроме того, что Фадеев принадлежал к советской знати, а Параскун, мечтавший поскорее попасть в число этой знати, был только на пути туда. Я думаю, что формула Параскуна “Нам важен метраж”, была, пожалуй, самым страшным приговором для Фадеева, тем более, что этот приговор был произнесен “товарищем по классу”.



Знаете ли вы что такое орден Ленина и каков он на вид?

Прежде всего орден Ленина — высшая правительственная награда в СССР. Орден — золотой, а барельеф Ленина, посередине, сделан даже из платины. Вначале, как я помню, орден этот привинчивался просто на борту пиджака, потом его стали вешать на пиджак со специальной полосатой колодкой. Нарядный орден. Почетный. И представляете какая это была редкость и какая ценность, скажем, в тридцатых годах, когда их было еще очень мало. И вот однажды на последней странице газеты “Заря Востока”, которая тогда была органом Закрайкома ВКП(б) и ЦК КП(б) Грузии, появилось невероятное объявление. Сообщалось, что *утерян* орден Ленина и нашедшего просят вернуть его за вознаграждение в отдел объявлений “Зари Востока”.

Утерян! Да ведь в те годы даже за утерю партбилета и то

исключали из партии и чуть ли не сажали. А что такое партбилет — книжечка. А тут орден, да еще орден Ленина! Разумеется по Тбилиси сразу поползли слухи и сразу, конечно, стало известно кто *утерял* орден. Кавалеров ордена Ленина в те времена, повторяю, было не много. Их можно было счесть по пальцам. Пересчитали. Ордена Ленина не доставало на груди у Народного поэта Грузии Галактиона Табидзе. Люди затаили дыхание. Что же будет? Неужели репрессируют? Оказалось, что Галактион потерял свой орден где-то в духане по пьяному делу. Неужели отправят в места “не столь отдаленные”? А тогда люди исчезали с поразительной быстротой по самым пустякам.

Простили. Товарищ Сталин милостиво простил Народного поэта Грузии и, если я не ошибаюсь, ему был выдан *орден-дуб-ликат...*

К чему я рассказал этот траги-комический случай? Мне кажется, что он в известной мере характеризует образ второго самоубийцы Галактиона Табидзе.

С мальчишеских лет я помню Галактиона. Нередко гурьбой мы бегали за ним по улицам. В последние годы Галактион отпустил бороду и усы, прежде он брил лицо и оно у него, даже в молодые годы, было круглым и одутловатым, несколько бабьим. Роста он был среднего, к старости сильно раздался, обрюзг. Голос у него всегда был чуть хриплый, “пропитой”. Ходил он как-то странно, как-то боком и вроде по диагонали, вероятно от того, что постоянно был пьян. Но пьяный грузинский поэт, это *нормальный* поэт. Ничего в этом предосудительного не было. Музы, как правило, дружат с Бахусом. А в Грузии вино пьют вместо воды, ибо вода не везде хорошая. Я вырос в среде грузинских поэтов, таких, как Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, Никола Мицишвили и др. Все они очень много пили и писали великолепные стихи.

Но Галактион был иным. Он стоял особняком и духовного или творческого родства, например, с “голуборожцами”, которых я только что перечислил, у него не было, хотя в молодости он одно время и увлекался символистами и импрессионистами.

Галактион Табидзе, безусловно, был одним из наиболее популярных поэтов Грузии и популярность его была поистине народной. То, что он единственный в Грузии имел звание *Народного поэта*, было им заслужено. Его стихи были доходчивы до простых людей. Его декламировали на улицах, его знали наи-

зустъ в деревнях. А песни на слова Галактиона распевались по всей Грузии. У меня и сейчас в ушах замечательная песня “Цхалтубо да Кутанси...”

В 1933 году Галактиона Табидзе сделали действительным членом Академии наук Грузии. Потом он начал писать верно-подданические поэмы. Много писал о “великом” Сталине. И все больше и больше пил. В 1937 году арестовали Тициана Табидзе, Паоло Яшвили застрелился, Никола Мицишвили так же был арестован, и романист Джавахишвили, и многие, многие другие. Галактиона не тронули. Галактион остался на свободе и продолжал сочинять сталинские панегирики. И продолжал неумоимо пить. Однажды я видел его лежащим на улице, что у грузин никогда не бывает, любой пьяный грузин умеет добраться до дома, а там уже падает на пол. (Дома, но не на улице) Галактион лежал на улице. Может быть уже тогда он искал свой конец?

Возникает тот же самый вопрос: верил ли Галактион Табидзе в Сталина, служил ли он ему потому, что считал, что наступила “заря новой жизни” или же это был компромисс, сделка с совестью, приспособление?

Ответ все тот же. На мой взгляд, в Галактионе было поразительное, никогда ранее невиданное смещение веры с неверием, то и другое жило в нем одновременно, но так как и то и другое не могло жить одновременно длительное время, то жизнь неизбежно приводила к взрыву.

В начале 1959 года в той же “Заре Востока” появилось сообщение о смерти Галактиона Табидзе. Было написано, что он *скончался*. Просто скончался. Печатались некрологи, воспоминания о Галактионе, его поэмы. Словом смерть Народного поэта отмечалась соответственно. На панихиде присутствовали партийные и советские “боссы”, даже представители Москвы и пр. Произносились, разумеется, пышные похоронные речи. И не единого слова не было сказано о том, что Галактион Табидзе на 66-ом году жизни покончил самоубийством. Ни единого слова не было сказано о том, что он выбросился из окна своего дома и лежал на улице до тех пор, пока не приехала “Скорая помощь”. Ни единого слова не было сказано о том, что сделал он это будучи *трезвым*. И, наконец, ни единого слова не было сказано, и это весьма симптоматично, о том, что сразу за каретой “Скорой помощи”, нагрянули сотрудники КГБ, которые немедленно *опечатали* весь литературный архив Галактиона, как в

свое время это было сделано и с архивами Горького, Пильняка и многих других.

Галактион Табидзе сейчас лежит в пантеоне писателей Грузии на Ново-Вакинском кладбище в Тбилиси. Ах, если бы покойники говорили! Но даже архивы некоторых, увы, пока молчат...



О том, что произошло с Валентином Овечкиным могла бы быть написана пьеса. Может быть она когда-нибудь и будет написана. Драма? А почему бы и не трагедия?

Примечательно в трагедии Овечкина то, что жертвой коммунизма явился сам коммунист, что коммунистическая система уничтожает тех лучших, которые отстаивают ее честно, искренне, тех, которые декларируют ее сердцем.

Поразительная механика!

Этот советский Гамлет был “стопроцентным” пролетарием и по крови и по духу, работал в юности сапожником, был учителем в ликбэзе (школа по ликвидации безграмотности), затем уехал в деревню и стал председателем колхоза, вступил, конечно, в партию, был даже где-то секретарем партийного комитета. Словом “железная” биография. Комар носа не подточит. Во время прошлой войны Овечкин отправился на фронт, был военным корреспондентом.

В Советской литературе Валентин Овечкин завоевал себе прочное место рядом с такими писателями, как Троепольский, Тендряков, Дорош, своими очерками, повестями и пьесами о жизни современной деревни. В этом вопросе Овечкин был безусловно сведущ, он знал, как живет наша деревня, он знал ее незыгоды и всячески старался помочь колхозникам.

Одно время “наверху” взяли Овечкина на вооружение. Его критические очерки и рассказы печатались чуть ли не в “Правде”, на целую полосу. (Этой чести удостаивались лишь такие, как Корнейчук, Симонов, Шолохов). Широкую известность получили очерки “Районные будни”, “В том же районе”, наконец, “Трудная весна”. Автор выдвигал идею “хороших” и “плохих” руководителей. Он обычно противопоставлял бюрократу и дураку первому секретарю райкома КПСС, умницу и гуманиста второго секретаря райкома КПСС. Я думаю, что Овечкин верил в эту идею, во всяком случае он достаточно горячо об этом писал,

И он писал, конечно, о том, что у него на душе наболело, о том, что было для него *чрезвычайно* важным.

Да, одно время события складывались так, что Овечкина “поднимали”. Он был “избран” членом правления Союза Советских писателей РСФСР, а затем и членом правления Союза Советских писателей СССР.

А дальше случилось вот что.

Укрепившись у власти, Хрущев начал вводить свои “новшества”. Коснулось это и колхозов. Овечкин принял их настороженно, а затем и прямо “в штыки”. В тот период он жил в Курске и был членом пленума Курского Обкома КПСС. Хрущевские новации вызвали недовольство и в руководящих кругах области. Не вникая в существо дела, скажу что местные “тузы”, собираясь вечерами за круглым столом и попивая водочку, или выезжая на рыбалку (обычно этим и ограничиваются “культурные мероприятия” на верхах), не то, чтобы открыто, но все же поговаривали об “авантюризме” Никиты. В этих разговорах принимал участие и Овечкин. Не думаю, чтобы он был консерватором, но он был против Хрущева. Больше того, он как бы возглавил местную “оппозицию”, а т. к. перед созывом 22 съезда КПСС по стране проходили партийные конференции, Овечкин и предложил секретарям Обкома партии и советским начальникам, устроить нечто вроде партийного бунта. План Овечкина был прост, но в условиях нашей жизни, невероятен, лучше сказать, почти невероятен. Овечкин хотел выступить на партийной конференции Курской области первым и выложить “правду-матку”, с тем, чтобы его поддержали секретари Обкома КПСС, руководители Облисполкома и т. д.

Овечкин надеялся, что за ним пойдут и все остальные делегаты партконференции, тем более, что он был уверен в том, что его идеи разделяются на местах, то есть, в колхозах области.

На одном из таких “высокопоставленных” в масштабе области выпивонов было договорено о совместных действиях.

Валентин Овечкин, с той же смелостью, с какой сам Хрущев вышел на трибуну 20-го съезда КПСС, поднялся на трибуну партийной конференции Курской области. Он, что называется, толкнул речугу и...

Что же произошло дальше?

Дальше произошло то самое, что было описано в рассказе Яшина “Рычаги”. Затем сработал принцип “демократического

централизма”: каждый в отдельности — против, все вместе — за. Словом, Овечкина не поддержали. Наоборот “боссы”, которые накануне “подогревали” Овечкина, обещали вместе выйти на баррикады, в последнюю минуту сдрейфили и, опасаясь за свои мягкие кресла, за свои оклады, за свои партбилеты, сбежали в кусты. Нет, не только сбежали в кусты, а сами же, сами же набросились на Овечкина и объявили его чуть ли не предателем интересов Родины...

Вернувшись домой, осознав в полной мере свою катастрофу, поняв, что у него окончательно отняли веру в человека, в коммуниста, в его право на мысль, на суждение, на выражение собственного мнения, поняв вдруг, что это все лежит в основе системы, что коллективная система жизни противоестественна, что коллектив, превращенный в догму, уничтожает человеческую личность, индивидуальность и что это главная заповедь коллективизма, поняв, конечно, и страшную закономерность коммунистической диктатуры, и трагедию тех, которые сначала за рюмкой водки солидаризировались с Овечкиным, а затем, уже на партконференции, отреклись от него, поняв, что это и его, и их, и всеобщая трагедия, советский Гамлет неизбежно пришел к вопросу:

“Быть или не быть?!”.  
“Не быть!” — подсказал ему голос совести.

Вероятно в этот миг в представлениях Овечкина появилось нечто большее, чем идея коммунизма, чем партийный долг, чем обязанности советского писателя, чем даже интересы колхозов. Вероятно в этот миг он переосмыслил все и прежде всего *цену* человека. Видимо в этот миг он совсем иначе взглянул на себя и на то, что его окружало, видимо в этот миг он почувствовал, по выражению Пастернака, “запах бессмертия”. И придя к этому, Овечкин, взял в руки мелкокалиберное ружье, которое висело у него на стене, заложил патрон и выстрелил себе в голову.

Конец не наступил сразу, может быть дрогнула рука или мелкокалиберка оказалась не смертельным оружием. Овечкина в бессознательном состоянии на самолете отправили в Москву. Здесь, в нейрохирургической клинике им. Бурденко, врачи сделали сложную операцию и жизнь Овечкина была спасена. Но он потерял глаз.

В дни выздоровления, по указанию властей, к Овечкину в палату пускали только одного писателя: Константина Симонова,

которого, кстати, Овечкин всегда недолюбливал и не раз открыто говорил об этом. Тем не менее тогда Овечкина навещал Константин Симонов, надежность и ортодоксальность которого никогда не подвергались серьезному сомнению.

Власти из всех сил старались замолчать и приглушить “дело Овечкина”. По всем правилам такой коммунист не мог избежать осуждения и за то, что он выступил против Хрущева и за то, что он пытался наложить на себя руки. То и другое было из области антипартийного, то и другое в КПСС карается беспощадно. Я знаю случаи, когда коммунистов-самоубийц, по указанию властей, просто не хоронили, ибо они считались, так сказать, изменниками. Но с Овечкиным поступили иначе. В период его пребывания в клинике в “Литературной газете” даже появилась какая-то его статья или очерк, из тех, которые он написал прежде. Этим самым нам, литераторам, дали понять, что мол “статус-кво” между Овечкиным и “верхами” установлен, что мол все заняло подобающее место и что мол так и должно было быть. Симонов, вероятно, сыграл в этом случае роль партийного эmissара. Несколько позже последовали даже “поощрения”, лучше сказать, “награды”. Немного спустя В. Овечкина ввели в состав редакционной коллегии журнала “Новый мир”, а на 4-м съезде Союза Советских Писателей его “выбрали” в состав правления. И вроде бы все стихло, утомонилось. И нигде не было написано ни о выстреле Овечкина, ни о его выступлении на Курской партконференции, ни о том, что он потерял глаз и уж, конечно, ни слова о том, что говорили друг другу Овечкин и Симонов, и, наконец, о том, что спустя некоторое время после попытки самоубийства Валентин Овечкин попал в сумасшедший дом, как это до него случилось и с Есениным-Вольпиным и с многими другими.

Почему же Овечкин попал в дом для умалишенных после того, как был установлен “статус-кво”? Надо думать, что “примирение” Овечкина с Хрущевым не исчерпало того, что толкнуло Овечкина на самоубийство. Надо думать, что внутренние терзания, душевная борьба не оставляли его. Надо думать, что именно это и привело его к спасительному на определенное время *алкоголю*.

(О, как бы мы жили на земле, если бы не было вина!? Как бы жили и Фадеев, и Галактион Табидзе, и Валентин Овечкин, да и Шолохов, и Твардовский, и Берггольц, и Юрий Олеша, и

Михаил Светлов... последний однажды сказал мне: “Слушай, старик, разве можно в *этой* жизни быть трезвым?”).

Как-то Овечкин приехал в Москву, остановился в гостинице “Москва”, и, напившись, разделся и попытался выбраться из окна. Дело дошло до того, что была вызвана пожарная команда, под окнами его номера растянули брезентовый тент. Немедленно нашлись услужливые и “заботливые” люди, которые позвонили в нашу Литфондовскую поликлинику и оттуда сразу же прибыла целая команда врачей. Эти врачи народ тренированный и исполнительный и прибыли они, разумеется, с заранее полученной директивой. И Овечкина из гостиницы “Москва” перевезли в больницу для сумасшедших...

Группа московских писателей, так сказать, среднего поколения, которую вся эта история возмутила, что, на мой взгляд, делает ей честь, отправилась в указанный дом для сумасшедших и попыталась выяснить действительно ли Овечкин “спятил”, то есть потерял рассудок. Официальные справки ни к чему не привели. Ясного ответа у главного врача они не получили. Но некоторые из них, в прошлом “стреляные воробьи”, решили действовать окольным путем. Им удалось остановить молодого врача, женщину, и поговорить с ней. Конечно же она не рискнула прямо и открыто сказать им, что она думала о состоянии Овечкина. Вместо этого на вопрос московских писателей она ответила своим вопросом. Она спросила:

— А, может быть, кто-то заинтересован в том, чтобы Овечкин оказался умалишенным?

Точки над “и” были поставлены.

Пройдя “курс” психиатрического лечения Валентин Овечкин, кажется, сразу после этого, или спустя немного, уехал, или его “отправили”, в Ташкент, где жили и живут до сих пор его сыновья.

Не знаю присутствовал ли Овечкин на 4-м съезде Союза Советских Писателей? Читал ли он письмо Солженицына? Я лишь думаю, что если Овечкин и был на 4-м съезде в Москве, то был уже в качестве душевного калеки, изломанного и перемолотого, уже не способного на борьбу за свое человеческое достоинство. Ведь дважды в себя не стреляют...

Совсем недавно в руки мне попали некрологи из советской прессы по случаю того, что “скончался” писатель Валентин Овечкин. В одном из некрологов писалось: “Тяжелая болезнь

на многие годы ограничила его возможности сказать то, что он еще хотел сказать...”

*Спрашивается:* как же все-таки называется такая *тяжелая* болезнь? И что *еще* хотел сказать Овечкин?

Во втором некрологе, было провозглашено следующее:

“Безвременно ушел от нас беспредельно преданный ленинской партии, любимой отчизне, родному Советскому народу человек. Наша литература понесла тяжелую утрату”.

Да так ли это? Ушел ли Овечкин из жизни беспредельно преданным партии, любимой отчизне, родному советскому народу?



Что же такое самоубийство, если оно происходит в условиях коммунистического общества? Я спрашиваю себя еще и еще раз: почему оно считается преступным в этом обществе? Не потому ли, что является, в своей сущности, отрицанием этого общества? Самоубийца пытается сам распорядиться своей жизнью, он, безусловно, индивидуалист и посягает на общественную собственность, ибо при коммунизме человек является прежде всего *членом* коллектива и уже не может принадлежать самому себе. В этом обществе он неизбежно становится зависим и может только идти в ногу с остальными. Нарушение этого, и особенно в такой крайней форме, как самоубийство, и есть прежде всего *протест*. Это как бы вслух сказанное: “**Вы** хотите убить во мне человека, так лучше я сам сделаю это и тем самым докажу вам, что я *все-таки* человек”.

Фадеев, Галактион Табидзе, Овечкин... а сколько еще других, менее известных или просто безымянных, и в среде литераторов, деятелей искусства, и в среде научных работников, да и вообще во всей советской жизни.

Да, стреляли и в Сталина, и в Жданова, и в Хрущева, стреляют и в “нынешних”, и эти выстрелы не уймень никакими мерами и эти выстрелы становятся слышны во всем мире, ибо люди, как это ни странно, больше всего верят покойникам, может быть потому, что знают, что перед лицом смерти человек не жлет.

*Ю. Кротков*

## ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЭТЕ Н. М. МИНСКОМ

Моя первая встреча с Н. М. Минским относится к зиме 1923-24 гг. Я в то время жила в Глазго, в Шотландии, где я осталась жить после смерти моего мужа у его матери. Кроме меня в Глазго была еще только одна русская, миссис Бреннан, жена профессора Глазговского университета. Однажды эта самая миссис Бреннан, с которой я была очень дружна, прибежала ко мне в большом возбуждении и сказала, что Глазговский университет пригласил поэта Минского, проживающего в Лондоне, приехать в Глазго и прочесть в университете публичную лекцию о творчестве А. С. Пушкина, что Минский прислал свое согласие и лекция состоится через две недели. На профессора Бреннана возложена задача организовать эту лекцию, чтобы она имела как можно больше успеха. Так как я часто пела у Бреннанов на их вечеринках под аккомпанимент хозяйки, которая была незаурядной пианисткой, то ей пришла в голову мысль, чтобы сделать эту лекцию более живой и привлекательной для шотландской публики, просить меня выступить на ней в качестве русской певицы.

— Но я из стихотворений Минского знаю только одно, на которое Рахманинов написал музыку, это романс: «Она, как утро хороша», и то этот романс написан для мужского голоса, — стала я отнекиваться.

— Идиотка! — вскричала миссис Бреннан, — ведь лекция-то будет о творчестве Пушкина, а не Минского, поэтому ты должна петь что-нибудь на слова Пушкина.

В конце концов она меня уговорила и мы выбрали арию Лизы из «Пиковой Дамы», арию Татьяны из «Евгения Онегина» и другие арии из моего репертуара, на слова Пушкина и сразу же принялись за репетиции.

Настал вечер лекции. Университетский зал наполнился нарядной публикой во главе которой был лорд-мэр гор. Глаз-

го, сэр Даниель Стивенсон, большой руссофил. Распорядители меня сейчас же познакомили с Минским, сказав ему, что я буду иллюстрировать моим пением его лекцию. Увидя Минского я очень разочаровалась. Будучи сама очень молодой, я представляла его молодым и красивым поэтом вроде Ленского и вдруг передо мной оказался довольно невзрачный старик маленького роста (ему было уже далеко за 60), с большим лбом, переходящим в лысину, обрамленную седыми кудрями, спускающимися на воротник, как носят художники, с подстриженными седыми усами; но глаза его, маленькие, черные и острые были блестящими и молодыми.

Лекцию свою он читал по запискам, на английском языке с сильным русским акцентом, что делало некоторые слова и даже фразы совсем непонятными. Не знаю, поняли ли что-нибудь из нашего концерта (я пела по-русски) шотландцы, но они нам обоим очень много и горячо аплодировали, желая показать свои горячие симпатии ко всему русскому. После лекции устроители небольшой компанией пригласили Минского и меня на ужин в хорошем ресторане. Меня посадили рядом с ним и тут он мне больше понравился, чем на лекции, так как оказался очень веселым и остроумным собеседником. Пили много шампанского, провозглашали тосты и провели время очень весело далеко за полночь, после чего распрощались, так как Минский должен был рано утром уезжать в Лондон.

Прошла зима и я забыла о Минском.

Весной я решила оставить Глазго и поехать в Лондон искать счастья. Узнав о моем намерении миссис Бреннан пришла в ужас и стала выискивать, не найдется ли в Лондоне кто-нибудь из русских, кто мог бы мне помочь найти работу и устроиться.

— А почему бы тебе не обратиться к Минскому? — сказала она. — Ты на него явно произвела большое впечатление, после твоего ухода с ужина он только о тебе и говорил и, я думаю, что он не откажется тебе помочь устроиться.

Я наотрез отказалась ему писать: «Я его совсем не знаю, и я уверена, что он обо мне совершенно забыл». Но, через несколько дней я узнала, что миссис Бреннан сама ему написала и с торжеством принесла мне его ответ, полученный обратной почтой. Письмо Минского было замечательно доброе и душевное. Он писал, чтобы я не задумываясь прямо ехала к

нему по указанному адресу, что он сделает все от него зависящее, чтобы мне помочь и что, если я пришлю ему телеграмму о дне и часе моего приезда, то он встретит меня на вокзале.

Так я и сделала. Приехала я в Лондон на Юстонский вокзал чудным майским утром в 7 часов, но никто меня на вокзале не встретил. Дождавшись, чтобы вся публика разошлась, и видя, что Минского нет, я взяла такси и поехала на Гауэр Стрит по указанному им адресу. Такси остановилось у небольшого третьеклассного отельчика, довольно грустного вида. На мой вопрос, дома ли мистер Минский, мне сказали, что его дома нет, что он куда-то вышел, но что миссис Венгерова дома и уже встала. Кто такая Венгерова? И почему мне говорят о ней, когда я спрашиваю о Минском? Раздумывать было некогда и я попросила доложить Венгеровой, что я хочу ее видеть. Горничная вернулась через пять минут и просила меня подняться в номер Венгеровой. На мой стук в дверь мне ответили: «Войдите» и войдя я увидела пожилую, очень полную даму, которая сразу меня спросила по-русски: «А где же Николай Максимович?» Выяснилось, что он поехал на вокзал меня встречать, но мы с ним как то разошлись. Пока мы разговаривали, дверь настежь распахнулась и появился Минский, взволнованный, с расстроенным лицом и трагически разведя руками воскликнул: «Не приехала!» Но увидя меня бросился целовать мне руки и мы все трое, перебивая друг друга, стали рассказывать наши приключения. Оказалось, что Минский спросил станционного служащего, на какую платформу приходит поезд из Глазго, не понял его, спутав английские слова «тринадцать» и «четырнадцать» и ждал меня на другой платформе, на которую тоже пришел какой-то поезд, в котором меня не было. Все хорошо, что хорошо кончается, и пока Венгерова варила кофе и жарила яичницу с ветчиной тут же на полу у камина на газовом кольце, Минский побежал (он именно всегда бегал, а не ходил) заказать в отеле мне комнату. Свободного номера в его отеле не оказалось и он снял мне комнату в другом отеле на той же Гауэр стрит через два дома от него.

Мой отель был немногим лучше его отеля, был телефон (у Минского телефона не было), комната с ванной и т. д. Комната Венгеровой, в которой Минский собственно проводил все

свое время, поразила меня своей убогой обстановкой. Я в первый раз в жизни была в такой дешевой гостинице, но вскоре перестала замечать эту убогость, которая вознаграждалась необыкновенной приветливостью и радушием ее хозяев. Посреди комнаты стоял большой стол, окруженный простыми стульями, в одном углу была кровать Венгеровой, в другом умывальник (кувшин с тазом), не было даже водопровода, и большой шкаф. У камина единственное кресло, на котором всегда сидела Венгерова и занималась тут же готовкой чего-нибудь на газе. У Минского была маленькая комнатка этажом выше, куда он никого не пускал и сам в ней никогда не сидел. Эту комнату он снимал, как он сам мне впоследствии сказал, для приличия перед англичанами. Перед русскими ни он, ни Венгерова не стеснялись и не скрывали своих отношений, так что все их знакомые считали их за мужа и жену. Передо мной они тоже не стеснялись и Венгерова мне объявила в первое же утро: «У нас детей нет и вы будете нашей приемной дочкой», а вечером они оба уже меня называли на «ты» и представляли зашедшим знакомым, как свою приемную дочь. Позавтракав, Венгерова пошла на службу, она служила переводчицей в Полпредстве (Политическое Представительство СССР в Лондоне), а Минский, работавший там же, сказал, что по случаю моего приезда он взял отпуск на две недели и будет отдыхать и показывать мне Лондон. Не помню, как называлась его должность, но он мне говорил, что работа его заключалась в том, чтобы каждое утро прочитывать все английские газеты и журналы, вышедшие в тот день, и отмечать красным карандашом все, что касалось или могло интересовать Советское Правительство.

Я заметила, что он жил в такой скверной гостинице не по бедности, так как зарабатывали они оба очень много, в особенности Венгерова, бравшая еще на дом переводы, за которыми она иногда проводила целые ночи, а просто, повидимому, у них не было ни привычки, ни потребности к роскоши и жилищному комфорту. В остальном они ни в чем себе не отказывали, ходили часто по хорошим ресторанам, покупали дорогие билеты в театры и на концерты и в большинстве случаев ездили на такси, совершенно не пользуясь метрополитеном. Их щедрость и гостеприимство были необыкновенны. Почти каждый вечер были гости — вся русско-еврейская колония Лондона. Иногда Венгерова готовила ужины дома, а в

другое время мы всей гурьбой ходили в рестораны. В первый же вечер моего приезда Венгерова приготовила ужин дома и я могла заметить, насколько Минский был привередлив и капризен в еде. Он сразу же отказался есть, а сев напротив меня стал пристально смотреть, как я ем и вдруг сказал: «А что это такое ты приготовила, Зина, наверно что-то вкусное, смотри как наше дитё уплетает за обе щеки». — «Замечательно вкусное», сказала я, «советую вам попробовать». — «Рагу из курицы по-кавказски», заметила Венгерова: «ты же это любишь». «А ну, дай, я съем, уж очень дитё заразительно ест». И к великому удовольствию Венгеровой он съел полную тарелку. «Теперь ты должна у нас питаться каждый вечер», сказала мне Венгерова, «ты служишь хорошим примером для Николая Максимовича, а то он никогда ничего не ест, прямо беда с ним». — «Поэт, что вы хотите, Зинаида Афанасьевна, поэты питаются фиалками и лунным светом». Они оба замахали руками, когда я предложила им платить за мою еду, сказав, что я пока безработная и деньги мне нужны на другое.

За две недели своего отпуска Минский показал мне все достопримечательности Лондона, музеи и картинные галереи, водил меня в театры на все модные пьесы. Благодаря ему я слушала с ним в Альберт Холл — Баттистини, Тетрацини, Галли-Курчи, Шаляпина и других знаменитостей. К концу его отпуска он устроил меня на службу в АРКОС. По-видимому его влияние там было велико, так как меня приняли без всяких экзаменов и рекомендаций. Правда, я умела печатать и на английской и на русской машинках, но все-таки без него, я не думаю, чтобы меня так моментально приняли. Несмотря на то, что его отпуск кончился и что я поступила на службу, мы все-таки продолжали видеться каждый день. Днем он приезжал из Полпредства, находившегося на другом конце Лондона в бывшем помещении Посольства, ко мне в Сити, где была моя контора, и мы вместе шли завтракать в соседний ресторан.

Там, между прочим, произошел один забавный случай, о котором я хочу рассказать. Один раз я пришла в ресторан раньше Минского, который, против своего обыкновения запоздал. Рядом со мной, за соседним столиком сидела группа молодых людей, всеми силами старавшихся обратить на себя мое внимание. Один из них громко сказал по-английски: «Она одна сегодня и я думаю, что мы сможем с ней познакомиться», и все они стали смотреть на меня. Я отвернулась, но в это

время другой молодой человек закричал: «Осторожно, вон бежит Ллойд-Джордж, он вам задаст за знакомство!». Я невольно оглянулась и увидела спешащего, запыхавшегося Минского, и тут меня поразило в первый раз его действительное сходство с британским премьер-министром. Тот же небольшой рост и фигура, такая же голова с гривой седых волос, такие же седые усы, то же странное пальто с пелериной, так называемая крылатка и т. д. Он нисколько не удивился и не обидился, что его называют Ллойд-Джорджем, а сказал, что он уже привык к этому, так как его часто принимают за Ллойд-Джорджа, и я подумала, что ему это наоборот приятно и что он подходящим костюмом и прической умышленно подчеркивает это сходство.

В один из первых дней моего пребывания в Лондоне Минский мне сказал: «А я никак не мог забыть нашей встречи и нашего ужина с шампанским в Глазго и вернувшись в Лондон написал тебе стихи, но не послал их, не зная твоего адреса и думая, что наша встреча была так мимолетна, что ты меня уже забыла».

Привожу эти стихи:

«В тот вечер так пёнисто было вино,  
Твой голос — так вкрадчив, твой взор был так светел,  
Что я не заметил,  
Как раскрылась душа на мгновение одно,  
И в раскрытую душу, как птица в окно,  
Впорхнула любовь...  
С тех пор я залётную гостью ловлю,  
Но поймать и прогнать не смог легкокрылой...  
Днем притихнет уныло,  
В ночь рассыпется песней, я внемлю, не сплю,  
И поет эта песня о том, что люблю,  
Что прекрасна любовь...  
Но, если бы мог я тот вечер вернуть,  
Я бы не пил вина, не ловил твои взоры,  
Я б готовил затворы,  
Чтобы наглухо входы души все замкнуть,  
И одну только дверь приоткрыл бы чуть-чуть  
Для тебя-ль? О любовь...»

— Нравится? — спросил Минский. — Очень нравится, только я не совсем понимаю, если любовь прекрасна, то для чего же ее прогонять и закрывать все входы души, я бы на-

против распахнула все двери настежь, а то как-то нелогично.

— Ишь какой строгий критик выискался, — обиделся Минский. В любви нет логики, но если ты хочешь, я переделаю: могу написать вместо: «Что прекрасна любовь» — «Что страданье — любовь», так как любовь даже самая прекрасная, всегда несет страданье.

— Я не хочу, чтобы вы что-нибудь переделывали из-за меня в вашей поэзии. Вы — поэт, а не я, и как вы напишете, так и должно быть.

На этом разговор кончился и больше мы об этом стихотворении не говорили, а через несколько дней Минский принес мне другое стихотворение, которое он посвятил мне:

«Молитв просительных не знает мой язык,  
Свой рок, благой иль злой, я сам ковать привык,  
Но если враг в бою пробьет мою броню,  
Ни небо, ни судьбу — я лишь себя виню.<sup>1</sup>  
Но благодарственных молитв незримый хор  
Звучит в моей душе уму наперекор...  
За встречу первую с любимой тобой,  
За зелень глаз твоих, за яркий голос твой,  
За губы детские, за нежный их привет,  
За то, что так сбылось, что вешний твой рассвет  
Судьбу и небеса молясь благодарю».   
Свой пламень влил в мою вечернюю зарю,

В одну из наших встреч он рассказал мне некоторые факты из своей личной жизни. Рассказал, что он рано остался сиротой и был усыновлен неким Виленкиным, чью фамилию он и носил в действительности, но, находя эту фамилию слишком вульгарной и некрасивой, он придумал себе псевдоним «Минский», так как он происходил из Минска.

Интересны были его отношения с Зинаидой Афанасьевной Венгеровой, сестрой известного профессора Венгерова, на которых я останавлиюсь немного подробнее, так как эта женщина играла совершенно исключительную роль в жизни Минского. В ранней молодости они любили друг друга и хотели поженились, но отец Венгеровой был не высокого мнения о Минском, считая его не способным на что-либо серьезное «стихо-

---

<sup>1</sup> Эту фразу «ни небо, ни судьбу, я лишь себя виню», Минский потом переделал: — «Как опытный игрок, я лишь себя виню».

плетом», не достойным руки его дочери. Получив отказ, Минский уехал и женился на ком-то другом. Через несколько лет, овдовев, он снова встретился с Венгеровой, которая осталась незамужней и верной своей первой любви. К этому времени она уже потеряла отца и ничто не мешало им повенчаться. Уже были сделаны приготовления к свадьбе, как умирает сестра Венгеровой и оставляет сиротой свою 16-летнюю дочь. Вернувшись с похорон сестры, Зинаида Афанасьевна привозит эту девочку к себе в дом. Минский моментально влюбляется в нее и, вместо того, чтобы жениться на Венгеровой, женится на ее племяннице. Венгерова опять остается одна. Через несколько лет умирает его вторая жена загадочной смертью в Париже (как говорили в Лондоне, Минского даже обвиняли в том, что он ее отравил, но я уверена, что это были только сплетни) и Минский сходитя опять с Венгеровой, но, живя с ней вне брака, все-таки не узаконивает их отношений. Такой любви и беспредельной преданности, какую питала к нему Венгерова, я никогда больше не встречала. Она ухаживала за ним, как за малым ребенком, исполняла все его капризы и никогда не показывала ни малейшего раздражения или недовольства.

В один из вечеров у Минского я познакомилась с приехавшим из Москвы известным большевиком Николаем Семеновичем Ангарским. Настоящую его фамилию я не знала, но знала, что он, проведя до Октябрьской Революции много лет на Ангаре в ссылке, взял себе этот псевдоним. К концу вечера, прощаясь со мной, Ангарский сказал, что он зайдет за мной на другой день в контору, чтобы идти вместе завтракать, так как ему надо со мной поговорить. Я страшно удивилась и даже испугалась, о чем он может со мной разговаривать, но посмотрев на Минского и видя, что он улыбается, я сказала:

— Я всегда завтракаю с Николаем Максимовичем, значит будем завтракать троим?

— Нет, Николай Максимович уступает вас мне на завтра, он знает, что мне нужно с вами поговорить вдвоем.

В этот вечер Минский не хотел мне ничего сказать и мне пришлось ждать следующего утра, чтобы удовлетворить мое любопытство.

Дело оказалось в следующем. Ангарский, приехавший в Лондон, чтобы открыть Отдел Московской внешней торговли при АРКОСе (МОСВНЕШТОРГ), предложил мне взять на себя организацию этой конторы. Кроме меня, в конторе будет мой

начальник Алексей Алексеевич Богданов, брат известного Петра Алексеевича Богданова, и бухгалтер. Ангарский сказал, что Богданову некогда этим заниматься — у него другие задания, а я должна все организовать и привести в порядок к новому приезду Ангарского через два-три месяца. Он предложил мне жалование вдвое больше того, что я получала как обыкновенная машинистка в АРКОСе, но поставил одно, показавшееся мне очень странным, условие, а именно: чтобы я больше не встречалась с Минским.

— Это невозможно, Николай Семенович, — проговорила я, — у меня нет никаких причин прерывать знакомство с Минским, тем более, что я ему и Зинаиде Афанасьевне очень многим обязана и даже обязана этой встречей с вами.

— Я не требую, чтобы вы сразу оборвали это знакомство, но хочу, чтоб вы прекратили эти выходы в рестораны, театры и ночные кабаре и принялись серьезно за работу.

— Но почему, Николай Семенович? Минский мне, как отец родной, и с моей стороны будет ужасной неблагодарностью порвать с ним теперь, когда я хорошо устроилась и больше в нем не нуждаюсь.

— Хорош отец родной, влюблен он в вас. Связался чорт с младенцем и ничего хорошего из этого не выйдет. Все это несерьезно, все эти розы и грёзы, эта слащавая сентиментальность ничего вам не даст. Работайте, приносите пользу и устраивайте сама себе хорошую здоровую жизнь. Да, я думаю, что у вас, в особенности первое время, будет так много работы, что некогда будет ходить по ресторанчикам и слушать влюбленные стихи. Минский — вечный влюбленный, а пора бы уж и перестать в его возрасте.

Ангарский все устроил в тот же день с моим начальством и на другое утро я уже перешла в его контору и принялась за работу. Работы было действительно много; в пустой комнате валялись на полу кучи документов, нужно было заказывать столы, стулья, машинки, все канцелярские принадлежности и разобрать и привести в порядок все документы. Ясно, что невольно мне пришлось отменить мои завтраки с Минским и довольствоваться сандвичами во время работы, но вечера я все-таки продолжала проводить с ним и с Венгеровой, да и не знала, как я могла это прекратить, тем более, что не видела причин к этому и не придавала никакого значения словам Ангарского. Увы, мне очень скоро пришлось убедиться в том, что он прав.

Пришел июль месяц и в Лондоне от жары и духоты некуда было деваться, поэтому я с радостью согласилась на предложение Минского поехать с ним и Венгеровой на морской курорт Брайтон, находящийся в часе езды по железной дороге от Лондона. Решено было ехать в первую же субботу и провести в Брайтоне конец недели до воскресенья вечером. Чтобы не терять времени мы решили ехать прямо из контор, которые закрывались в субботу в 1 дня. Место встречи было назначено в большом холле Виктория Стэшан под большими часами. Приехав на вокзал, я увидала только одного Минского и на мой вопрос: «А где же Зинаида Афанасьевна?», он, как мне показалось, немного смущенно ответил: «У нее срочная работа и она может приехать только завтра утром». Это меня не удивило, так как я часто выходила с Минским вдвоем. Венгерова отказывалась нас сопровождать под предлогом срочных переводов. Мы сели в поезд и поехали в Брайтон. Приехав туда, взяли такси и Минский дал адрес какого-то известного ему отеля. Я была в чудном настроении, предвидя купанье в море, взяла с собой даже купальный костюм. Отель оказался довольно шикарным, не похожим на тот, где жил Минский, но тут меня ждало разочарование. Я услышала, что Минский заказывает одну комнату.

А мне комнату, вы не закажете? — сказала я.

Мы будем в одной комнате, у них другой нет свободной.

Как в одной? Я не согласна. Поедем в другой отель.

Тут мы поссорились и это была наша первая и единственная ссора. Минский стал доказывать, что он только для того и приехал, чтобы быть со мной вместе в одной комнате, иначе не стоило и уезжать из Лондона. Когда он сказал — «тебя смущает, что мы не женаты, так пойдем в понедельник, по приезде в Лондон, в Регистрационную контору и зарегистрируемся», то у меня что-то оборвалось в душе. «Мне все равно» говорил Минский «законным браком или не законным, как ты хочешь, но, умоляю, останься здесь со мной».

— Нет, Николай Максимович, ни женой, ни любовницей вашей я не буду, я не для этого сюда приехала.

Я почувствовала, что у меня подступают к горлу слезы и я, бросив его, как гонимая ветром, выбежала из отеля и быстро пошла по направлению к вокзалу. Я чувствовала, что наша друж-

ба кончилась и больше не вернется. Минский меня догнал по дороге, но что он мне говорил и как мы добрались обратным поездом в Лондон я не помню. У подъезда я с ним наскоро попрощалась, не подав руки, и взбежала по лестнице наверх.

— Ужинать придешь? — крикнул он мне вдогонку.

— Нет, не приду, у меня болит голова.

В эту ночь я почти не спала и к утру у меня созрело решение, больше с ним не встречаться. Так как было воскресенье я очень рано вышла из дому и поехала к одной знакомой, с которой мы давно собирались пойти на выставку в Вемблей, но из-за Минского я не могла больше ни с кем тогда встречаться. Когда я выходила из отеля, то меня догнал мальчик из отеля Минского и протянул мне конверт. Узнав почерк Минского, я все еще под впечатлением вчерашнего дня, сердито сунула его, не распечатав, в сумочку. К счастью моя приятельница оказалась еще дома и мы с ней поехали на выставку и провели там целый день. Но мне было не весело и я в 6 часов вечера вернулась домой, не подозревая, что дома меня ждет что-то худшее еще, чем вчера.

— У вас гостя — сказали мне внизу в отеле. Поднявшись к себе в комнату и открыв дверь я увидала сидевшую в кресле Венгерову. По ее расстроенному виду я поняла, что случилось что-то ужасное.

— Где ты была целый день? — встретила она меня, — Николай Максимович пытался покончить с собой этой ночью. Я с ним боролась всю ночь и мне еле-еле удалось вырвать у него тубик с вероналом, рассыпать таблетки по полу и раздавить их ногами. Я все знаю, что у вас вчера произошло в Брайтоне. Он тебе делал предложение?

Я молча кивнула головой.

— И ты ему отказала?

Я опять кивнула головой. Я думала, что она пришла мне делать сцену ревности, но того, что она мне предложила, я никак не ожидала. Со слезами и дрожью в голосе она стала меня просить стать любовницей Минского, если не женой.

— Зинаида Афанасьевна, побойтесь Бога, что вы мне предлагаете? Ведь ему под семьдесят, а мне еще нет двадцати пяти. И ведь я его не люблю, не люблю, не люблю! — истерически повторяла я.

Но ей видно до меня не было никакого дела, она, как поло-

умная твердила: «Мне важно, чтобы он был счастлив, чтобы он был здоров. Сейчас он несчастный, хочет умереть, он болен тобой, но если ты согласишься, то он выздоровеет, ведь это не в первый раз с ним случается, я его знаю. Он не такой как все. Ему нужна любовь для его вдохновения».

Мне невольно вспомнился ответ Минского, когда я его как-то спросила: — А, Зинаиде Афанасьевне вы посвящаете стихи? — Нет, она меня не вдохновляет.

Я не знала, как прекратить эту тяжелую для нас обеих сцену. Я ее целовала, поила водой и готова была на все, чтобы она успокоилась, кроме того, о чем она меня просила.

— А Николай Максимович знает, что вы ко мне пошли? — спросила я ее.

— Он знает, это он меня сам просил, чтобы тебя привести, но он не знает того, о чем я тебя прошу, это я от себя прошу, чтобы спасти его.

Мы обе плакали. Она из любви и жалости к Минскому, я — из жалости к ней. Наконец она успокоилась и ушла, взяв с меня слово, что я приду ужинать. После ее ухода я решила, что у меня есть только один выход — это бежать и как можно скорее, немедленно. Лихорадочно побросав мои вещи в чемодан я пошла заплатить в отель и только вынимая деньги из сумочки, вспомнила, что у меня там письмо Минского, полученное утром. Я распечатала конверт и увидела следующие стихи, без всякого обращения и без подписи.

«Я — могила забытая,  
Бурьяном покрытая,  
Слезами омытая  
Безглазых туч.

Я — имя мертвое,  
Распято-простертое,  
Надгробье стертое,  
Погасший луч».

На другой день я попросила на службе отпуск по болезни и уехала в Глазго. Вернувшись через несколько дней в Лондон я поехала на другой конец Лондона в отель, где жила моя коллега по службе. Минского я больше не встречала и ничего о нем не знала. Как-то, через несколько месяцев, я встретила на Оксфорд стрит Венгерову. Мы остановились и она мне

сказала, что они собираются на-днях венчаться. Я очень обрадовалась, но необдуманно сказала: «Кланяйтесь от меня Николаю Максимовичу и пожелайте ему от меня много счастья, как я и вам желаю». — «Нет, Катюша, ты меня прости, я не только не буду ему от тебя кланяться, но даже не скажу ему, что я тебя встретила. Он теперь успокоился, зачем его опять тревожить».

На этом мы расстались.

Прошло 6 лет.

Зимой 1930/31 гг. в холодный дождливый вечер в Париже я спешила откуда-то домой и спустилась на станцию метро, где села на скамейку в ожидании поезда. Входя в подошедший поезд, я столкнулась в дверях с выходящим из него Минским.

— Катюша!

— Николай Максимович!

Мы, конечно, сразу узнали друг друга. Хотя прошло 6 лет, но он нисколько не изменился, только глаза как-то помутнели и потеряли свою живость. Начались вопросы и распросы: «Что и как?» Он хотел сразу тащить меня в кафе, но я сказала, что меня ждут и согласилась только присесть с ним на несколько минут на скамейке в метро, обещав встретиться на этой же скамейке через два часа и пойти с ним в ресторан ужинать. К моему удивлению, вместо того, чтобы расспрашивать меня подробно о моей жизни, он стал сейчас же рассказывать мне о какой-то своей любовнице, которая, по его мнению, ему изменяет и которую он собирается поймать на месте преступления. Мне стало скучно и неинтересно слушать подробности его любви к какой-то, незнакомой мне, женщине, и я поспешила с ним распрощаться. «Вечный влюбленный» вспомнились мне слова Н. С. Ангарского.

Только уйдя от него, я вспомнила, что ничего не спросила о Зинаиде Афанасьевне. Жива ли она и удалось ли ей в конце концов с ним обвенчаться.

На свиданье я не пошла, и больше мы не встречались.

Не помню, сколько прошло с тех пор времени, когда я прочла в русской парижской газете «Последние Новости», короткую заметку о смерти Минского в каком-то из госпиталей Парижа, что его агония продолжалась 36 часов и что он похоронен на кладбище Пэр-Лашез.

*Е. Мильтон*

## О ДЕЛЕ БЕЙЛИСА\*

В 20-х числах марта 1911 г. в хронике газет появилось известие о жестоком преступлении, обнаруженном в Киеве: на окраинах города было найдено мертвое тело мальчика лет 14-ти, зверски убитого, причем немедленно же было выяснено имя жертвы. Я не обратил особого внимания на это происшествие, т. к. подобных ему происходило ежедневно немало на всей необъятной площади России. Однако вскоре я был удивлен тем нарастающим шумом, что был поднят прессой вокруг этого, казалось бы заурядного, убийства. Из Киева поползли тревожные слухи, поднятые местными не то отдельными монархическими организациями, не то просто погромными элементами, о том, что Андрей Ющинский стал жертвой евреев, убивших его с ритуальной целью. Эти слухи чрезвычайно встревожили местное еврейство, результатом чего поднялась отчаянная полемика между газетами правого и левого направления. Так, в «Новом времени», например, известный публицист Меньшиков в № 13469, 1913 г., разразился обширным фельетоном, грозя

---

\* Автор этих воспоминаний — в дореволюционные тоды начальник уголовного розыска во всей России — Аркадий Францевич Кошко, перу которого принадлежат три тома «Очерки уголовного мира». Эту главу о деле Бейлиса покойный А. Ф. по каким-то причинам не хотел печатать при жизни и она печатается впервые. Биография А. Ф. не совсем обычна. В ранней молодости он вышел в офицеры, но вскоре решил бросить военную службу и перейти в уголовную полицию. Из-за этого решения близкие родственники, включая жену А. Ф., порвали с ним отношения, но уголовный розыск был истинным призванием А. Ф. и в этой работе, постепенно, поднимаясь по служебной лестнице, А. Ф. достиг ее вершины — начальник угрозыска Российской Империи. После революции министр внутренних дел Временного Правительства просил А. Ф. остаться в своей должности, но А. Ф. ушел. При большевиках бежал границу, где и издал свои воспоминания. Скончался А. Ф. на 62 году жизни, в Париже, в 1929 году. Мы получили эту главу из архива А. Ф. от его племянницы Ольги Ивановны Кошко. РЕД.

кровавый культ евреев. Не прошло и месяца, как киевское убийство возросло до размеров всероссийской сенсации. Состоя в ту пору в должности начальника Московской сыскальной полиции и приобретя уже к тому времени некоторую репутацию специалиста по сложным уголовным розыскным делам, я был почти уверен, что Петербург привлечет меня к розыску убийцы Ющинского. Но прошло несколько месяцев, и никто не обращался за моей помощью. Не скрою, что уязвленное служебное самолюбие мое тогда страдало. Текли дни, и, судя по газетным сведениям, киевский клубок не только не распутывался, но появлялись на нем все новые и новые узлы. Однако по чисто профессиональным побуждениям я интересовался этим делом, и, желая быть по возможности в курсе, я решил отправить в Киев своего чиновника Ксаверьева, строго приказав ему не выступать официально, а собирать сведения возможно конспиративнее. Для оправдания его поездки и для общения с местными розыскными органами ему было дано мною официальное поручение по делу о поддельных сторублевках, наводнивших в то время Россию, в том числе и Киев. Между тем, истинная цель предстоящей поездки Ксаверьева стала известной. Вывожу я это из следующего: как-то я ужинал у Яра и сидел в общей зале. Подходит ко мне метр д'отель и осторожно заявляет: «С Вами просит разрешения познакомиться Влас Михайлович Дорошевич. Вон они сидят — за тем столиком». Я по «Русскому Слову» хорошо знал имя Дорошевича и охотно изъявил свое согласие на знакомство. И вскоре к моему столу подошел тучный Дорошевич, представился и, по моему приглашению, сел. Он тотчас же заговорил о деле Ющинского, любезно выражая свое удивление тому, что дело это не поручено мне. Я предложил ему выпить бокал вина, сказав, что здесь не место для служебных разговоров, и что если он хочет поговорить со мной о Ющинском, то пусть пожалует в Сыскальную полицию хотя бы завтра. И я назначил ему час.

Придя ко мне на следующий день, Дорошевич пытался меня интервьюировать, но я заявил ему, что определенного мнения по этому делу не имею пока. Затем Дорошевич прямо обратился с просьбой: «Говорят, что Вы на днях посылаете в Киев Вашего чиновника; так будьте добры, не откажите мне и «Русскому Слову» в большой просьбе. Наша редакция хочет послать в Киев своего сотрудника Падашевского (псевдоним его П. Ашевский). Так вот, быть может Вы разрешите ему вой-

ти в контакт в Киеве с Вашим чиновником, дабы черпать от него сведения для нашей газеты?» — «Видите ли, — отвечал я ему, — я стою в стороне от дела Ющинского и если и отправляю чиновника в Киев, то по делу о фальшивых сторублевках. Впрочем, если мой чиновник сможет быть чем-либо полезен Вашему сотруднику, то я буду этому рад. Быть может, частным образом ему и удастся кое-что услышать от своих киевских товарищей по делу Ющинского». Дорошевич меня поблагодарил, и мы с ним расстались. И, действительно, Падашевский выехал чуть ли не одновременно с Ксаверьевым и получал от последнего кое-какие сведения, сообщая их в «Русское Слово». Эта комбинация не особенно меня устраивала, но волей-неволей пришлось на нее пойти, т. к. начальнику сыскной полиции Москвы чрезвычайно важно поддерживать добрые отношения с прессой.

Несколько месяцев пробыл Ксаверьев в командировке и, вернувшись из нее, привез мне удручающие сведения: действуя неофициально, ему не удалось, конечно, пролить свет на это сложное дело, но из наблюдений своих он вынес впечатление, что все крайне запутано, следствие сбито с толку, часть свидетелей подкуплена, и ряд вещественных доказательств подброшены. Прошли еще месяцы, и неразбериха усиливалась. Местный начальник сыскного отделения Мищук попал под суд и был заменен Красовским. Следователя по важнейшим делам Фененко сменил другой следователь. Следствие направлялось то по одним, то по другим следам, то было уже закончено, то опять направлялось к доследованию. Если в начале этого дела я и был огорчен непривлечением меня к нему, то теперь искренно этому радовался. Ведь возмись я сейчас за него — и в какой бы тупик я попал: не обнаружу я в нем признаков ритуала, и черносотенные круги завопят о том, что я подкуплен евреями; и, наоборот, пойди я по пути ритуала, — и какая травля в прессе с попытками изобличить меня в угодливости, карьеризме и подыгрывании к начальству! Таким образом, я перестал думать об этом деле, считая, что чаша сия меня миновала.

Время летело быстро, т. к. Москва, этот многомиллионный город, беспрестанно выбрасывала на поверхность жизни убийц, воров, мошенников, шантажистов и прочую накипь столичных подонков, и таким образом дела мне было всегда более, чем достаточно. Об убийстве Ющинского, вернее о ходе следствия,

я знал теперь не более рядового москвича, ежедневно читающего газеты. Из них мне было известно, что Бейлис, заподозренный в убийстве, продолжает сидеть в предварительном заключении, что заведующий полицейским розыском Красовский оказался, видимо, подобно Мищуку тоже не на высоте. А новый руководитель дознания, жандармский подполковник Иванов, отбросив многочисленные версии об убийстве, упорно видит его целью ритуал и сообразно с этим направляет дознание.

Как-то летом 1913 года, т. е. за несколько месяцев до судебного разбирательства дела Бейлиса, звонит мне по телефону из Петербурга директор департамента полиции С. Н. Белецкий, предлагая немедленно прибыть по делам службы в столицу. Но каким делам — мне Белецкий не сказал, заявив лишь о желательности моего скорейшего приезда. В эту же ночь я выехал из Москвы, утром прибыл в Петербург и уже днем был у Белецкого. И тут директор сделал вид, что не знает причины моего вызова, но таково было настоятельное желание министра юстиции Щегловитова, к каковому он и рекомендовал мне немедленно явиться. Я решительно недоумевал, — чего хочет от меня Щегловитов? Мысль о киевском убийстве не приходила мне на ум, т. к. следствие о нем велось уже 2 с лишним года без какого-либо моего участия и, как говорили, к тому времени было чуть ли не закончено.

Ровно в 10 часов на следующий день я был у министра. Он не заставил меня ждать и весьма приветливо пригласил в своем кабинете: «Я с нетерпением ожидал Вашего приезда, — сказал он мне, — так как хочу Вам поручить очень ответственную работу. Вы, как я знаю, прекрасно поставили дело розыска в Москве и проявляете в этом отношении своего рода талант. Здесь у меня имеется весь следственный материал по делу Бейлиса. Ознакомьтесь с ним детально и выявите возможно выпуклее все то, что может послужить к подтверждению наличия ритуала. Я прошу Вас ежедневно с утра являться сюда, и здесь, в соседней комнате Вам будет подаваться все дело для прочтения и для заметок. Этот следственный материал я отнюдь не хочу выпускать, хотя бы и на время, дальше этих стен. Вы, конечно, в общих чертах знакомы с делом Бейлиса?» — «Да, Ваше Высочайшее Превосходительство, но в самых общих чертах. В первый год следствия я посылал даже неофициальным образом своего чиновника в Киев». — «Ну, и каково же Ваше мнение?» — «У меня осталось впечатление, что дело крайне сложно и

запутано». — «Вот как! Я бы этого не сказал, но, впрочем, Ваша задача будет заключаться не столько в критике следствия, сколько в подкреплении доказательств вины Бейлиса и наличия ритуала, в котором я ни минуты не сомневаюсь хотя бы на основании неопровержимых доводов крупного авторитета ксендза Пронайтиса, который, по всей вероятности, явится экспертом на процессе и докажет, как я думаю, черным по белому существование у евреев ритуала крови».

— «Слушаю, Ваше Высокопревосходительство. Я подробнейшим образом ознакомлюсь с материалом и по совести выскажу Вам свое мнение».

Щегловитов приветливо простился со мною, заявив, что с завтрашнего дня я могу приступить к работе.

И вот потекло трудное время. Каждый день к 10 часам я являлся на квартиру министра. Усаживался в кресло и принимался глотать протоколы, донесения, письма, свидетельские показания и проч. документы по этому обширнейшему делу, делая на особой тетради мои пометки. Я истратил на эту работу около месяца и написал министру обширнейший доклад. Теперь прошло 15 лет с того времени.\* Некоторые подробности выветрились из моей памяти, вот почему я не пытаюсь детально знакомить читателя со всеми перипетиями этого процесса, да и не к чему, т. к., во-первых, по этому делу имеется и без меня целая литература, а, во-вторых, цель, мной преследуемая в этом очерке, не заключается в пересказе самого течения процесса, а в доказательстве необоснованности и неосновательности обвинения Бейлиса.

Напомню в самых кратких, в самых беглых чертах, как велось следствие по этому делу. 20 марта 1911 г. на окраине города Киева, на усадьбе Бернера, близ кирпичного завода Зайцева, в одной из находящихся там неглубоких пещер, отстоящей в 150-200 саженьях от Нагорной ул., был обнаружен труп мальчика лет 13-14, оказавшегося внебрачным сыном мещанки Александры Приходько Андреем Юшинским, учеником приготовительного класса Киево-Софийского духовного училища. Труп находился в сидячем положении, упиравшись спиной и головой в одну стенку пещеры, с раздвинутыми в коленях ногами в другую. Руки были отогнуты назад и связаны в кистях бичевкой. На теле — рубашка, кальсоны и один носок,

---

\* Воспоминания написаны в 1928-1929 г.г.

другой валялся дальше, также кушак с фуражкой. Над головой, в углублении стены, воткнуто трубкой 5 свернутых тетрадей. На белье сравнительно незначительное количество крови. На трупе имелось около 50 колотых и резанных ран, но в пещере следов крови обнаружено не было. Основываясь на данных вскрытия, вместе с результатами осмотра белья, куртки и фуражки Юшинского, а также пещеры, где был найден труп, врачи-эксперты — Оболенский, профессор Киевского университета по кафедре судебной медицины, и прозектор по той же кафедре Туфанов — пришли к заключению, что смерть последовала от острого малокровия и асфиксии ввиду огромной потери крови и недостатка доступа воздуха через воздухоносные пути. Главная масса крови вытекла через мозговую вену, артерию у левого виска и вену на шее. Большинство ран на голове (7 в теменные кости, 13 в правый висок, 1 в левый) и 10 в шею были нанесены колющим оружием, часть из них поверхностные, другие — глубокие, но ни одной смертельной. Остальные раны были нанесены в туловище, причем были задеты почка, легкое и сердце. Потеря крови от полученных повреждений была настолько значительна, что тело оказалось почти обескровленным. Количество и характер ран свидетельствовали о желании нанести жертве мучения. Орудием причинения повреждений было нечто вроде швейки или стилета. Первые удары Юшинскому были нанесены в голову и шею, последующие — в сердце. Участников убийства было несколько. Отсутствие крови в пещере, положение тела убитого и наличие глины и сухих листьев, приставших к кальсонам сзади, указывают на то, что Юшинский был убит в другом месте, а затем перенесен в состоянии трупного окоченения в пещеру. Спрошенный по этому вопросу профессор Косоротов подтвердил мнение вышеприведенных экспертов, разойдясь с ними, однако, в вопросе о преднамеренном мучительстве. «Будь оно налицо, — говорил Косоротов, — и ранения имелись бы в наиболее болезненных местах тела, например, под ногтями».

По надписям на тетрадах, а также и на внутренней стороне кушака, было тотчас же установлено имя жертвы.

До мая месяца 1910 г. Юшинский жил с матерью и отчимом, Лукою Приходько, в Киеве, в части города, именуемой Лукьяновкой, где находилась усадьба Бернера, затем переселился в Слободку, по ту сторону Днепра, под самым Киевом. Туда же переехала его бабушка, Олимпиада Нежинская, и тет-

ка, Наталья Юшинская. Андрей часто у них бывал. Состоя учеником Киевского духовного училища, Юшинский ежедневно бывал в Киеве и нередко заходил на Лукьяновку повидаться с прежними друзьями, особенно с Женей Чеберяковым. 12-го марта Андрей, как и всегда, встал в 6 ч. утра, съел тарелку постного борща и отправился в школу. У Днепровского моста и в Слободке его видели в это утро некие Пушка. Однако в этот день в школе он не был. К ночи домой не вернулся, и мать предположила, что сын ночевал в городе, у родных. Однако и на другой день Андрей не явился, и встревоженная мать (Приходько) кинулась на поиски. Нигде не найдя сына, заявила о том начальству духовного училища и поместила извещение об исчезновении сына в местной газете «Киевская Мысль». Несколько дней Юшинский не находился, и, наконец, его мертвое тело было обнаружено в пещере. При вскрытии трупа в желудке его оказался все тот же постный борщ с кусками непереваренного картофеля, что по мнению производивших вскрытие доказывало, что смерть наступила не позднее как через 3-4 часа после принятия пищи.

Будь это дело предоставлено естественному ходу судебного следствия, надо думать, что как убийцы, так и мотивы, руководившие ими, были бы обнаружены. Но дело Юшинского сразу потекло необычным порядком. Лишь только тело Андриюши было найдено, как немедленно расползлись по городу сначала неуверенные слухи, а затем и клятвенные уверения, что Юшинский пал под ударами евреев, жаждущих христианской крови. Уже в день похорон Юшинского, то есть на его свежей могиле, равно как и по всему городу разбрасывались сотни печатных прокламаций ультра-погромного содержания, призывающие к кровавой мести по отношению к евреям за смерть замученного ими младенца. Неудивительно, что подобная пропаганда всколыхнула еврейство. Помня ужасы недавних погромов, евреи напрягли все свои силы не только для того, чтобы доказать свою непричастность к смерти Юшинского, но и для обнаружения истинных убийц. Правда, попытки их оказались безуспешными — убийца не был найден. Быть может, вследствие паники, ими овладевшей и заставившей их выказать в этом деле усердие не в меру, они не только не рассеяли дела, но затемнили его множеством разнообразных версий, десятками ненужных свидетелей, попытками подкупов и т. п. Эти напуганные на смерть люди судорожно хватались за все, что

могло доказать их невиновность и отвести от них надвигавшуюся бурю, причем ради своего спасения они не брезговали никакими средствами. Первым добровольным радетелем еврейских интересов явился Борщевский, сотрудник «Киевской Мысли». Придя к судебному следователю 22 марта, он заявил, что Приходько, помещавшая публикацию о пропаже сына, вела себя в конторе газеты весьма странно: улыбалась, шутила и вовсе не казалась огорченной. Это заявление Борщевского было вскоре опровергнуто рядом свидетелей, показавших обратное. Тем не менее, начальник Киевского сыскного отделения Мишук арестовал мужа и жену Приходько и произвел на их квартире обыск. Обыск ничего не дал, и Приходько через неделю был освобожден. В мае месяце явился второй сотрудник «Киевской Мысли», Ордынский, и, ссылаясь на ряд свидетелей, главным образом на некую прачку, Ольгу Симоненкову, рассказал, что в день убийства видели на Днепровской набережной обоих Приходько с каким-то тяжелым мешком. Указанные Ордынским лица были допрошены, и прачка Симоненкова пердала, что слышала от людей на базаре, будто Приходько нанимали извозчика, грузили на него тяжелый мешок и перевезли свою тяжесть из Слободки в город. По тем же темным слухам народная молва обвиняла обоих Приходько в убийстве Юшинского с целью воспользоваться 2.000 руб., положенными, якобы, на его имя его отцом Чирковым, жившим в незаконном браке с Ал. Приходько, носившей в ту пору фамилию Юшинской. Чирков уже несколько лет как бросил Приходько и своего незаконного сына. Все эти слухи были проверены, и таинственная поездка с мешком никем не была доказана, равно как и денег, якобы положенных на имя Андрея, не оказалось. К этим опровергнутым версиям вскоре присоединилась еще новая. Заговорили о том, что Юшинский стал жертвой Чеберяковой (мать его приятеля Жени), личности крайне темной, постоянно общавшейся с профессиональными ворами и мошенниками. Эта теплая компания будто бы и убила Андриюшу с целью устранить опасного свидетеля их преступной деятельности. Вскоре и эта версия была изменена, по крайней мере мотивы, якобы побудившие Чеберякову с ворами убить Юшинского выставлялись иными, а именно: инсценировать ритуальное убийство, вызвать этим еврейский погром и, воспользовавшись паникой, пограбить. Но на этом не кончилось; крещеный еврей Брейтман, издатель «Последних Новостей», ука-

зал на цыган, которым кровь Юшинского, будто бы, пондобилась вследствие существующего у них, по его словам, поверия в целебном свойстве крови. Если евреи и порождали все новые и новые версии, отводящие следствие от мысли о ритуале, то черносотенно-настроенная киевская молодежь, желающая верить, а может быть и искренно верящая в наличие в этом деле ритуала, в свою очередь, делала все, чтобы направить следствие по желаемому для нея пути. Также по словам Ксавьерьева, выходило, что если еврейство и мобилизовало капитал и любой ценой готово было откупиться от возводимого на него обвинения, то и правительство, со своей стороны, не оставалось безучастным и беспристрастным зрителем перед развертывающимися событиями. Весь город как бы поделился на две враждующие части. На улицах и в городских садах — чуть ли не единая тема разговоров убийство Юшинского. Часто происходили перебранки, иной раз дело доходило до рукопашных схваток. Очень характерно, что Ксавьерьеву пришлось однажды на Крещатике (главной улице), во время очередного спора двух групп, услышать возглас: «Подождите, жидовье и их приспешники, ужо наш Кассо вам покажет!» Ксавьерьев неоднократно в Киеве слышал, как упоминалось имя министра Народного просвещения, уроженца местного края и крупного бессарабского помещика, хотя получившего свое среднее образование, и кажется высшее, во Франции. По городу ходили слухи об отправке правыми организациями каких-то тайных курьеров к Кассо и о живейшем интересе, проявляемом этим последним к делу Юшинского.

Мишук, с места в карьер попавший в обработку сотрудников «Киевской Мысли», принялся действовать по их указке: он арестовал и явно неповинных Приходько, и с жаром ухватился за версию об убийстве ворами с целью устранения опасного свидетеля. Мишук в этом отношении, лезя из кожи, перусердствовал и, будучи уже отстраненным от заведывания полицейским розыском, но стремясь доказать вину Чеберяковой, подбросил мнимые вещественные доказательства, влопался с этим и, осужденный судебной палатой, был лишен «особых прав и преимуществ». Его сменил Красовский, потянувший сначала следствие в противоположную сторону. Красовский стал чутко прислушиваться к тому, что говорилось в правых кругах Киева, и обратил свое сугубое внимание на завод Зайцева на Лукьяновке. Он заявил следствию, что некий Шаховской ви-

дел в день убийства, как Мендель Бейлис, местный служащий кирпичного завода Зайцева, спугнул с мяла детей Чеберяковой, Ющинского и других. Красовский с одним из приставов в июле месяце произвел обыск у Бейлиса, и хотя обыск ничего не дал, но тем не менее жандармские власти арестовали Бейлиса, причем Красовский тут же выразил уверенность и в виновности Бейлиса и в наличии ритуала. После ареста Бейлиса Красовский совершенно неожиданно изменил свою точку зрения и круто повернул полицейский розыск вновь на Чеберякову, каковая была арестована. Первого августа когда мать находилась в тюрьме, заболели и вскоре умерли ее дети — Женя и Валя. Красовский пытался объяснить смерть детей отравлением, инсинуируя вину матери. Поведение Красовского в этом отношении вообще странно. Вскрытие обнаружило, что дети умерли от дизентерийных бацилл в конфетах, съеденных детьми. Конфеты же и пирожные, как известно, были принесены им Красовским. Этот кошмарный вопрос так и остался невыясненным. Быть может, Красовский и неповинен, но не следует забывать, что умершие дети могли явиться опасными свидетелями против Бейлиса, что вовсе не входило в планы изменившего к этому времени фронт Красовского. Не менее странно было поведение и самой Чеберяковой. Для чего ей было мешать умирающему сыну раскрыть душу на исповеди перед священником? Ведь если бы Женя назвал Бейлиса, то этим самым он снял бы подозрение с матери. Очевидно, Чеберякова боялась иных признаний. Этот крайне важный вопрос также не был в должной мере освещен.

Предварительное следствие по делу Ющинского было закончено 5 января 1912 года, и вместе с составленным 10 января обвинительным актом о Бейлисе получило дальнейшее движение; а 18 января к прокурору Киевского окружного суда поступило заявление по этому делу от сотрудника газеты «Русское Слово» и «Киевская Мысль» Бразуля-Брушковского. Он, якобы, с самого начала следил за делом Ющинского и, указывая на целый ряд лиц и подробностей, полагает, что Ющинский убит шайкой преступников (называет фамилии), возглавленной, будто бы, отчимом Андриюши—Приходько, из опасения, что мальчик их выдаст властям, а для направления следствия по ложному пути ими инсценировано ритуальное убийство. От этого заявления Бразуль вскоре отказался, заявив, что сделал его «из тактических соображений», желая внести раздор в

среди преступников. Но 6-го мая тот же Бразуль сделал уже письменное заявление заведующему в это время производством розысков об убийстве Ющинского жандармскому подполковнику Ивану о том, что Ющинский убит, опять-таки, ворами, но на этот раз он назвал новые фамилии и, в первую очередь, Веру Чеберякову. Вместе с тем в этом заявлении Бразуль приводит множество подробностей, ссылаясь на ряд свидетелей, указывает целый ряд существенных обстоятельств, в результате чего законченное следствие возобновляется, а срок, уже назначенный для слушания дела Бейлиса, т. е. 17 мая 1912 г., откладывается на неопределенное время. Из дополнительного следствия выяснилось, что Бразуль собирал свои сведения, пользуясь услугами Выгранова, Красовского, Махалина и Караева — лиц, в общем мало внушающих доверие.

Следственными властями было допрошено множество свидетелей, нередко дававших самые сенсационные показания. Одни из них, например Екатерина Дьяконова, то утверждала, что самолично слышала признание Чеберяковой в убийстве Ющинского, то, видоизменив свое показание, заверяла, что слышала это от третьих лиц; другие, например, Малицкая, живущая в квартире под Чеберяковой, до заявления Бразуля показывала на допросе, что ничего не знает по делу Ющинского, а после выступления Брушковского утверждала, что в день убийства слышала шум и какие-то детские крики, причем раз назвала вечерние часы, а раз утренние. Были и такие свидетели, которые удостоверили, что видели Ющинского в квартире Чеберяковой утром, накануне дня убийства, причем по проверке оказывалось, что в эти часы Ющинский находился в училище. Словом, создавалось впечатление, будто все свидетели явно недобросовестны и лгут напрапалую.

Среди этих многочисленных документов находился довольно объемистый доклад чиновника департамента полиции К., специально командированного для этого дела в Киев. Я не называю его фамилии полностью, т. к. он в настоящее время проживает во Франции и просил меня не предавать его имени гласности в этом очерке.\* Чиновник К. в своем докладе держался приблизительно того взгляда на произведенную следствием работу, что не усматривает достаточно данных как для привлече-

---

\* Г-н Кунцевич, ныне покойный (3 ноября 1966 г., Париж).

ния Бейлиса к ответственности, так и для заподозривания наличия ритуала в этом убийстве.

Около месяца разбирался я в этом огромном материале, старательно изучал его и, составив обширнейший доклад, вновь предстал перед министром юстиции. Щегловитов и на этот раз принял меня приветливо, вернее говоря, начало моего доклада он выслушал относительно спокойно, но по мере того, как я излагал ему свои соображения, лицо его темнело. Я приведу почти дословно мой тогдашний разговор с ним, столь взволновавший меня во всех отношениях.

— Садитесь пожалуйста, — сказал он мне, — я надеюсь, Вам удалось пролить свет на дело, интересующее весь мир.

— К сожалению, Ваше Высокопревосходительство, произведя порученную мне работу, я не изменил своего первоначального мнения.

— То есть? — сухо спросил он.

— Я, как и прежде, нахожу, что следствие велось неправильно, односторонне и, я сказал бы даже, пристрастно.

— В чем же Вы видите неправильности? — перебил он.

— Следствие разбрасывалось: не обследовав, как следует, один путь, оно с легкостью перебрасывалось на второй, третий и т. д.

А как бы повели Вы это дело? — спросил он не без иронии.

— Сейчас я затрудняюсь Вам на это ответить с уверенностью, но меня поразило одно обстоятельство, а именно: по данным экспертизы было установлено, что тело Юшинского, уже мертвого, было перенесено в пещеру. Этот факт можно считать установленным, и, помимо экспертизы, он устанавливается хотя бы тем, что убитый был в одном белье — исчезли куртка, брюки и пальто. Само собою разумеется, что Юшинский не мог быть заманен в пещеру в одном белье. Уносить же платье из пещеры, убийцы, конечно, не стали бы. К чему оно им? Далее, по вскрытии было обнаружено, что смерть последовала через 3-4 часа после принятия пищи (постного борща). Установлено, что борщ этот был съеден Юшинским в 6 час. утра, перед уходом в школу. Таким образом, мальчик был убит в 9-10 часов утра. Период трупного окоченения, как известно, длится 6-8 часов. Между тем, экспертизой установлено, что Юшинский был перенесен в пещеру в состоянии окоченения. И лишь позднее поставленный к стенке труп ополз, согнув-

шись в коленях. Таким образом, тело Ющинского могло быть перенесено в пещеру в период времени от 9 или 10 час. утра и до 6 или 7 вечера, не позднее, иначе говоря — среди бела дня. Где бы Ющинский ни был убит, но трудно допустить, чтобы никто, решительно никто не видел, как несли тело раздетого мальчика к пещере. И мне кажется, что в этом отношении следовало бы напречь все силы и все внимание розыска, опросить всех без исключения жителей как Слободки, так и завода Зайцева и его окрестностей. Между тем, что было сделано в этом отношении? Плохо проверенная болтовня прачки, какой-то мешок, какой-то неразысканный извозчик. Словом, так — поговорили, кое-кого порасспросили и бросили.

Затем — как мало было обращено внимания на более чем подозрительное поведение Чеберяковой при смерти ее детей! Ведь один из них перед самой смертью все порывался что-то рассказать, а мать своими нудными поцелуями препятствовала этому. Спрашивается, — чего боялась Чеберякова? Ведь не рассказа ребенка о том, как, якобы, Бейлис схватил и тащил Ющинского куда-то с мяла? Чеберячка сама обвиняет евреев. Очевидно, она боялась разоблачения истины, не совпадавшей с данными, добытыми следствием.

Что же касается Бейлиса, то, скажу Вам откровенно, я никогда бы не нашел возможным арестовать и держать его годами в тюрьме по тем весьма слабым уликам, что имелись против него в деле: волосы из бороды. Но клочок волос не есть дактилоскопический отпечаток, и найденные волосы могли с полным успехом принадлежать и не Бейлису, а любому курчавому брюнету, каковых на свете немало. Показания детей и Шаховского очень неопределенны и противоречивы. Представляется весьма мало вероятным, чтобы Бейлис, идя на столь страшное дело, схватил бы Ющинского на глазах у детей, так сказать, чуть ли не на честном миру. Неужели же он не мог выбрать более удобного момента и способа? Тем более, что в день убийства завод Зайцева работал полным ходом.

Тут Щегловитов меня резко перебил: — Из Ваших слов я вижу, что евреи на предстоящем процессе не нашли бы лучшего защитника, чем вы!

— Я отнюдь не собираюсь защищать евреев, а лишь по долгу совести докладываю Вашему Высокопревосходительству мое совершенно объективное мнение.

— Ну, предположим, что это так. Допустим на минуту,

что Бейлис не виноват. Но наличие ритуала в данном случае для Вас очевидно?

— Нет, совершенно не очевидно. Обескровление тела? Но получив с полсотни ран, Ющинский, конечно, потерял много крови; но была ли она пролита или собрана, — это невыяснено.

— Однако значительных следов ее в пещере не оказалось.

— Конечно, потому что убийство было произведено не в пещере.

— Но кому же, как не евреям, могла понадобиться эта смерть, да еще сопряженная с утонченным мучением?

— Не забывайте, Ваше Высокопревосходительство, что по вопросу о мучениях голоса экспертов поделились. Что же касается цели убийства и виновников, то и по следственному, далеко не совершенному, материалу имеется несколько версий: может быть Чеберячка с сообщниками, может быть Приходько, может быть половые психопаты. Во всяком случае, еще раз повторяю, что в корне испорченное следствие не дает нам возможности сколько-нибудь определенно ответить на этот вопрос.

— Но если Чеберячка виновата, — заявил министр, — то почему же тело не было скрыто, сожжено, брошено в Днепр, а чуть ли не демонстративно выставлено напоказ?

Я ответил: — Чеберячка с компанией, пользуясь антисемитскими настроениями, издавна царившими в Киеве, могла инсценировать ритуал; свалив вину на евреев, она скорее бы и успешней отвлекла от себя подозрение, чем прибегая к обычному приему уничтожения тела жертвы.

Щегловитов возразил: — Это так же мало вероятно, как и предполагать, что Ющинский стал жертвой каких-то людей демонического темперамента.

— Отчего же? И эта версия мне кажется возможной. Вашему Высокопревосходительству, конечно, известен тот скандал на почве нравов, что так недавно разыгрался в Киевском корпусе, результатом которого было смещение его директора? Между тем, опыт говорит, что такие половые психозы вспыхивают эпидемически и очень заразительны, а посему и Ющинский мог стать пассивной жертвой этой эпидемии.

Словом, все и все, что угодно, кроме Бейлиса и ритуала?

Отчего же, может и Бейлис, но ритуал вряд ли. Позвольте мне в этом отношении изложить свои соображения. Я

еще раз позволяю себе указать, что материал следствия недостаточен. Излагая Вам мое убеждение, я буду основываться не на нем, а на доводах моего служебного опыта и привычки логически мыслить. По моей обширной служебной практике я имею основание утверждать, что евреи-преступники, как никто, умеют прятать концы в воду, заблаговременно и весьма продуманно подготавливая себе алиби. С другой стороны, евреи прекрасно осведомлены о тех юдофобских настроениях, что таким пышным букетом расцвели за последнее десятилетие. Они не забыли и страшатся той волны погромов, что еще так недавно прокатилась по России. Как при таких условиях предположить, что евреи, убивая Ющинского с ритуальными целями, выбрали бы для этого город Киев с его многочисленными монархическими, антисемитскими организациями, как Союз Михаила Архангела, Союз русского народа, Двуглавый орел и т. д.? Как предположить или, вернее, как объяснить, что выбор их жертвы пал не на бездомного сироту, а на мальчика, многим хорошо известного? Наконец, как согласовать противоречия: страх перед погромами, с одной стороны, и оставление чуть ли не визитной карточки (в виде обескровленного тела и 13 ран на виске и темени), с другой?

— Вы, видимо, совершенно незнакомы с обрядовой стороной этого кровавого культа. В том-то и дело, что этот мерзкий культ требует и опознания тела и похорон жертвы согласно христианскому обряду. Таким образом, известный элемент демонстративности весьма присущ ритуальным убийствам.

— В таком случае мы попадаем в новый круг логических противоречий: если, положим, высказанное Вашим Высокопревосходительством действительно существует, то чем же объяснить тот шум, то страстное стремление, которое проявило еврейство в целом, для того, чтобы доказать всему миру, что не только Ющинский не их жертва, но и что вообще ритуал есть злостная и предумышленная клевета на еврейство? Ведь что-нибудь одно: либо афишировать, либо хранить тайну, среднего решения быть не может.

Щегловитов на минуту задумался, а затем продолжал:

— Говоря о ритуале, я не обвиняю еврейство в целом, а предполагаю лишь существование известной изуверской секты в нем, практикующей культ крови. Бейлис со своими сообщниками мог принадлежать к этой секте, а отсюда и кажущееся противоречие в действиях.

Это предположение не разбивает моих заключений. Допустим, что такая секта и существует. Но всем известна еврейская сплоченность, независимо от их разных религиозных толков, — вот почему и сектант Бейлис никогда бы не стал подвергать своих братьев огромной несомненной опасности, упорно преследуя свои фанатические цели, тем более, что и надобности в этом не было. Требования опознания и похорон тела могли бы быть в точности исполнены и в том случае, если бы место действия было перенесено из Киева в какую-либо дальнюю глухую деревушку. Неужели сплоченный Израиль, обладающий огромными материальными средствами, в тонкости на практике постигший конспирацию, не сумел бы заранее наметить жертвы без рода и племени?

Щегловитов нервно встал и сердито сказал:

— Мы, видимо с Вами говорим на разных языках. Я очень жалею, что обратился за Вашей помощью. Надеюсь, что будущий приговор присяжных поколеблет Вас в Ваших юдофильских воззрениях. Честь имею кланяться! — И, не подав мне руки, разгневанный министр отпустил меня.

С тяжелым сердцем возвращался я в Москву, полагая, что не только карьера, но и служба моя кончена. Того же мнения был и московский градоначальник генерал Адрианов, которому я рассказал о моем посещении министра юстиции. Адрианов даже усугубил мою тревогу рассказом о том, что небезызвестный и в ту пору полковник Комиссаров, начальник пермского жандармского управления, как-то посетил его в Москве и, разговарывая о деле Бейлиса, конфиденциально сообщил, что правительство чрезвычайно заинтересовано киевским убийством и что, в частности, министры народного просвещения и юстиции, не сомневаясь в наличии ритуала, из политических видов придают огромное значение тому, чтобы вина Бейлиса и ее религиозные мотивы были бы на суде доказаны. О моральной физиономии Комиссарова я немало слышал от моего брата, тогда губернатора Пермской губернии, крайне тяготившегося пребыванием у него Комиссарова во главе Жандармского управления. Но в данном случае Комиссарову не было цели лгать; кроме того, сведения, привезенные из Киева Ксавьерьевым, да и мой недавний визит к Щегловитову не оставляли во мне сомнений в правдивости его слов. Итак, я не оправдал надежд Щегловитова, не дав ему новых доводов, изобличающих Бейлиса.

Однако мои опасения не сбылись, и Щегловитов, не то поколебленный искренностью высказанных мною соображений, не то просто удовлетворенный решением вскоре состоявшегося суда, мне не мстил. Не прошло и года, и я получил даже повышение, будучи назначен в Петербург заведывать всем уголовным розыском Империи; притом, по словам вновь назначенного директора департамента полиции Брюна-де-Сент-Ипполита, Щегловитов обо мне отзывался хорошо.

### СУД НАД БЕЙЛИСОМ

На основании крайне несовершенного следственного материала, о котором я говорил выше, был составлен обвинительный акт, чтение которого и началось на суде в Киеве. Глубоко был прав присяжный поверенный Карабчевский, патетически воскликнувший в своей защитительной речи: «Мы в этом процессе плывем без руля и без ветрил!»

Плавание это началось в 20-х числах сентября 1913 года. Председателем суда был Бондырев; обвинял товарищ прокурора Петербургской судебной палаты Виппер. Поверенные гражданской истицы, матери убитого Юшинского, — московские адвокаты Шмаков, Дурасевич и член Государственной думы Замысловский. Защищают подсудимого Маклаков, Грузенберг, Карабчевский, Зарудный, Григорович-Барский. На скамье подсудимых — одинокая фигура мещанина Менахема Менделя Тезьева Бейлиса. Из 26 присяжных 8 ходатайствуют об освобождении от обязанностей по разным причинам. Суд освобождает двух, остальные бросают жребий, и избираются 12 заседателей (7 крестьян, 2 мещанина, 3 мелких чиновника — все православные). Старшиной выбирается губернский секретарь Мельников. Выясняется, что из 219 свидетелей не явилось 34. Не явились также 3 эксперта.

После двухчасового чтения обвинительного акта председатель задает Бейлису обычные вопросы и спрашивает, признает ли себя подсудимый виновным. Бейлис отвечает: «Нет, Ваше Превосходительство, я — бывший солдат и всю мою жизнь честно работал, честным трудом, отпускал кирпич, думал только о своей семье, о жене и детях. Меня арестовали и держат вот уже 26 месяцев, не знаю, за что».

Зарудный от имени защиты заявляет, что конвойная стража, в противность закону, не позволяла защитникам видиться с обвиняемым с глазу на глаз, что защита ходатайствует перед

судом об изменении этого незаконного порядка и, в случае отказа, просит это обстоятельство занести в протокол. Обвинитель не протестует, и суд удовлетворяет ходатайство защиты. Далее начинается нескончаемый опрос многочисленных свидетелей. Показания их крайне сумбурны, сбивчивы, противоречивы; говорят за Бейлиса, говорят против. Выплывают зловещие, уничтожающие показания, направленные вовсе не против обвиняемого, а по адресу лиц, как принимавших участие в розысках, так и просто ныне фигурирующих в качестве свидетелей. Ряд свидетелей в своих показаниях на суде противоречат тому, что говорили на предварительном следствии; более того, некоторые из них в течение всего многонедельного судебного разбирательства принимают отказываться от того, что говорили на суде вчера. Наконец, сам прокурор взмолился, прося суд запретить ежедневным органам печати оглашать свидетельские показания, т. к. подобный порядок ведет к тому, что свидетели, не склонные вообще к подробным показаниям и, словно чего-то опасаясь, стремятся подогнать свои свидетельства к свидетельствам, сделанным уже другими. Суд прокурору отказал.

Много дней уходит на экспертизы, каковых было три: 1) медицинская, 2) психиатрическая, 3) богословская. Мнения экспертов так же разнились друг от друга, как и показания свидетелей. Так, например, лейб-медик профессор Павлов, уличая своих коллег в невежестве, договорился до того, что не только не признал ни признаков ритуала, ни наличия мучений, но и предположил даже присутствие приятных переживаний у убиваемого Юшинского. Это более чем странное заявление звучит не убедительнее, чем противоположное мнение богослова Пронайтиса, — попытавшегося научно обосновать как самый обычай употребления евреями крови, так и ряд обрядовых подробностей, связанных с ритуалом. Пронайтис весьма подробно говорил о существующей по этому вопросу обширнейшей литературе, ссылаясь на ряд древнейших книг, но вместе с тем не смог привести названия ни одной из них, по предложению защиты. Между этими двумя крайними и противоположными мнениями раздался голос экспертов, менее категорично высказывающихся. Так, например, эксперты-психиатры — проф. Бехтерев, Сикорский и доктор Карпинский — совершенно разошлись во мнениях. Бехтерев и Карпинский утверждали, что Юшинский был без сознания, что убийцы действовали афек-

тировано до автоматичности, что в расположении ран не было никакой закономерности. ●ба они в данном случае категорически отвергают ритуал. Профессор Сикорский утверждает обратное: Ющинский был в памяти, убийцы действовали не в состоянии аффекта, а хладнокровно, и имели какие-то специальные цели. Профессор петербургской Духовной академии Троицкий категорически расходился с Пронайтисом: ни в Библии, ни в Талмуде, ни в законах Моисеевых — нигде, по его словам, не имеется указания на употребление человеческой крови евреями с религиозной целью. Свидетельство монаха Неофита об употреблении евреями человеческой крови при печении мацы проф. Троицкий счел фантастическим бредом. Академик Коковцев, также вызванный в качестве эксперта по богословским вопросам, говорит приблизительно то же, что и проф. Троицкий.

Наконец, допрос свидетелей был кончен, мнения разнородных экспертов выслушаны, и начались прения сторон.

Поднялся прокурор Виппер и с несомненным подъемом произнес свою речь. Он с убеждением говорил о еврейском засилии, о власти еврейского капитала, о проникновении евреев во все поры государственной жизни. С дрожью в голосе упоминал о мученической кончине Ющинского. Разбираясь в следственном материале и в показаниях свидетелей, он признался, что многим из них скорее место на скамье подсудимых, чем в свидетельских рядах. Прокурор в начале своей речи обещал быть беспристрастным, но обещания не сдержал. Вряд ли могут быть признаны беспристрастными фразы, подобно следующим: «Спокойно нельзя говорить об истязании близкого нам своим страданием Андрюши Ющинского. Убийство совершенно злодеями, не обыкновенными людьми. Его не только истязали, но добывали кровь, совершили обескровление тела маленького мученика. Цель их была не столько мучения, сколько добыча крови. Наглумившись над телом Андрюши, убийцы положили его в пещеру точно напоказ, точно говоря: вот, смотрите, — наша власть — доказательство нашей силы, никто не может судить нас. Мы всемогущи! Мы безнаказанны!»

Вот почему мне кажется, что Карабчевский имел полное основание характеризовать речь прокурора как «сплошной вопль о мести».

От имени истицы говорил Замысловский, предполагая

убийцами или Бейлиса или Чеберякову. Шмаков, второй представитель истицы, называл убийцами и того, и другую.

Первым от имени защиты говорил Маклаков, всячески обвиняя Чеберякову. Он подробно разбирает ход следствия и указывает на его несовершенства. Одним из главных аргументов, выдвигаемых против Чеберяковой, было поведение последней при смерти сына. Чеберякова продолжала просить умирающего сына: «Скажи, что я невинна!» — «Оставь, мама, мне тяжело!» — отвечал мальчик.

Этот аргумент, хотя и психологический, но весьма веский. Маклаков не видит достаточных поводов для обвинения Бейлиса и замечает очень основательно, что если бы дети, игравшие с Андрюшей на мяле, действительно видели бы, как Бейлис тащил Юшинского к печи, то рассказали бы об этом, конечно, всему околотку. Между тем, этого не случилось. Но почему? Прокурор говорит — не знаю. Я же отвечаю: потому, что этого не было! — с пафосом восклицает Маклаков.

За Маклаковым говорит Грузенберг. Огромный темперамент, железная логика и неподдельная вера в невинность подсудимого производят сильное впечатление. Грузенберг заявляет, что первым требовал бы применения смертной казни ко всякому еврею, пролившему невинную детскую кровь с ритуальной целью; и более того, верь он, Грузенберг, в существование у еврейства ритуала, — он готов был бы отречься от своего народа. Детально анализируя все обстоятельства дела, Грузенберг неизбежно приходит к выводу о виновности в нем Чеберяковой и работавших с ней заодно воров. Этот защитник отрицает инсценировку ритуала, утверждая, что убийство совершено по самостоятельным мотивам (устранение опасного свидетеля), а затем использовано (кем точно — Грузенберг не говорит) с провокационной целью. Обвинительный материал против Бейлиса Грузенберг не без основания считает крайне слабым: показания детей очень разноречивы, т. к. некоторые из них заявили, что не Бейлис, а сын Бейлиса гнал их с мяла и смеялся; другие же отрицали и самый этот факт. Очень показательно, по его словам, что кирпичный завод Зайцева в утробе

убийства работал полным ходом, а, следовательно, перенесение в пещеру тела Юшинского вряд ли могло бы пройти незамеченным. С горечью в голосе, сильно волнуясь, Грузенберг восклицает: «Я измучен! Против чего защищаться? Мы задавлены мелочами, мы словно стоим на тонком льду и мечемся во

все стороны, а за спиной сидит семья, которая должна погибнуть... Улик нет, а Бейлиса ждет 20 лет каторги».

Грузенберг с восхищением говорит о матери Андриюши, называя ее святой женщиной и указывая, что при всей глубине горя, ее постигшего, она не поддавалась навеянному гипнозу и в смерти сына не винит евреев.

За Грузенбергом выступил Зарудный. Этот оратор не пытается разобраться подробно в следственном материале; почти всю свою речь он посвящает вопросу о психологическом настроении, невольно создавшемся против

Здесь на суде патетически говорилось и вообще, и о власти еврейского капитала, и о заполнении евреями прессы, в частности; но Зарудный призывает не поддаваться этому настроению и судить Бейлиса,

Карабчевский, выступивший после Зарудного, произносит как всегда красивую, полную образов

предыдущих ораторов, он указывает на ничтожность и шаткость улики, собранных против

находит, что, по имеющимся данным и свидетельским показаниям, надлежит предположить, что Ющинский

Чеберяковой ею и шайкой воров, с

на крайнее несовершенство всей следственной

запутанном (вольно и невольно) деле, Карабчевский уподобляет судебное разбирательство кораблю, плывущему без руля

По окончании прений председатель Бондырев делает подробное резюме. На решение присяжных заседателей суд предлагает 2 вопроса, смысл которых заключается в следующем: 1) признается ли в данном случае наличие убийства на заводе Зайцева с ритуальной целью (слово ритуал в вопросе не упоминалось, а вытекало лишь из общего смысла); 2) если да, то является ли подсудимый Бейлис виновником этого убийства.

На первый вопрос присяжные ответили **положительно**, на второй **отрицательно**. Но кто были вершителями этого мировой важности вопроса? Семь крестьян, два мещанина и три мелких чиновника, — все двенадцать, как известно, православные. По социальному своему положению и по религиозным верованиям состав присяжных подобрался как для подсудимого, так и для еврейства вообще, неблагоприятно. Русское крестьянство никак не может быть заподозрено в юдофильстве, скорее наоборот, или вообще в равнодушии к еврейству. Двое

мещан, надо думать, тоже далекие от либеральствующей интеллигенции, проводили свою жизнь скорее среди ремесленников, мелких лавочников, и уже, конечно, по положению своему ближе стояли к погромным кругам, чем к элементам, ратующим за евреев. Оставляя под знаком вопроса чиновников, мы можем с большой вероятностью утверждать, что по крайней мере от 9 судей из 12 Бейлису ждать пощады и снисходительности не приходилось. И, тем не менее, Бейлис был оправдан.

*Париж, 8 сент. 1928 г.*

*А. Ф. Кошко*

# 1917-Й ГОД\*

## ЗАПИСИ

У меня немного больше свободного времени. Газета «Без лишних слов» прекратила свое существование, и мне не надо больше бывать по утрам в редакции, вернее в квартире Л. М. Добронравова, который любезно предоставил для редакции одну комнату в своей изящной квартире. Какая превосходная статья в последнем номере «Без Лишних Слов»: «Привет вам, Чудо-Богатыри!», с каким сарказмом, с какою болью в сердце он говорит о бегстве солдат с фронта. Какие сильные, но простые слова нашел он!

Большевики не унимаются. То там, то здесь устраивают местные восстания. На языке Советов это «борьба политических идей».

Вчера за Ал-ским приехали офицеры с форта Красная Горка, просили его выступить перед гарнизоном. Муж еле держался на ногах от усталости, но поехал. На этот раз с ним поехала и я. Я измучилась все эти дни ждать его возвращения. В Красной Горке на огромной площадке, свободной от построек, была выстроена трибуна. Первым говорил Ал-ский. Несмотря на усталость, на бессонные ночи, он говорил с подъемом, нервно, горячо. Солдаты слушали молча, угрюмо. При виде этого моря серых шинелей, мне опять вспомнилась моя работа на фронте, в поезде, в госпитале... Вспомнились наши задушевные беседы с солдатами, их незлобное отношение к пленным и трогательно-детская заботливость к раненому «врагу»...

Где все это? Нет, это не должно исчезнуть, такие чувства не могли пропасть, если они существовали! Их отравили... они больны — эти солдаты.

Муж уехал в Москву на Государственное Совещание. Я одна.

\* См. кн. 90 «Н. Ж.».

Вчера я выступила на Женском Собрании. Публики было много, все больше простые бабы в платочках. Они мне усиленно хлопали во время и по окончании моей речи. Говорили еще две-три ораторши. Затем приехала миссис Панкхэрст-мать, знаменитая английская суфражистка. Ее речь переводила артистка Яворская. Сама Яворская явилась резким дисонансом в этом скромном по одежде собрании. Изящная, в шляпе из белых лилий, она будто декламировала из Ростана «Орленка», и, конечно, ее речь не тронула сердца скромных слушательниц в платочках, которым непонятен и чужд этот «заграничный» пафос.

МОСКВА. Я опять в Москве. Муж вызвал меня телеграммой. 12 августа в Москве — Государственное Совещание. Соберутся представители со всей России. Ждут от него многого. Ждут объединения, — истинного блока патриотов, той «коалиции», о которой без отдыха говорит Г. В. Плеханов. Плеханову будет дано слово. Слово! Но не практическое участие в правительственной работе. Закрытие газеты «Без Лишних Слов» не помогло Плеханову — он не был приглашен в министерство в качестве министра труда. Кропоткин, знаменитый анархист Петр Кропоткин, тоже получил «слово».

На улицах оживление, всюду конные разъезды, опасаются демонстрации большевиков... Но может быть, Государственное Совещание положит конец этому всему!

Я проводила мужа до дверей Большого театра, где должно было происходить совещание, и пошла бродить по улицам. Неподалеку от Охотного ряда большевицкий оратор убеждал, уверял, клялся, что генералы продадут революцию.

— А не большевики? — спросила я громко.

— Раздавить бы тебя, контр-революционерку! — кинулся на меня здоровый детина.

— Посмей только! — угрожающе сказала я, но все-таки пошла поскорее дальше.

«Раздавить бы тебя!» Значит, для всех несогласных, для всех инакомыслящих только одно и готовится: «раздавить»? В этих словах звучит не простая дурацкая угроза, а целая система действий. Что же может культурный европеец Плеханов противопоставить этой грубой дикости?

Каледин! В речи донского атамана на Государственном

Совещании прозвучало напоминание, что Россия больна, тяжело больна.

Обработанный большевиками какой-то казачий делегат затянул обычную ленинскую арию, но Каледин, первый выборный атаман войска Донского, из ложи громко напомнил ему о немецких марках. Заседание было прервано. Керенский потребовал, чтоб сказавший слова о германских марках назвал себя. Каледин гордо исполнил это требование. Но разве он не имел права еще раз напомнить, что русская серая масса отравлена пропагандой субсидируемой немцами, и что нужно реально бороться с теми, кто продал родину врагу. Большевики продали ее, но все почему-то делают вид, что им «ничего неизвестно». Точно эта тема «неприлична» в «благородном» обществе. Спасибо атаману Каледину! Ясно представляю себе его благородную фигуру у барьера ложи и его презрительный взгляд, устремленный на главу правительства.

Передают шопотом о закрытом «боевном» заседании Совещания, на котором присутствовал Корнилов, приехавший с фронта. Корнилов собрался сделать подробный доклад, но получил от Керенского записку быть осторожным в изложении, ибо он «не надеется» на одного из присутствующих. Говорят, что Керенский имел в виду Чернова. После такого предостережения из заседания ничего не вышло. Вопрос о фронте остался невыясненным.

Это было за кулисами, а на сцене появлялись Плеханов и Кропоткин, говорили речи, полные правды и мудрых советов, речи, в которых было столько горькой истины и здравого смысла, что читая их, становилось непонятным, почему эти люди не у дел? Выступали члены Государственной Думы. Ал-ский, как всегда, говорил без недомолвок — ясно и определенно. Его речь была блестяща.

Из Совещания ничего не вышло. Керенский пожелал остаться главной фигурой. На прощанье произнес бредовую речь, полную фраз, лишенных смысла.

А дальше? Дальше? Сначала все ушли из зрительного зала Большого театра, затем все разъехались по местам, не унося с собой никакого определенного решения, никакого определенного указания о том, что же делать дальше. После Совещания обстановка станет лишь более благоприятной для

большевиков. Но зачем же на Совещании выступал Церетели, протягивая руку «буржую» Бубликову? Мы устали от этих жестов.

**ПЕТРОГРАД.** Керенский продолжает «представление». Вместо того, чтобы энергичными мерами парализовать деятельность большевиков, он усердно занят собою. Он задумал «уход а ля Толстой», но, конечно, вскоре вернулся в Петроград с неограниченной властью. Но на что она ему? Все равно уже он ничего не сумеет с нею сделать.

Я больше не секретарствую в «Единстве». Много времени уходит на добывание продовольствия. Хлеб достаем с трудом. Большевики направо и налево обещают населению хлеб и мир. Но где они достанут этот хлеб? Народ, повидимому, не желает задавать себе этот вопрос... Обещают. Значит, дадут! Святая простота! Народ пойдет за всяким, кто его накормит. Но не всякий сумеет лгать так бесстыдно, как лгут большевики!..

Корнилов идет с войсками на Петроград. Он «выступил» 27-го августа. Керенский, Савинков и их друзья изменили Корнилову в решительный час... Керенский забил тревогу: «измена революции», Савинков резюмировал это словами: «Генерал Лавр Корнилов — изменник».

Большевики решили, что настал подходящий момент для легализации их положения, подхватили лозунг: «революция в опасности». Они снова стали носиться по фабрикам, по улицам.

К великому стыду — горячее сердце и холодная голова Г. В. Плеханова на этот раз изменили ему. Поддавшись общему хаосу, Г. В. Плеханов написал ироническую статью в нашей ежедневной газете «Единство» про генерала Лавра Корнилова, этого «известного генерала-бегуна», «Лавра, не пожавшего лавров»!..

«Бегун»! Да, этот доблестный генерал бежал из германского плена, найдя дорогу в Россию по звездам.

Правда, Г. В. Плеханов быстро спохватился и понял, что он ошибся, но более чем неосторожный шаг был уже сделан.

В Петрограде нас очень немного среди партийной публики, — мой муж, я, М. А. Малых, Добронравов, да еще В. Л. Бурцев, которые стоят открыто за поддержку Корнилова. Как странно наблюдать сейчас товарищей, публику и просто людей: как боятся все они открыто высказать симпатии генералу

Корнилову. Боясь прослыть за контрреволюционеров, а в то же время видишь, как всей душой они хотели бы, чтобы Корнилов без «их» поддержки победоносно вошел в Петроград, сверг малодушного Керенского и расправился бы с большевиками. Но без «них»! Трусливое лицемерие! Партийные люди боятся обвинений в «поправении». У власти сейчас, в сущности, эс-эры. Московская городская дума эс-эровская. Петроградская тоже. Правительство эс-эровское. И что же? По-прежнему полное бездействие, люди занимают свои министерские места, а «штаны на них, как на покойниках»...

Корнилов разбит. Его генералы арестованы. Иорданский, военный комиссар, пишет грозные приказы об аресте, а Костицын, кроткий Владимир Александрович, этот талантливый математик, приводит их в исполнение. Владимир Александрович, зачем вы это делаете?! Говорят, что когда арестованных генералов вели из ставки, солдаты их били, издевались... Куда дальше идти? Как вести войну против немцев? Ведь мы, русские, все еще ведем войну, наша страна все еще в состоянии войны с Германией. А наших генералов, военных вождей, избивают свои же солдаты. Их обвиняют в «контрреволюции» лишь за то, что они хотели убрать с политической арены людей, работающих на немецкие деньги.

С падением Корнилова смело можно сказать, что боевая жизнь фронта кончилась. Конец войны, но какой конец?!

«Контрреволюция» с генералом Корниловым во главе раздвлена. Большевики обнаглели. Выползли из всех нор. Читают лекции, доклады, организуют митинги. Мадам Колонтай назначила ряд лекций. Ни для кого не секрет, что большевики готовят снова повторение неудавшегося июльского переворота. Ленин, говорят, живет в Кронштадте, на броненосце «Аврора». Вообще, все по старому, будто и не было обвинений против них в получении германских денег! Почтенное правительство наше занято подготовкою пред-парламента. Но это неоткрывшееся еще учреждение уже не пользуется в массах популярностью. Его называют не иначе, как «бред-парламент». Неудовлетворение во всех кругах полное. Надо «что-то» сделать, вернее делать после подавления «мятежа Корнилова», но что? — правительство, повидимому, само не знает. Но массы знают, что нужно тянуть либо вправо, либо влево,

иначе и «подавление» им непонятно. Нет сомнения, что массы пойдут влево, ибо «умеренное» правительство, неспособное к борьбе, в такой важный исторический момент не может пользоваться популярностью у масс. В жизни побеждает: смелость! еще смелость! и всегда смелость! Эти слова Дантона Ленин любил повторять еще за много лет до русской революции. Ленин понимает, что момент для применения этих слов настал: растерявшееся правительство и неудовлетворенные массы. Троцкий откровенно призывает к восстанию: «подлинная власть демократии».

По поручению Центрального Комитета «Единства» муж уехал в Вологду проводить избирательную кампанию в Учредительное Собрание, которое откроется в январе 1918 года. Я одна с сыном в Петрограде. Погода резко изменилась. Холод. Неуютно в квартире — дров не могу достать. Топлю пока газетами, которых у нас, как всегда в изобилии. Дров обещали, но пока еще не получила.

Вчера был ясный осенний день. Я люблю такие дни. Сын был в детском саду, я пошла побродить. Петроград постепенно становится грустным, оставленным городом... Забитые досками магазины, испорченные мостовые. На нашей улице закрылись еще две лавки. Товаров нет. На Невском постепенно закрываются одна за другой кондитерские, а взамен открываются лавки, торгующие резиновыми подошвами. К чему такое множество подошв, когда нет обуви и нечего есть? Прошла мимо Елисеева. И у этого короля гастрономии весьма бедный выбор товаров. Больше всего овощей. Но есть и варенье, — это уж роскошь. На Невском мне сунули в руку большевистскую прокламацию. Ого! Какой рай земной она сулит! И есть бедные люди, которые верят этой бумажке. Кто эти люди? Голодные? Озлобленные? Я не могла не зайти в милый Летний Сад. Желтые листья, белые статуи, прямые аллеи, далекие мысли. Вспомнились стихи Поля Верлена:

”Dans le vieux parc solitaire et glacé  
Deux spectres ont évoqué le passé,  
— Qu’il était bleu, le ciel et grand l’espoir  
— L’espoir a fini, vaincu, vers le ciel noir.

Пред-парламент открыт, в нем уже говорят, говорят без конца. Я была вчера там. При мне говорил Авксентьев. Гово-

рил длинно, скучно. Слушая его, я подумала: а что если бы сейчас ворвались банды большевиков с криком, что правительство свергнуто? Авксентьев лениво бы перевел глаза на публику и наверное сказал бы:

— Дайте договорить!

Но Авксентьев хоть говорил умно и спокойно, а другие не могут обойтись без словесной истерии. При заболевании истерией, во время припадков врачи часто рекомендуют крикнуть на больного. Больной очнется и овладеет собою. Хоть бы нашелся такой человек, который крикнул бы: «Проснитесь! Большевики готовы захватить власть! А вы все о чем то бредите!» Увы, такого человека нет. Будущие пленники большевиков, открывая пред-парламент, наивно объясняют нам, что с помощью этого жалкого учреждения, они «хотят восстановить закон, порядок и довести страну до Учредительного Собрания».

Неподалеку от нашего дома не то толкучка, не то импровизированный базар. Народ толпится там целый день, продают, покупают, меняют, спорят. Собираются группами человек по 15-20. По мере спора группа вырастает до 50-100 человек.

Когда мы туда пришли с Варей, спор был в разгаре. Какой-то художавый мужчина нервно кричал:

— Ну, пусть власть возьмут большевики, хуже не будет! Попробуем! Говорю, не будет хуже! А то теперь — канитель одна!

— Да и то правда, — подхватила какая-то женщина, — хуже не будет! Говорили нам: генералы мешают. Убрали генералов, а все лучше не стало!

— Буржуи мешают! Вот Ленин им покажет, — кричал какой-то субъект. — Да здравствует пролетарская революция! Да здравствует диктатура пролетариата, советская республика!

— Да здравствует советская республика! — закричали все кругом.

В первый раз в жизни я не вмешалась в спор и не высказала своего мнения. Я была ошеломлена, подавлена. Теперь я ясно вижу, что правительство Керенского уже само подготовило свое падение. В умах масс переворот почти совершился. Не хватает только его внешнего выражения — переворота с

оружием в руках. Большевики, пользуясь недовольством масс, приобрели уже исключительное влияние.

Правительство закрыло газету Бурцева, где тот защищал патриота Корнилова и требовал расследования дела о подкупе большевиков немецким генеральным штабом. Следствие по этому делу идет черепашьям шагом.

Варя вернула меня к действительности.

— Пора домой. Вот вам, барыня! Слышали, как в народе говорят? Ну, кто от своего счастья будет отказываться? Большевики обещают правителей из трудового народа поставить!

Октябрь 25, 1917 год. И это совершилось! Свершилось в один из октябрьских дней. Утро было туманное, холодное. Население Петрограда не спало в течение многих ночей, ожидая исхода сражения. Рано утром на улицах уже толпился народ, читая на стенах воззвания большевиков, где они сообщали, что Керенский бежал, Временное Правительство свергнуто, новое правительство составлено большевиками.

Народ не верил. Читал молча, не говоря ни слова, расходились по домам.

Как просто все это произошло. Крейсер «Аврора» навел пушки на Зимний дворец. В два часа ночи большевики заняли мосты, телеграф, электрические станции, вокзалы.

А Временное Правительство? Оно «совещалось», вырабатывая меры, применять которые было поздно. А народ?.. Народ безмолвствует... А революционная интеллигенция? Эсеры, меньшевики? Они избирают «Комитет Общественной Безопасности». Вот все, что я узнала, выйдя на улицу.

Я вернулась домой точно с похорон. Все кончено. Большевики у власти. В таком настроении меня застал знакомый рабочий Путиловского завода, — плехановец.

— Все погибло! — встретила я его.

— Не падайте духом! Этого и нужно было ожидать. Вы все забываете, что мы живем в России, и что мы русские. Мы люди темные. Нам не убедительны чужие доводы, нам самим нужно все на себе испытать. Мы как дети, будем тянуться к лампе, пока не обожжемся. Обожжемся на большевизме и выздоровеем!

А когда это будет?

— Когда выздоровеем? Когда народ сознает свои ошиб-

ки, а пока мы с вами будем ему указывать на эти ошибки.

— Вот наивность! Да кто вам позволит это делать? Разве для этого большевики отняли власть у безвольного правительства? Чтобы Ленин допустил оппозицию? Разве вы забыли, как он удалял из организации людей инакомыслящих?

Мы долго беседовали на эту тему. Рабочий ушел. Я чувствовала, что не могу сидеть одна. Я опять вышла на улицу. На Суворовском проспекте села в трамвай и поехала по Невскому. Трамвай был полон. Посреди стоял матрос, огромного роста, красивый брюнет, размахивал рукой и рассказывал громко, как они матросы, атаковали юнкеров, которые за баррикадировались в своем училище.

— Уж и досталось этим буржуйам! — рассказывал матрос с энтузиазмом.

В своем экстазе он не замечал, что слушатели не разделяли его восторгов, а сидели, поникнув головой. Он убежден, что он истинный революционер, потому что уничтожил юнкеров, интеллигентную молодежь, которая пыталась защитить свободу страны от большевиков и честь ее от позорного мира с Вильгельмом. Я не стерпела. Поднялась с места, подошла вплотную к матросу и сказала:

— Чем вы гордитесь? Чем? Что расстреляли молодежь, наше будущее? Кто боролся с самодержавным строем, чтоб мы имели ту свободу, которую получили в феврале и потеряли теперь в октябре? Кто? Наша интеллигенция. А теперь вы ее убиваете. Сеете в умах темных людей злобу, называя русскую интеллигенцию буржуазией. Да не одну интеллигенцию вы преследуете, — несогласных с вами социалистов вы тоже объявляете контрреволюционерами. Стыдно вам!

Матрос не ожидал отпора. Сначала растерялся, а потом пренебрежительно ответил:

У вас своя свобода, а у нас, пролетариев, своя!

Но всякой свободе чуждо насилие!

Ну, таких как вы, — возразил матрос, — убивать не жаль!

Трамвай остановился; я почувствовала, что меня взяли под руки и повели. Какой-то господин и дама вывели меня из трамвая и шепнули:

— Ведь он убьет вас ни за что!

Трамвай тронулся, и я ничего не успела сказать моим «спасителям». Я пошла по Невскому. На каждом шагу говорили большевицкие ораторы. То и дело раздавались крики:

— Милиционер! Арестуй этого буржуя!

— Милиционер! Держи этого контр-революционера!

Переворот совершился.

Новый режим уже перед нами.

Швейцар нашего дома любезно осведомился у меня, когда приедет «барин».

— Жду каждый день, — ответила я.

В Вологду же послала условную телеграмму, прося мужа не приезжать в Петроград. Теперь большевики будут мстить моему мужу за его разоблачения о их связях с немцами. Ведь мой муж первый за своей подписью сделал эти разоблачения «достоянием гласности». Бурцев, взявший на себя дальнейшее расследование дела, уже сидит в Петропавловской крепости. Министры Временного Правительства арестованы в первый же день переворота. В редакции «Единства» появляются какие-то типы и ежедневно справляются, приехал ли Алексинский? Им я неизменно отвечаю: «Жду со дня на день».

Г. В. Плеханов живет в Царском Селе под Петроградом. К нему ворвались красноармейцы, произвели обыск. Через два часа ворвались снова, требуя выдачи оружия.

— Какого? — удивленно спросил Плеханов.

— Да обыкновенного!

— Вот мое оружие, — указывая на свои сочинения, ответил Плеханов.

После этого нашествия Г. В. Плеханов, плохо себя чувствовавший и раньше, слег в постель, и у него открылось кровохарканье.

В Петрограде у нас теперь две городских Думы. Одна последнего созыва, другая большевицкая. Министерства пусты. Служащие отказались работать с большевиками. Но Ленин, верный своим традициям, подбирает верных ему людей. Эти «свои» люди входят во все учреждения и являются их руководителями.

Во что превращается Петроград. Днем на всех улицах идет продажа награбленных во время переворота вещей.

Вчера я шла с сыном по Невскому. Солдат продавал за 100

рублей одну полу занавески-драпри, темно лилового шелка, затканного золотом.

— Барыня, купи! В царском покое висела. Дешево отдам. Бери!

Но я не брала.

Другой солдат предлагал мне великолепные канделябры.

— Мама, — сказал мне сын, — купи! Все равно, кто-нибудь другой купит!

Но я быстро ушла от этих продавцов.

Вечером в городе — драки, крики, бесконечное количество пьяных. Солдаты взламывают винные склады и погребам лучших магазинов. Вино и спирт текут рекой. То там, то здесь вспыхивают пожары. Тоска от безвыходного положения, от этой дикой анархии. Все куда-то попрятались. Дома редко кто ночует. Боятся ареста. Не смерть страшна, страшно это, что-то звериное, пробужденное большевиками.

Все жильцы нашего дома по очереди дежурят у ворот по три часа днем и по два ночью. Это постановление всех городских домовых комитетов. Пьянство, грабеж, самочинные обыски красногвардейцев не прекращаются. Я забыла уже, когда я в последний раз спала спокойно. Ложусь, не раздеваясь, чаще засыпаю в кресле. Волнуюсь не за себя, а за сына. Он впечатлительный мальчик, я держу его в полном неведении всех событий. До четырех часов он в детском саду, который находится в нашем же доме, на нашей лестнице этажом ниже. А после четырех часов с ним я или Варя.

Сейчас, когда я это пишу, горит огромный пожар на Малой Охте. Горит Патронный завод. Вся Охта окутана темным, почти черным гигантским облаком, его пронизывают почти каждую минуту взлеты огня от рвущихся снарядов. Что-то зловещее в этих огнях.

Сегодня выпал первый снег. Все бело кругом. Начало зимы. Конец нашей недолгой свободы.

ВОЛОГДА. Ноябрь 1917 г. Тихо катится поезд. Часто останавливается среди поля. Уныло свистит паровоз. Его уныние передается всем нам, пассажирам второго класса. Никто не знает, доедем ли живыми или случайный эшелон проезжих матросов или красноармейцев ворвется к нам, признает нас за буржуев и учинит над нами расправу. Зная это, мы все-таки

выехали из Петрограда, лишь бы не оставаться там. Переворот совершился, большевики у власти, они правители. Кто не с ними — те враги; кто с ними, тем «все дозволено», кровавая смердяковщина вступила в свои права. «Все дозволено», и солдаты бегут с фронта, хотя мир еще не заключен, захватывают поезда, отцепляют паровозы. Царство жадной и жалкой черни...

Вологда. Наконец-то. Муж встречает нас на вокзале, и мы едем на квартиру нашего товарища по организации адвоката Трапезникова. Переворот не успел еще докатиться до Вологды, и здесь тихо и спокойно. Наши петроградские переживания здесь чужды и непонятны.

— Большевики, конечно, скоро слетят? — спросил меня кто-то из товарищей плехановцев.

Я отрицательно покачала головой. Почему большевикам теперь, когда они захватили власть, слетать? Кто сможет их сбросить? Кто бы мог спасти Россию? Не партийные люди, а люди, в душе которых умещалась бы ВСЯ Россия. Вся Россия. Вот каков должен быть лозунг! Ленин не поднял массу на должную высоту, а сам спустился до нее. Дал ей несложные лозунги, внушил потребительский коммунизм, а такой коммунизм прост и не требует обоснований. Наш несчастный, неграмотный народ своеобразно понял свободу, и вместо того, чтобы разъяснить ему все его ошибки, Ленин ловко использовал его темноту.

Общественная жизнь в Вологде пока не меняется, но из Петрограда от большевиков уже приехал «свой» человек, и вологодские большевики начинают себя держать вызывающе.

Идут выборы в Учредительное Собрание. Но разве это можно назвать выборами? В одном округе разбили избирательные урны, а избирательные бюллетени сожгли, в других избиратели голосовали одновременно в двух участках.

Наблюдая технику выборов в Учредительное Собрание, можно смело сказать, что при выборах в Государственную Думу эта процедура происходила куда честнее. Тогда был несовершенный закон, но выборы были действительно **выборами**, а не той недостойной комедией, которая разыгрывалась теперь перед нашими глазами.

Пришло известие, что верховный главнокомандующий генерал Духонин в ставке растерзан разъяренными солдатами на

глазах советского комиссара прапорщика Крыленко. Убили и насмеялись над трупом. Подлая чернь...

В Вологде тревога и волнение: из Петрограда приехала толпа матросов, рассыпалась по городу, по большим магазинам. Вооруженные до зубов, они входили в магазины группами по 5-10 человек, забирали варенье, табак, мед... Перепуганные продавцы беспрекословно исполняли все их требования и всё выдавали им, не интересуясь узнать, кто дал им право на это самоуправство. Власти тоже растерялись. Затем матросы явились к члену Управы, заведующему продовольствием, заявили, что они опять скоро явятся и тогда уже серьезно займутся Вологдой. Когда это прощальное приветствие матросов стало известно жителям — их охватила паника. Никто уже не горевал о потерянных продуктах. Говорили лишь об одном: «Слава Богу, что так скоро уехали!»

По городу стали маршировать отряды красногвардейцев в штатской одежде, в огромных папах, с ружьями. Интеллигентные работники в Управе, кооперативах и т. д. продолжали оставаться на своих местах, но все они уже находятся под грозным оком красногвардейцев. Создание своей вооруженной силы, вот с чего всегда начинают большевики свое управление! И по этому признаку можно предвидеть, что Вологда скоро сделается достоянием большевиков.

О какой политической работе можно сейчас думать?

Муж решил ехать в Москву.

— Может быть, там удастся возобновить борьбу с ними. Может быть, еще не все потеряно!

Товарищи умоляли Ал-ского не ехать в Москву, приводя бесконечные примеры большевических зверств.

— Здесь больше нечего делать, — ответил Ал-ский.

Решено, мы едем в Москву. Сначала еду я с сыном, а через неделю приедет муж.

МОСКВА. 1918 год. Когда мы уезжали из Вологды, вологодский вокзал был полон только что прибывшими матросами из Петрограда. Они заняли зал I класса. Вид у всех ухарский, на лбу взбита челка, не в меру расстегнутый ворот на груди, до утрировки свободные движения, позы. Все пьяны. Публика испуганно жметя по сторонам.

Бедная Вологда! Новые хозяева уже на вокзале!

Опять я на родной Никитской улице. Но как она изменилась. Дома со следами пуль после октябрьской стрельбы. От прекрасного, огромного восьмизэтажного дома на Тверском бульваре остался один остов. Сначала в него в упор стреляли, потом он загорелся. Воображаю, что это было, когда, как факел, пылал этот восьмизэтажный дом. Но куда же девались его жители? Рассказывают, что при раскопках найдено много трупов. Я увидела развалины его вечером. Точно остатки Колизея высятся его стены на фоне ночи. Почти рядом с ним, через дорогу, другой разрушенный дом. Но от него остались лишь груды кирпичей. На углу дом Соколова весь испещрен пулями, словно лицо после оспы. Захотелось посмотреть на Кремль. Никольские ворота изуродованы, у Тайницких сбита головка... Дальше не могла идти, вернулась домой. Дома все подавлены слухами о Петрограде. Передают, будто бы убиты несколько членов Учредительного Собрания. Кто и при каких обстоятельствах — неизвестно.

Мы все собрались у мамы в ее комнате пить чай. Хлеба в этот день не выдали, и мама дала нам к чаю черных сухарей. Я послала на вокзал за нашими вещами нашего дворника, который живет у нас уже много лет. Вещи мои он привез на себе на маленьких саночках. Нанять извозчика не было возможности, они просили сотни рублей в один конец. Мой багаж немного развеселил наших. Я привезла такие дары, каких давно в Москве не видали: один чемодан был полон печеным черным хлебом, другой мукой, в корзине было сливочное масло, мед, яйца.

— Да как ты провезла? Как не отняли у тебя красногвардейцы? — удивлялись наши, глядя на эти богатства.

Поступила я очень просто. Я заплатила кондуктору, он посадил меня с сыном в свое купе. Когда мы приехали в Москву, мы дали всем выйти, и когда вокзал опустел, мой кондуктор сдал мои вещи на хранение.

— Да! — значительно сказал дворник, — видно не переверелись еще на святой Руси добрые люди. Хороший человек вам попался.

Я поблагодарила дворника за его труды и уделила ему часть продуктов, а он принялся рассказывать, как плохо стало жить после октябрьского переворота.

Хочу в деревню ехать. Есть нечего, дорого.

Ну, как дорого?

Дорого то как? Сколько вы в Вологде за мед дали?

В Вологде фунт меда стоит 25-30 рублей.

— А тут все 300 рубликов положите, да и то не всегда достанете. Давно бы уехал, да Прасковья Васильевна все отговаривает.

Слушая рассказы о жизни в Москве, о том, как трудно доставать все необходимое, я задумалась. Как мы проживем с Григосей? Кроме политической жизни, есть жизнь повседневная. Если бы у меня не было сына, я бы ни на минуту не задумалась, а теперь, когда мы почти без средств, без заработка... Неужели придется лечь тяжестью на плечи родителей?

Рано утром приехал в Москву мой муж, а вечером мы, москвичи, узнали, что убиты депутаты Шингарев и Кокошкин, видные кадетские деятели. Убиты они не в момент восстания, не тогда, когда разгораются страсти, а в самой мирной обстановке в больнице, куда их перевезли из Петропавловской крепости. Перевезли, дали лечь, а вскоре вошли в их палату и убили штыками.

Мысленно представляешь себе картину убийства: лежали больные, вошли красногвардейцы и, ни слова не говоря, убили!.. Страшно! Какое озверение!

Учредительное Собрание разогнано. Во время заседания пришел матрос Железняк, начальник караула и сказал собранию:

— Будет! Довольно говорить! Мы спать хотим! Завтра нам опять в караул!

И председатель собрания с.-р. Чернов дал этому историческому собранию разойтись, зная, что уже завтра оно не соберется. И не только завтра, но и вообще уже вряд-ли...

В Москве манифестация против разгона Учредительного Собрания! Против разгона? Никто же его не разгонял. Разве кто-нибудь отказался подчиниться Железняку? Разве были вызваны войска, которые разгоняли это доблестное, мужественное собрание? Увы! Ничего не было героического, чем бы могли в своей пропаганде вдохновлять своих слушателей! Бесславно, трусливо покинул Чернов свое председательское кресло, залу заседания и бросил на произвол судьбы вверенное

ему собрание. И после всего этого эс-эры позвали москвичей на кровавую манифестацию протеста. Большевики стреляли в манифестантов. Есть раненые и убитые. Среди убитых эс-эр Ратнер. Мир его праху! Он умер, а Чернов здравствует! В манифестации принимало участие много рабочих и в этих рабочих стреляло пролетарское правительство.

Дело кончено! Нет больше Учредительного Собрания, того Собрания, за которое боролись столько поколений русской интеллигенции...

Всю ночь раздаются выстрелы. На улицах темнота, из-за экономии электричества фонарей не зажигают. Мрак и выстрелы. Нет ночи, чтобы кто-нибудь не был убит или ограблен на улице. Убийства, грабежи... Чьих рук это дело? Воров или бандитов, или тех коммунистов, каких я видела в Вологде, или тех, кто убил Шингарева и Кокошкина?

Началась травля оппозиционной прессы. Газет не закрывают, но облагают колоссальными штрафами. На «Утро России» наложен штраф в сто тысяч рублей, на эс-эровскую газету в восемь тысяч. Эс-эры не уплатили штрафа, и редактор старик Минор сидит в тюрьме. Удастся ли большевикам задумать независимую прессу? Сейчас они ведут переговоры о мире. Договор должен быть подписан на-днях. Им важно, чтобы не было критики. Картина полного единения должна царить в России, хотя бы на страницах прессы, подготавливается сепаратный мир с Германией.

Детище большевиков (теперь их надо называть коммунистами) — Революционный Трибунал начал функционировать. Судят графиню Панину, первую русскую женщину министра.

Рабочий плехановец Васильев из публики попросил слово и сказал в ее защиту речь, полную негодования:

— Опомнитесь! Кого вы судите? И за что? За то, что эта мужественная женщина в годы реакции вносила свет в рабочую среду, за то, что она создала для нас рабочих клубы, школы, библиотеки, народный дом, равного которому не было до сих пор в России! Благодаря Паниной не один я прозрел!..

Графиня Панина на суде держалась с величайшим достоинством.

Революционный Трибунал оправдал ее.

С коммунистами соперничают анархисты. Они занимают особняки, ставят у входа пулеметы, своих часовых. Конфискуют имущество крупных капиталистов и тут же раздают его на улице.

Коммунисты заняли по отношению к анахристам выжидательную позицию, но вот вчера эта выжидательная позиция превратилась в наступательную. Утром Москва была разбужена грохотом артиллерийских орудий.

— Опять восстание, — пронеслось в голове.

Но вскоре мы узнали, что это брали приступом анархистов. Купеческий клуб — их штаб сдался быстро, а особняк Цейтлина, который находится в нескольких шагах от Никитской улицы, держался сутки.

Пулеметы, ручные гранаты, все было пущено в ход анархистами. Но большевицкий броневик заставил их разбежаться.

И 13 апреля большевики праздновали свою новую победу. Они применили к анархистам свой обычный вероломный способ: застигать врага врасплох ночью. Так овладели они Зимним Дворцом в октябре, так же разоружили они в Петрограде призывных, также напали на сонных анархистов. Говорят, будто бы они, подкупив часовых, убедили их испортить замки пулеметов. Насколько это верно — не знаю. Но подкупом большевики не брезгают никогда. Я помню слова Ленина за-границей: «Денег, побольше денег! С деньгами можно все сделать!» Не даром он «завел дела» с германским штабом.

Бедные наши дети! Большевики взялись и за них. Писатель Серафимович превратился в большевика. Этот вновь испеченный коммунист написал в советской газете «Известия» статью, вернее донос, где просит «правителей» обратить внимание на некоторые гимназии, а также и на самих учеников. Этот донос главным образом касался гимназии, где учится мой мальчик. Это одна из лучших гимназий в Москве — гимназия Адольфа. Во время царизма, когда в правительственных гимназиях порой царил суровый режим, эта школа была спасительным оазисом. У правительства эта гимназия Адольфа считалась слишком либеральной. Во время октябрьских дней в Москве ученики старших классов и студенты, питомцы этой гимназии, мужественно сражались в стенах Кремля, защищая эту русскую святыню от большевицкого приступа. Среди взятых белыми в плен большевиков, находился и сын писателя Сера-

фимовича, воспитанник этой гимназии. Его узнал один из товарищей по классу и сказал офицеру:

— Этот большевик мой одноклассник. Я его знаю. Это сын писателя Серафимовича.

Серафимович расплакался и стал просить у офицера пощады. Его пощадили.

Большевики вышли победителями из борьбы. И писатель Серафимович, в благодарность белым, за то, что те сохранили жизнь его сына, в своей статье-доносе называет фамилии учеников, бывших в рядах белых в Кремле, а гимназию, где сын его пробыл более пяти лет, характеризует, как «осиное гнездо контр-революции».

Статья Серафимовича вызвала бурю негодования среди литераторов. Собрание литераторов находит, что писатель может быть большевиком, меньшевиком, эс-эром, ка-детом, — это дело его убеждений, но использовать свое перо для доносов, считает постыдным для литератора и постановляет Серафимовича исключить из своей среды.

Но большевики Серафимовича вознаградили какой-то «почетной» должностью, а учеников, перечисленных в доносе, арестовали вместе с их родителями.

Эти аресты вызвали такое возмущение среди учеников этой гимназии, что родители и педагоги принуждены были принять все меры, чтобы их успокоить. Поступок Серафимовича противоречил всем этическим понятиям и традициям школы.

31 марта мы узнаем, что генерал Лавр Корнилов убит. Никто точно не знает, при каких обстоятельствах. Говорят, что снаряд попал в дом, где он находился. Теперь его может судить только история. Она оправдает и увенчает его.

Как тяжело и беспросветно!

27 апреля 1918 года — памятный день. Вечером этого дня был политический митинг, организованный «оппозицией» и на афише стояло имя моего мужа. До сих пор он, по просьбе товарищей, во избежание ареста приходил на собрания полузакрытые, брал слово, не называя себя. 27 апреля было первое его открытое выступление. Он шел на весь риск, чтобы публично протестовать против сепаратного мира.

Большой зал Дворянского Соборания с белыми колоннами

ярко освещен и переполнен. Первым выступает Качалов, артист Художественного театра. Печальный грудной голос его проникает в самую душу слушателей. Он декламирует стихотворение Кольцова, в котором народный поэт оплакивает судьбу могучего леса, «не осиленного сильными, а изменнически подрезанного осенью черною».

Вслед за ним говорит Алексинский. Голос его звенит в обширном зале. Он говорит о предстоящем праздновании первого мая.

— Мы, социал-демократы, не празднуем Первое Мая в этом году. Не только мы, плехановцы, но и многие меньшевики, правые эс-эры и анархисты находят, что нам, русским, не время сейчас праздновать 1-е мая. Нет той солидарности, во имя которой провозглашен был этот великий праздник. Наша страна оделась в национальный траур. Заключен позорный мир. Красные знамена, которыми хотят драпироваться большевики, не покроют наготу этого позора. Музыка и барабаны не заглушат плач детей, жен и матерей, потерявших своих мужей и детей во внешней войне и теряющих их в братоубийственной войне гражданской. Германский империализм и Вильгельм II торжествуют, и знамя Гогенцоллернов, которое водрузил в Москве германский посол, ярче видно, чем все красные знамена большевицкого правительства, склонившего в Брест-Литовске эти знамена перед Германией.

Ал-ский не успел закончить речь, как два латыша-чекиста быстро поднимаются с мест в публике. Один из них держит в руках какую-то бумагу.

— Арестовываю вас именем Чрезвычайной Комиссии, — кричит он.

Публика вскакивает с мест, поднимается невероятный шум. Я бросилась к эстраде. Латыш-чекист вскочил на эстраду и схватил мужа за руку. Я невольно оттолкнула его. Алексинский мне сказал:

— Зачем ты дотрагиваешься до него, Таня? Ведь, на тебе нет перчаток, — и обратившись к чекисту, спросил: у вас есть приказ о моем аресте?

Чекист протянул бумагу. Это был обычный ордер об аресте с заранее заготовленной подписью председателя чрезвычайки. Фамилия мужа была вписана, повидимому, потом, и не чернилами, а чернильным карандашом.

— На этой бумаге нет моего имени и отчества. Где доказательства, что это именно я подлежу аресту. Я отказываюсь вам подчиниться!

Чтобы не волновать публику, мы ушли в «артистическую». Чекист пошел говорить по телефону, оставив около нас двух вооруженных людей. Тем временем публика рвалась в двери, спрашивая, где Ал-ский. Муж обратился к устроителям митинга, прося их успокоить публику, продолжать собрание и выслушать речи остальных ораторов.

Меня мучила мысль, что будет с моим сыном. Он остался один в квартире запертым. Я заперла его из боязни, что могут придти хулиганы, постучаться. Он с испугу может открыть. Раз он заперт, то значит не откроет никому. Но мне рисовалась уже иная картина: без меня в квартиру приходят с обыском, ломают замок, разбудят мальчика грубым криком, испугают своими ружьями. При одной этой мысли я холодела. Что делать? Оставить мужа одного, отдать его в руки пьяным красногвардейцам, которые наверное явятся, как только Чрезвычайка пришлет новый ордер на арест. Я думала о Шингареве и Кокошкине, убитых матросами в больнице.

Что делать? Я была в отчаянии.

В артистическую вошел С. С. Маргулиес и тихо спросил меня:

— Не нужно-ли что-нибудь убрать у вас в квартире? Ведь неизвестно, чем все это кончится.

Я поспешила дать ключ от квартиры, прося перевести ребенка в квартиру родителей, которые жили в этом же доме, этажом выше. Просила ничего не говорить ребенку о случившемся. Затем написала несколько слов родителям.

Точно гора с плеч свалилась. Я успокоилась за ребенка, но почувствовала еще сильнее беспокойство за мужа, зная дикость большевицких нравов.

Я подошла к мужу и хотела ему сказать несколько слов, в этот момент вошел латыш и стал между мной и мужем.

— Стыдитесь вести себя как даже жандармы не вели себя по отношению к социалистам! — сказала я, но муж остановил меня на полуфразе. За дверью раздался шум и топот ног. Через несколько минут в артистическую вошел член Чрезвычайной Комиссии в сопровождении толпы красногвардейцев с винтовками.

Вы арестованы! Следуйте за мной! — обратился он к моему мужу.

— Я пойду с ним! Арестуйте и меня! Я солидарна с ним во всем...

Нас окружили и повели. Вели сначала по темным коридорам, потом мы спустились по винтовой лестнице. У выхода нас ждал грузовой автомобиль. Меня и мужа посадили на переднюю скамью. По бокам и сзади разместились красногвардейцы.

Когда мы шли на митинг, было очень тепло. Я надела легкое, шелковое черное платье. Сейчас было холодно, моросил дождь. Я дрожала.

— Не волнуйся, — сказал мне муж.

Я не ответила. Я спрашивала себя, как держать себя перед большевickими жандармами. С царскими было легче. А ведь эти когда-то были нашими товарищами по партии!

Нас привезли на Лубянку в Чрезвычайную Комиссию. Чрезвычайка находится в огромном, пятиэтажном новом доме, который был построен до революции страховым обществом «Якорь». А теперь здесь ничья жизнь не застрахована для тех, кто попадает в это помещение. Нас ввели в зал второго этажа. Красногвардейцев, конвоировавших нас, сменила другая стража.

Зал был пуст, в нем не было ни одного стула. Мы сели на подоконнике. Солдаты остались у входов. Через несколько минут в зал вошел сам председатель комиссии, ее гроза, Ф. Дзержинский. Он, вероятно, спал и его только что разбудили. Всклоченный, ворот расстегнут, он не говорил, а вопил:

— Мы считаем вас злостным контр-революционером.

— Я предложил бы вам говорить спокойнее, — хладнокровно сказал Ал-ский, — а затем я хочу знать, почему я арестован так демонстративно на митинге? Я не скрывался до последней минуты, я жил в Москве открыто под своим именем. Адрес мой был, конечно, вам известен.

Дзержинский ничего не ответил, повернулся, вышел из зала, но вскоре вернулся опять и уже спокойным тоном сказал, обращаясь к мужу:

— Вы арестованы! А вы, мадам, можете идти, — сказал он мне.

— Во-первых, я не мадам, а гражданка, а, во-вторых,

— арестуйте и меня. Все, что говорил, говорит и будет говорить мой муж, я разделяю. Кроме того, я состояла товарищем секретаря Ц.К. нашей плехановской организации. Арестуйте и меня.

— Если вы не уйдете добровольно, вас отведут домой насильно, — ответил Дзержинский.

— Таня, — раздался спокойный голос мужа, — скажи, что подчиняешься силе и иди домой. Григося тебя ждет.

— Тебе подчиняюсь, раз ты велишь — я иду!

Я крепко обняла мужа, он поцеловал мои руки и шепнул: «Больше мужества и спокойствия!»

В сопровождении двух солдат я уходила. В дверях хотела обернуться, но сильный удар прикладом в спину протолкнул меня в коридор. Обратившись к солдату, я сказала:

— Стыдно! Бьете безоружную женщину. Я три года провела на фронте во время войны. Как ухаживала за всеми вами. А вы теперь, пользуетесь моей беззащитностью, ударили меня. Стыдно!

— Виноват, сестрица! Нам так приказывают! — ответил смущенно солдат.

Я села на стул и молча сидела, пока ко мне не подошел член Чрезвычайной Комиссии, который увозил нас из собрания.

— Сейчас вы поедете к себе на квартиру.

Я поднялась, за мной пошли солдаты, а впереди — член Комиссии. Нас ожидал на улице автомобиль. Мы сели, но между солдатами вышла перебранка.

— Ты вчера был на обыске. Сегодня я поеду. Дай мне заработать!

Оказывается, конвойные получают дополнительные рубли за каждый час, проведенный при обыске. Наконец, сговорившись, солдаты сели в автомобиль, но комиссар разрешил ехать только шестерым. Мы поехали. По дороге заезжаем в комиссариат, забрали комиссара нашего района, а затем уже приехали ко мне на квартиру. Прежде, чем приступить к обыску, пригласили председателя нашего домового комитета.

Я благодарна мужу, что он дал мне тон, каким я должна держаться с ними. Села спокойно на диван и наблюдала за ними, пока они снимали книги с полок, забирали с письменного стола рукописи. Наблюдала и ждала удобного момента, что-

бы уничтожить адреса связей и явок нелегальной организации, к которой принадлежал муж. Когда они занялись чтением рукописи первомайской прокламации, я незаметно вышла из комнаты, вошла в кухню, вынула адреса и положила в рот. Вдруг позади послышался шорох. Обернулась: за мной стоит солдат с винтовкой.

— Куда вы пошли? — спросил он.

— Я не арестованная и могу свободно передвигаться у себя в квартире, — ответила я, давясь бумагой, которая застряла у меня в горле. Я быстро выпила воды и вошла в комнату мужа. В этот момент председатель домового комитета что-то вытаскивал из ящиков письменного стола. Я напомнила ему, что председатель домового комитета не может помогать обыскивать, а должен только присутствовать при обыске, как официальный свидетель.

Они закончили обыск только перед рассветом. Я попросила позволения взглянуть на документы забранные ими. Тут оказалось все, что лежало на столе и в ящиках стола. Среди них была законченная рукопись книги, предназначенной для издателей в Париже и в Лондоне.

— Оставьте эту рукопись у нас. Эта работа, заказанная французским издателем.

— Потом разберут, что нужно вернуть, — получила я в ответ.

Мне предложили подписать протоколы обыска. Я отказалась.

— Ваш обыск будет чуть ли не двенадцатый за время моей жизни. Я никогда не давала своей подписи жандармам и теперь верна своей революционной традиции.

— Но, товарищ, ведь это огромная разница, то было при царизме, а теперь это не то!

— Товарищ у товарища не делает обысков. Мы с вами не товарищи!

За меня подписался председатель домового комитета.

Уходя, член Чрезвычайки сказал мне:

— Вы можете отправить вашему мужу подушку и белье. Он в одиночке Таганской тюрьмы.

— Почему вы знаете об этом?

— Он был отправлен туда в автомобиле Дзержинского за несколько минут до нашего отъезда сюда.

Я вспомнила, когда мы вышли на крыльцо Чрезвычайки, отъезжал чей-то великолепный автомобиль. Так это мой муж должен был так ехать в тюрьму!

Все ушли. Я осталась одна в квартире. Опять одна. Вспомнилось мне, как год тому назад, в этом же доме, в квартире моих родителей ночью 27 февраля мы радовались перевороту, видели в нем зарю свободы. Радовались, что кончились и наши собственные страдания. Я думала, что теперь мы будем всегда вместе, что мы вновь нашли свою родину. Что же случилось? Новые мучения, которым не видно конца.

Я просидела в раздумьи до самого утра. Умылась. Поднялась к родителям проводить сына.

— Мама, большевики увезли папу? А через неделю Пасха, как же он будет? — испуганно спросил меня сын.

— Не бойся, — утешала я его, — будем стараться, чтобы он не долго пробыл в тюрьме.

Была в Таганской тюрьме. Народу толпилось около ворот масса. На передачу огромная очередь. Вещи мои приняли, это значит, что он, действительно, находится в этой тюрьме. Вернувшись домой застала сына в слезах.

— Мама, мама, — плакал он. — Дети председателя Николаева — Пашка, Шурка, Васька и их друг, мальчик с соседнего двора, отец которого в Чрезвычайной Комиссии, кричали мне, что папа арестован, как контр-революционер и его обязательно расстреляют...

*(Продолжение следует)*

*Т. Алексинская*

## ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД\*

Мендели — небольшой арабский городок, утопающий в финиковых и апельсиновых садах. Своим внешним видом он мог бы служить хорошей иллюстрацией к библейским рассказам. Здесь, как и в Персии, все напоминает о глубокой древности, но Мендели — город арабский, хотя арабы в этих местах тоже являются пришельцами.

По прибытии в Мендели, отряд был зачислен на довольствие английской армии и к штабу отряда прикомандирован офицер для связи — генерального штаба полковник Клятербек, с командой из двадцати человек солдат. Полковник Клятербек говорил довольно хорошо по-русски, а среди солдат был бывший студент Московского университета Брей. Были еще три солдата, плохо говоривших по-русски, но объясняться с ними было можно. Короче говоря, в нашем новом положении жизнь была налажена и надо было ждать развития переговоров о переводе Корпуса на английское довольствие. В этом деле надежды возлагались на консула Кеннена.

В черте английской оккупации войска располагаются вне населенных пунктов и, в случаях необходимости, воинские чины отпускаются в город с разрешения начальства. Однако наши казаки и солдаты очень быстро освоились с обстановкой и ежедневно посещали ближайшие сады, возвращаясь в лагерь с полными торбами апельсин, мандарин, фиников. Все эти фрукты стоили там очень дешево, а иногда арабы и отказывались от платы, мол, бешкеш. В Мендели отряду был дан основательный отдых.

После отдыха, отряд был переброшен к линии фронта и принял участие в бою под городом Шаропаны. Бой длился целый день, а ночью турки очистили город. С нашей стороны не было никаких жертв. После взятия Шаропаны, нас опять отвели в тыл, но через несколько дней перебросили на самый

---

\* См. кн. 90 «Н. Ж.».

правый фланг английских позиций, в районе Кизил Рабата. Отряд выходил на линию фронта ночными переходами и должен был пройти по совершенно безводной местности. Однако к штабу был приставлен проводник-араб, который по пути должен был провести отряд к провалам древних подземных ариков, до которых и по сей день еще доходит вода. На вторую ночь проводник сбежал и после долгих блужданий, только на следующий день, мы вышли к воде. Это была небольшая щель в голой степи, тянувшаяся метров на двести, полная теплой водой (видимо, и эта вода просачивалась из арика). Дно щели было покрыто сплошной губкообразной зеленой массой, от которой тоненькие нити подымались до самой поверхности воды. Весь этот резервуар кишмя кишел всевозможными водяными насекомыми. Но делать было нечего и пили мы эту полужидкую воду, всасывая ее через платки, которые, после двух-трех всасываний, становились водонепроницаемыми. На четвертое утро отряд вышел на линию фронта и занял исходную позицию у высот над Диалой. Готовилось общее наступление по всему фронту. Бой начался на рассвете и продолжался целый день. По всему фронту гремела главным образом английская артиллерия и изредка слышны были пулеметные очереди, зато со стороны турок слышна была главным образом пулеметная и ружейная стрельба, артиллерия стреляла довольно редко.

Каково было участие нашего отряда в этом бою?

Отряд вышел на линию английских позиций ночью и занял исходное положение. Впереди вели разведку казаки разъезды. На рассвете, когда по всей линии английских позиций ракетами был дан сигнал к началу боя, полковник Бичерахов, оставив пехоту для прикрытия фланга, повел конницу в атаку на левый фланг турок. Вышедшие из засады, сотни быстро перестроились в лаву и рысью устремились к Диале. Реку переплыли без форсирования. Турки же, привыкшие к методам ведения боя англичанами, и не зная о появлении русских на этом участке фронта, спокойно сидели в окопах и увидели казаков с большим опозданием. Они успели дать всего лишь несколько коротких пулеметных очередей и бросились бежать. Казаки преследовали отступавших турок до крепости Кара-Тепэ. Здесь, недалеко от крепости, отступавшие приняли бой, им на помощь пришла крепостная артиллерия. С нашей стороны сражались казаки и Индусский кавалерийский полк. И хотя турки, после целого

дня боя, отступили по всему фронту, на остальной части английских позиций турок не преследовали, а наводили понтонные мосты через Диалу и перетаскивали артиллерию на новые позиции. Не получив подкрепления, казаки и индусы ночью отступили на новые английские позиции. В этом бою под Кара-Тепэ было убито пять человек казаков и ранено человек пятнадцать. После этого боя, нас опять отвели в тыл и расположили лагерем на арыке (канале), в шести километрах от гор. Шаропаны. Здесь в голой степи, в стороне от человеческого жилья, потекли осенние серые, однообразные и скучные дни. Единственным развлечением для нас служили поездки в Багдад. Нас группами отпускали туда погулять и осмотреть достопримечательности города. А осмотреть там было что: одна мечеть чего стоит! Багдад — это сказочно красивый город, раскинувшийся по обоим берегам Тигра. Он весь утопает в пальмовых и апельсиновых садах. Его история богата и разнообразна. Он был столицей арабских халифов, являлся религиозным, торговым и культурным центром народов переднего Востока. некогда довольно сильный халифат, Багдад завоевывался и персами, и монголами, и сельчуками и в наше время входил в состав Османской империи и завоеван был англичанами. Все это мало отразилось на внешнем виде города. В нем жизнь была ключом и улицы с утра до вечера были полны народа. Магазины переполнены восточными товарами, много шелковых материй. В Багдаде все по-восточному красиво и изяшно. Даже в своем падении Багдад выглядел как город с большой историей. Хотя он и является городом арабов, в нем жило много персов, армян, айсоров и турок.

Прибывавших в Багдад бичераховцев радушно встречал наш военный представитель при английском командовании, генерал Кирсанов. Молодой, красивый и энергичный генерал был обаятелен. Он сам и приглашенный им багдадец, еврей из России, целыми днями возились с нами: они показывали нам достопримечательности города и помогали во всем. Нашу группу генерал из гостиницы перевез к себе домой. И как-то вечером повел нас в английскую офицерскую кантину. Там англичане устроили нам настоящую овацию и каждый офицер старался оказать нам внимание, предлагая выпить с ним рюмку того, что он пил сам. Можете себе представить что с нами было бы, если бы один из старших офицеров не учел нашего поло-

жения и не приостановил дальнейшее чествование. Но кантина закрывалась рано и вся разошедшаяся было молодежь очутилась на улице. Ночь теплая, лунная, бледно-голубая; река изредка поблескивает серебром, а по берегу выстроились высокие финиковые пальмы. Никому в такую ночь не хотелось спать и поговорив с генералом, мы пригласили кое-кого из англичан к себе, где веселье продолжалось до утра.

В лагере у Шаропаны пришлось зимовать. К тому времени в России власть над страной захватили большевики и советская власть потребовала от англичан вернуть русские части домой. В этом обращении странным было то, что советские органы обратились не к начальнику русской части вернуться домой, а к англичанам — вернуть нас домой. Когда полковник Бичерахов приказал выстроить отряд и прочел частям содержание переданной ему английским командованием телеграммы, казаки и солдаты, все без исключения, заявили: «Мы не признаем советской власти и останемся на фронте до заключения мира законным русским правительством». Дело в том, что со дня выступления отряда из Харунабада связь с корпусом была прервана и мы с большим опозданием получали сведения о событиях в России, да и мало кто из нас разбирался в действовавших тогда политических партиях и их программах. Большевикам же не могли простить произведенный ими развал армии и к тому же трудно было проглотить горечь от заключенного ими с немцами позорного для России Брест-Литовского мира. Я думаю, что этими двумя моментами можно объяснить тогдашнее единогласное решение бичераховцев, принятое в ответ на советскую телеграмму.

В декабре 1917 года генерал Баратов вызвал к себе Бичерахова. На английском аэроплане Бичерахов вылетел в Хамадан. А через две недели прилетел обратно. Прилетел он в самом мрачном настроении и собрав отряд, заявил, что по приказу командира корпуса, генерала Баратова, наш отряд должен вернуться домой. Оказывается, к моменту приезда Бичерахова, корпус уже покинул фронт и отдельными эшелонами уходил домой. То же самое происходило и на других наших фронтах. Распропагандированные солдаты покидали фронты и уходили домой. Русская армия перестала существовать. В России большевиками разогнано было Учредительное Собрание; пала величайшая империя.

Дальнейшее пребывание отряда Бичерахова на месопотамском фронте становилось бессмысленным. Надо было возвращаться домой, т.е. — проделать поход в обратном направлении. К тому времени настала зима и гористая местность между месопотамской долиной и средне-персидским плато покрылась снегом, но внизу стояли еще жаркие дни и холодные, серые ночи. Помню, накануне нового 1918 года, ровно в 24 часа, разразился страшный ливень, превративший всю долину в сплошное озеро. В палатках люди в полной амуниции стояли по колено в воде, а в санитарной палатке больные и раненые (человек 30) лежали в воде (английские санитарные койки стоят на низких ножках) и нужно было у каждой койки установить очередь, чтобы здоровые солдаты держали головы больных над уровнем воды, пока дождь не перестанет и вода не спадет. К утру вся долина, превратившаяся в непроходимое болото, очень быстро обсохла и сношение с внешним миром было восстановлено. В эту ночь наш старший врач Мария Константиновна Корчагина со своими 4-мя сестрами милосердия и с санитарями превзошли себя в заботе о больных и раненых казаках и солдатах.

Во второй половине февраля начальник отряда, в сопровождении Горско-Моздокской сотни, покинул лагерь. За начальника отряда остался начальник штаба, полковник И. Е. Лесли. А через несколько дней полковник Лесли приказом по отряду сообщил, что в этот день отряд покидает лагерь и следует в Хамадан. Согласно приказу, я, во главе пехоты, хозяйственной части и транспорта, должен был покинуть лагерь часом раньше выступления кавалерии. Изучив за время пребывания в лагере окружающую местность, я повел подведомственные мне части по горным тропинкам и вывел их к Ханикену много раньше предусмотренного времени. Это почему-то не понравилось сопровождавшему отряд английскому лейтенанту и между нами произошла серьезная стычка, которую потом уладил полковник Лесли. Нужно заметить, что вообще после приезда Бичерахова из Хамадана, между нашим штабом и англичанами произошло некоторое охлаждение, но мы, рядовые офицеры, в тайны происходивших событий не были посвящены. Ханикен был тогда последним пунктом английской оккупации и мы должны были подчиняться английским порядкам, а я их нарушил. Из Ханикена двинулись на Миантаг и на

третий день прибыли в Керинд, где ожидал нашего прибытия начальник отряда с Горско-Моздокской сотней. Нужно заметить, что Миантагское ущелье лежит между двумя крутыми склонами гор и лежит оно на большой высоте, по отношению к месопотамской долине и потому там местами лежал снег. Из-за холода и снега дорога была свободна от засад курдов, ибо курды зимою безвыездно сидят в своих шалашах и Бичерахов это учел. После жары, стоявшей внизу, в долине, в ущелье мы продрогли, но катастрофическое положение настало, когда мы вышли из ущелья на равнину, где лежал снег по-колени. Снег был покрыт твердым настом, но через него проваливались кони и люди. Под снегом же стояла вода. Кавалерия спешилась; люди и животные еле-еле передвигались. Расстояние между Миантагом и Кериндом небольшое, но преодолели мы его с большим трудом и прибыли в Керинд поздно вечером, по-пояс покрытые льдом.

Керинд — город небольшой, но уютный и красивый. Он амфитеатром расположен по склонам двух смежных гор и своим общим видом напоминает провинциальные города старого Кавказа. К счастью для нас, казаки Горско-Моздокской сотни заблаговременно позаботились обеспечить весь отряд помещениями, где мы обогрелись и обсушились. Здесь мы опять перешли на наше русское довольствие, состоявшее из сухарей, привезенных из Керманшаха и тех продуктов и фуража, которые можно было достать у местного населения. С фуражом в Персии вообще было очень плохо.

Через два дня мы прибыли в Керманшах и расположились в кербансараях (постоялый двор для караванов), который раньше был отведен под госпиталь Союза городов. В Керманшахе русских частей не осталось, но в складах, цейхаузах и госпиталях осталось немало корпусного имущества. Бичерахову пришлось войти в тесный контакт с местной администрацией и пользоваться ее услугами. В то время в Персии мы очутились на положении непрощенных гостей, но несмотря на это, власти были к нам предупредительны. Через несколько дней в Керманшах прибыл генерал Баратов (генерал жил в Шейхерине и его охранял конвой из шести казаков, под командой хорунжего Гацунаева). При нем остались его адъютанты, поручики Альхави, Деспотули, Марков и Аннибал. Все они обожали своего генерала, а он был им не только начальником, но и по-отечески

их любил. У въезда в город, генерала встретил почетный караул, а вечером в честь его был дан обед, на котором присутствовали все офицеры отряда, русский консул в Керманшахе, барон Черкасов с супругой и сопровождавший генерала поручик Селим Георгиевич Альхави. За столами шла оживленная беседа. А когда запели застольные песни и в песне «Алла верды» дошли до слов «.....Нам каждый гость дарован Богом, какой бы ни был он среды, хотя бы в рубище убогом, Алла верды, Алла верды.....», генерал Баратов двумя пальцами слегка потряс на своей груди черкеску и из глаз его потекли слезы. Мы были еще в погонах, но наш командир корпуса сидел за столом уже без погон. Он уже выпил чашу революционной горечи до дна. Стало грустно. Мы понимали, что эти слезы из глаз такого человека, как Баратов, были выражением трагедии, переживаемой генералом. И, действительно, пока он был командиром корпуса, он стойко и с достоинством переносил все обиды и беды, и до конца стойко держался на своем трудном посту. Но империя пала, армия развалилась и за столом сидел командир корпуса без корпуса и бесправный генерал; долготелняя служба Родине, которой он посвятил свою жизнь, свои силы и знания, кончилась крахом. Генералу было о чем скорбеть! Да и каждый из нас тогда по своему переживал ту же трагедию.

В Керманшахе отряд задержался на долгое время. Нужно было организовать эвакуацию брошенного корпусного имущества; нужно было вывести снаряды, патроны, санитарное имущество, сухари. Для этого нанимался вьючный транспорт и отдельными караванами, в сопровождении казачьего эскорта, имущество доставлялось из Керманшаха в Хамадан, из Хамадана в Казвин и из Казвина в Энзели.

Через неделю по прибытии в Керманшах, я получил приказ с пехотой, хозяйственной частью и транспортом направиться в Хамадан. На пятый день похода, перед эсадабадским перевалом, нас догнал посланец начальника отряда с приказанием мне не идти через перевал, а повернуть направо и идти в Хамадан через Нариспе. Оказалось, что перед нами шел наш же транспорт со снарядами и патронами. На перевале он попал в снежную бурю и погиб; спаслись только казаки, сопровождавшие транспорт. Это новое распоряжение мне не улыбалось; по новому маршруту дорога удлинялась на два дня, да и местность была заселена курдами. По старому же маршруту мы через два

дня могли быть в Хамадане. Погода не предвещала опасности. Пришлось дерзнуть, взять инициативу на себя. Я решил дальнейший путь свой определить по тому, как будет вести себя вершина горы. А ночью взошла луна и вершина горы заблестела как сахарная голова, что означало — там наверху морозно и тихо. Решил все-таки идти через перевал. Перед рассветом эшелон двинулся в путь и добрался до вершины горы, когда стало светать. Снег хрустел под ногами и наст выдерживал не только людей, но и животных. На самой вершине горы мы застали печальную картину: из-под снега торчали замерзшие человеческие тела, хвосты и копыта животных, мешки и ящики с патронами и снарядами. Весь караван был занесен снегом. А нам посчастливилось и мы перешли перевал благополучно. Через день мы были в Хамадане и расположились в кервансарае. Устроив своих людей, я поехал в Шеверин с докладом и затем, так как в Хамадане других русских войск не было, сделал визит хану, главе города, что ему очень понравилось и благорасположило его к нам. На следующий день хан пригласил меня на суд и расправу, производимую над преступниками, до того сидевшими в тюрьме. Я не подозревал, что предстоит видеть и принял приглашение. На площади хан встретил меня приветливо и посадил рядом с собою. Начался суд, вернее приведение в исполнение судебных постановлений по каждому отдельному случаю. Формально и суд и расправа происходили на площади в присутствии согнанной сюда толпы народа. Преступники, почти без исключения, обвинялись в убийствах и грабежах. Их предавали страшным телесным наказаниям, стоны и крики наказуемых стояли над площадью и приводили людей в ужас. Но и преступления наказуемых были не менее ужасны, как например: один из них ночью залез в чайхане и вырезал хозяина, хозяйку и четырех детей. У других преступления были в том же духе.

В Шеверине я рассчитывал встретить своего друга, одного из адъютантов Баратова, поручика Владимира Михайловича Деспотули, но его в штабе не оказалось. Деспотули Баратовым был назначен комендантом гор. Тегерана. К тому времени не только солдаты и казаки, но и офицеры покинули Персию и в распоряжении командира корпуса остались немногие верные и преданные ему люди, которыми он распоряжался. Через несколько дней в Шеверин приехал и Бичерахов. Баратов при-

гласил его жить в штабе. Генерал очень ценил, по-отечески любил Бичерахова и называл его по имени — Лазарь. Что касалось Бичерахова, он Баратова обожал и подчинялся ему не только по положению, а с особой преданностью и уважением. Принадлежа к Терскому казачьему войску, оба они остались верными сынами России и преданными защитниками ее интересов. И судьба привела их закрыть последнюю страницу трагедии, разыгравшейся на персидском фронте.

К моменту возвращения отряда Бичерахова из Месопотамии, генерал Баратов находился в очень тяжелом положении: корпус ушел домой, а средств не оказалось для покрытия счетов по поставкам провианта и фуража. Перед персами, которые Баратову доверяли во всем, генерал оказался в положении человека без вины виноватого. Англо-русская финансовая комиссия, выдававшая субсидии русским войскам, уже давно прекратила выдачи, а долг корпуса поставщикам доходил до восьми миллионов рублей. Нужно заметить, что когда на фронт попали русские тысячерублевки, персы предпочитали пятисотрублевки тысячерублевкам. И когда при оплате счетов давали им тысячерублевую кредитку, они возвращали ее, говоря: «Не надо кервансарай (Таврический дворец), дайте Баратуф (Петр Великий)». Теперь честь генерала попадала под удар; ежедневно штаб корпуса осаждался не только поставщиками, но и многочисленными ханами, у которых уходившие домой части, именем Баратова, реквизировали продукты питания и фураж, а оплатить счета было нечем. В Хамадане Баратов и Бичерахов обратились к представителю английского правительства, во имя дальнейшей совместной борьбы против турок на Кавказе, открыть кредит Бичерахову для содержания отряда и оплаты счетов по корпусным поставкам. Кредиты эти должны были быть погашены будущим законным правительством России. Англичане согласились на это и счета были оплачены. Таким образом, долгие и мучительные заботы Баратова по ликвидации корпусных дел подошли к концу и генерал, попросившись с верными и до конца преданными ему чинами своего штаба, покинул Персию. По приглашению англичан, он выехал через Индию в Лондон. К тому времени при Баратове оставались его адъютанты: поручики Альхави, Деспотули, Марков, Аннибал и командир конвойной сотни есаул Гацунаев с шестью казаками. Все они, после отъезда генерала поступили в распоряжение

Бичерахова, но связь со своим генералом не порвали и после возвращения Баратова из Англии в Батум, на Зеленом мысу, на даче Баратова, часто встречались. Что касается Селима Георгиевича Альхави и Владимира Михайловича Деспотули, в семье генерала их любили и относились к ним, как к своим. Они были при Баратове в Батуме и Тифлисе, при выполнении генералом возложенной на него генералом Деникиным дипломатической миссии при грузинском правительстве. А при покушении на генерала Баратова в Тифлисе, генерал был тяжело ранен в ногу, а его адъютант Альхави убит.

Когда часть отряда прибыла в Хамадан и караванный подвоз был налажен, начальник отряда приказал мне с пехотой и небольшим транспортом двинуться на Казвин. Туда мы прибыли, примерно, через неделю. Но так как на этом отрезке нашего пути мы уже могли встретиться с большевицкими формированиями, приказано было без крайней необходимости не вступать с ними в столкновение.

В Казвине к нам приходили разные большевицкие посланцы, которые вели свою пропаганду в нашем эшелоне, но люди держались крепко и на провокации не шли; выслушивали ораторов, задавали им вопросы, на которые те отвечали, тем дело и кончалось. Когда же начальник отряда прибыл в Казвин, он собрал офицеров в клубе энзели-тегеранской дороги и, объяснив им общее положение дел в России, приказал снять погоны, оставив офицерские кокарды на фуражках. Тяжело было тогда выполнить этот приказ начальника отряда, но делать было нечего; мы были последним осколком не существовавшей уже русской армии и должны были разделить ее судьбу.

Весною 1918 года, в Казвине, последний раз генерал Баратов принял парад частей казвинского гарнизона, после чего состоялся общий прощальный обед и генерал покинул Персию. После отъезда Баратова, полковник Бичерахов остался самостоятельным и независимым начальником. Он официально заявил, что дальнейшая его задача — это доставить казаков домой на Кубань и Терек. Но каждый из нас понимал, что осуществить это будет не так легко, ибо к тому времени немцы заняли Тифлис, а турки уже заняли Елисаветполь и двигались на Баку. Против них дрались наскоро сформированные отдельные бакинские батальоны; в Дагестане все бурлило; на Тереке казаки открыли фронт против красных, а в Баку засел Закав-

казский Совет Народных Комиссаров и опираясь на матросов Каспийского флота и частично на рабочих нефтяных промыслов, при помощи огня и меча насаждал свою власть на побережье Каспийского моря. И конечно, все это происходило на фоне противоположных друг другу национальных и политических течений, как, напри<sup>м</sup>., народы Закавказья, воспользовавшись свободами, дарованными им русской революцией, решили выйти из имперского состава и устроить свою жизнь по-своему. Исходя из этого, одни из них приветствовали приход турок в Закавказье, другие приветствовали приход немцев.

Русская часть бакинского населения с нетерпением ждала прибытия бичераховцев, на них возлагались надежды. Маленький отряд Бичерахова теперь пополнился новыми добровольцами, и вооружения на первых порах хватало, ибо он вывез из Персии запасы корпусного имущества. Таким образом, отряд стал как бы маяком для осиротевших русских патриотов в Закавказье.

К моменту отъезда генерала Баратова в Индию, головная часть отряда занимала Казвин, а арьергард находился еще в Керманшахе. Из Казвина нужно было двинуться на Энзели (теперешнее Пехлеви), но дорога между этими двумя пунктами от Менджиля до Решта была занята войсками Кучук-Хана, организованными немецкими офицерами и укомплектованными турецким командным составом.

Кучук-Хан — это старый персидский революционер, еще до войны боровшийся против правительства шаха и одновременно против иностранной политики, закабалившей Персию. Дело в том, что до войны 14-го года северная Персия находилась под протекторатом России, а южная под протекторатом Англии. Кучук-Хан же боролся за освобождение Персии от протекторатов, за свободную Персию. Войска его скрывались в лесах, вели партизанскую борьбу. Эти лесные братья, как они себя называли, поклялись не стричь волос и не брить бород, пока Персия не будет освобождена. И чтобы поддержать правительство шаха и оградить его от нападений кучукхановцев, Россия организовала в Тегеране Персидскую казачью дивизию и перед войной каждое лето посылала в Персию воинские части в помощь шахскому правительству. Но Кучук-Хан борьбы не прекратил и во время войны. Ко времени описываемых событий, он жил в своей деревне, окруженной непроходимым

болотом, в долине Гилян (под Рештом), штаб его находился в Рудбаре и войска его занимали отрезок энзели-тегеранской дороги от Менджиля до Решта. Не мало расхлябанных, дезорганизованных русских частей, уходивших домой, обезоружили тогда кучукхановцы и не мало солдат и офицеров поубивали. Они занимали менджильский мост через знаменитую реку Сефид-Руд, по которой, по преданию, в свое время, поплыл вверх Стенька Разин со своей ватагой.

Захватив менджильский мост и укрепившись в субтропических лесах между Рештом и Казвином, кучукхановцы, при помощи турок и немцев, стали подлинными хозяевами положения. Они решили нас с англичанами не пропустить к морю, чтобы не допустить усиления антитурецкого фронта в Закавказье. Помимо того, Кучук-Хан заключил с закавказским правительством договор, на основании которого он выдавал советам антикоммунистов, очутившихся на занимаемой им территории. Советская же власть избавляла Персию от дальнейших претензий России на протекторат над северной Персией.

К концу июня, в Казвине накопилось достаточное количество войск и начальник отряда, вызвав меня в штаб, дал мне задание: двинуться к Менджилю и перехватить у кучукхановцев менджильский мост. На следующий день операция по захвату моста была проведена удачно и мы заняли менджильский мост, не дав кучукхановцам произвести ни единого выстрела. Обе стороны заняли боевые позиции и выжидали. Мы с кучукхановцами воевать не собирались и потому нужно было как-то войти с ними в контакт и постараться показать, что мы готовы идти на сближение. Не дожидаясь развития событий, я оставил за себя своего заместителя с соответствующими инструкциями в случае моего захвата и взяв двух казаков, поехал к начальнику менджильского гарнизона. Это был один из ближайших сотрудников самого Кучук-Хана. На мое приветствие он не ответил и держал себя подчеркнуто враждебно по отношению ко мне, но и задержать меня не решился. Я же постарался насколько мог спокойно сообщить ему от имени полковника Бичерахова, что мы вынуждены были занять мост, чтобы обеспечить себе свободную дорогу домой. Все остальное зависит от него: или он даст нам возможность выйти из Персии мирным путем, или же мы вынуждены будем проложить себе дорогу силой. Переговоры длились долго и как-будто кучук-

хановцы примирились с захватом моста, но разведка докладывала, что персы подтягивают свои резервы к Менджилю. А через несколько дней мне пришлось в самом Менджиле встретиться и с немецким майором и с молодыми турецкими офицерами. Эта встреча была и для меня и для них неожиданна. В таком тревожном положении мы вынуждены были днем и ночью половину своей части держать в боевой готовности. Хорошо, что наша часть разместилась вне поселка, в отдельно стоящих домиках, в которых раньше были этапный пункт и склады Союза Городов. Отсюда мы могли весь поселок держать под наблюдением и если бы понадобилось, то и под ружейным и пулеметным огнем. Персы стали засылать к нам своих шпионов, в виде нищих, а раз ночью совершили взлом в одном из складов с брезентами для грузовиков, но мародеров поймали, посадили их под арест и потом обменяли их на арестованных кучукхановцами адъютантов генерала Половцева.

Захват менджильского моста, с одной стороны, в значительной мере облегчал наше движение к морю, а с другой — давал нам возможность держать под наблюдением проезжих из Энзели в Казвин, что по тем временам играло очень большую роль, ибо мы еще не знали, что нам готовят большевики и как нас встретят. Как-то наши посты задержали проезжего из Решта в Казвин. Тот категорически не хотел показать солдатам свои документы. Солдаты привели его ко мне: проезжий оказался генералом Половцевым — быв. командующим войсками Петроградского округа, бежавшим на юг и дальше в Персию и Индию, после неудачного восстания, организованного им в Петрограде. Мне пришлось извиниться перед генералом и помочь ему добраться до Казвина. На прощание генерал попросил посодействовать его двум адъютантам, пробирающимся вслед за ним. А через несколько дней проезжий армянин сообщил, что он шел с двумя русскими из Энзели и что их арестовали в Рудбаре. В эту же ночь я поехал к командующему персидскими войсками и, после недолгих переговоров, арестованные русские были обменены на арестованных нами мародеров. Кстати, арестованные нами воры на допросе признались, что они солдаты войск Кучук-Хана и что их послало их начальство украсть брезенты, которыми они пользуются для палаток. Освобожденные русские и были адъютантами генерала Половцева. Если не ошибаюсь, один из них был корнет Масленников, другого не помню.

Оба они были доставлены в Казвин, а там поступили на службу к англичанам.

В течение весны 1918 года в Рудбаре и его окрестностях накопилось много войск Кучук-Хана. Как было сказано выше, официальным командующим этих войск числился один из ближайших сотрудников Кучук-Хана, но фактическим командующим был один немецкий майор, фамилии которого не помню. Подтянув свои резервы к линии фронта, персы незаметно стали окружать нас большим кольцом. Мы перестроили свою оборону, но сил у нас было мало для ответных действий, а, главное, мы должны были удержать мост до прибытия наших главных сил. Я попросил у начальника отряда пополнения, но в самом Казвине сил было еще мало и нам на всякий случай была послана полевая радиостанция. Через некоторое время мне было приказано прервать телефонную и телеграфную связь противника, что мною и было сделано, но сам я был тяжело ранен и доставлен в Энзели, в портовый лазарет. Когда в Казвине накопилось достаточно сил, Бичерахов неожиданно очутился у Менджия. Немецкий майор выехал к нему для переговоров, но Бичерахов отказался принять немецкого офицера в роли парламентарера от Кучук-Хана, заявив, что он будет говорить только непосредственно с персами, но таковые не пришли и Бичерахов приказал открыть огонь по войскам Кучук-Хана. От первых же артиллерийских залпов войска Кучук-Хана разбежались, а казачьи сотни, проскочив через мост, устремились в Рудбар, но там никого не застали; и персы, и турки, и немцы скрылись в лесах. Этой основной операцией была открыта дорога на Энзели, ибо дальнейшие попытки персов задержать наше движение были весьма слабы.

Нужно заметить, что по всему пути отхода, вслед за нами шли англичане и занимали освобождаемые нами города.

Через неделю после доставки меня в Энзели, персы затеяли резню русских в городах Решт и Энзели, в отместку за грабежи и убийства, учиненные вооруженными бандами из бывших солдат, отставших от своих частей и занимавшихся мародерством.

Энзели — город персидский и расположен на юго-восточном берегу Каспийского моря, но один берег залива, на котором стоит город, был занят русскими войсками. Здесь были расположены пристань для кораблей и военные склады как и

другие военные учреждения. Здесь же наряду с комендатурой образовался и военно-революционный комитет, представлявший новую власть России.

К моменту описываемых событий, гарнизон города Энзели состоял из небольшой команды — из трех или четырех рот, живших в казармах, но не соблюдавших никакой дисциплины и никаких общепринятых войсковых порядков. Узнав о предстоящей угрозе, представитель военно-революционного комитета Коломийцев и комендант города обратились по радио к Бичерахову за помощью. Но Бичерахов с войсками находился еще в Казвине и в ответ на их просьбу назначил меня начальником обороны города, при условии, что мое здоровье позволит мне покинуть лазарет. Копия ответа была адресована мне. Посоветовавшись с врачом, я покинул лазарет, а Коломийцев повез и представил меня моим временно подчиненным. Весь день прошел в подготовке, а вечером, не дожидаясь нападения персов, мы сами пошли на них в наступление. Наши же пулеметчики на моторных лодках добрались до Решта и обстреляли его. К полуночи и мы добрались до Решта. Зачинщики резни разбежались по лесам, а городские власти обратились к Бичерахову с просьбой пощадить город. По распоряжению Бичерахова, мы в город не вошли, но цепи наши продолжали занимать свои позиции, пока сам полковник Бичерахов с конницей не подошел к городу с другой стороны. Его встретили городские власти и население города с цветами и инцидент был ликвидирован. А через четыре дня, оставив казаков под Рештом, Бичерахов с конвойной сотней прибыл и расположился в Энзели. Таким образом, бичераховцы добрались до долгожданного Каспия и «Последнему рейду» настал конец. Позади остались Месопотамия и многострадальная Персия.

С выходом к морю закрылась последняя страница истории похода отряда полковника Лазаря Феодоровича Бичерахова на Багдад и обратно. Последняя же страница Экспедиционного Кавалерийского Корпуса генерала от кавалерии Николая Николаевича Баратова закрылась с окончанием «Последнего рейда».

## ЭПИЛОГ

Бичерахову с отрядом предстояло переплыть море, чтоб попасть в Россию, но это было сопряжено с большими труд-

ностями: флот подчинялся советской власти и неизвестно было, что готовит эта власть Бичерахову и его людям. К тому времени в самой России большевики, разогнав Учредительное Собрание, уже утвердили свою власть над страной, а в Закавказье — в Баку, засел Закавказский Совнарком, те же большевики. И тех и других месопотамский поход не интересовал и бичераховцы у них не пользовались почетом. Мало того, у большевиков в Баку было очень мало вооруженных сил (тогда на фронте сражались, главным образом, армянские национальные части) и они побаивались Бичерахова, не доверяя ему, и не зная, что он может им преподнести. В то же время и положение Совнаркома было довольно тяжелое: немцы уже заняли Тифлис, а со стороны Батума и Карса турки двигались на Баку. Что касается местных народов, то одни из них приветствовали приход немцев на Кавказ, а другие приход турок. В самом худшем положении находилась русская часть населения, настроенная общегосударственно, но отрицавшая советскую власть. Таким людям некуда было податься и не на кого надеяться. В таком положении очутился и Бичерахов со своими людьми. Ему трудно было решить, что предпринять дальше. Правда, он тогда сделал официальное заявление, что, мол, его дальнейшая задача — доставить казаков на Терек и Кубань и распустить их по домам, но в обстановке тогдашних событий это заявление звучало неубедительно. Невольно в голову приходила мысль, что не может быть, чтобы Бичерахов, столько лет храбро сражавшийся на фронтах Германии, Персии и Месопотамии, теперь, когда враг вторгся в пределы России и занимает города один за другим, решил бы распустить свой отряд. И в то же время каждый понимал, что в его положении он ничего другого сказать не мог.

Позволю себе сделать маленькую оговорку: еще перед эвакуацией отряда из Энзели, Бичерахову стало известно, что в Баку прибыл из Астрахани отряд комиссара Петрова и что этот отряд по численности и силе огня может быть равен нашему. Эта новость заставила Бичерахова насторожиться. Конечно, Петров мог быть вызван в Баку для фронтовых операций, тем более, что бакинские батальоны под давлением турок все время отступали, но то что он прибыл туда перед нашим приездом, заставляло призадуматься. В связи с этим, Бичерахов вызвал меня и дал мне задание выехать в Баку на операцию (после

ранения), а неофициально — выяснить обстановку и заняться формированием пехотных частей для укомплектования нашей пехоты. Я прибыл в Баку и связался с нашими друзьями. Они мне посоветовали провести дело формирования официально через военный комиссариат. Они же подготовили мой прием комиссаром Б. Шебалдаевым. Шебалдаев принял меня приветливо, выслушал и удовлетворил почти все мои просьбы, касавшиеся новых формирований. Во время нашего разговора в кабинет вошел господин в черной черкеске, в черной высокой папахе и с кавказской посеребренной шашкой на портупее через плечо. Если не ошибаюсь, шашка была с георгиевским темляком. Нас познакомили — это был комиссар Петров, начальник отряда, прибывшего из Астрахани. Своим внешним видом и своими манерами Петров напоминал скорее атамана ватаги, чем командира воинской части. Да и отряд его, в точном смысле слова, нельзя было назвать воинской единицей; это была именно ватага, навившая страх на обывателей. Эта случайная встреча тогда на меня произвела неприятное впечатление. А когда я вернулся в гостиницу (коммерческие номера), где я остановился, на моей площадке уже стояли два матроса, вооруженные пистолетами и пулеметом Максима. Матросы подкатили пулемет к краю площадки и запретили мне подняться к себе. Понадобилось вмешательство хозяина гостиницы, который кое-как уговорил их пропустить меня в мою комнату. Оказалось, что Петров занял комнату на той же площадке и матросы охраняли его.

Нужно заметить, что население тяжело переносило обстановку непрерывных боев, при сильной жаре, отсутствии пресной воды и продуктов питания (водопровод был взорван турками, а очищенная морская вода сильно пахла нефтью и от нее болели животы). Но несмотря на это, по вечерам толпы народа выходили на набережную отдохнуть от дневного зноя и квартирной духоты. Как-то и я с одним из своих офицеров пришел с позиции погулять и освежиться. Мы два раза прошли по одной из аллей и вдруг из-за кустов поднялись красноармейцы с наведенными на нас винтовками и ручными гранатами. Мы остановились, остальной народ разбежался. Красноармейцы потребовали пойти с ними в штаб Петрова. Мы протестовали и не хотели идти, зная, что такие, как мы, оттуда живыми редко возвращаются. Однако наши пререкания продолжались недолго. Скоро мы почувствовали на спине боль от

острия штыков красноармейцев и покорились. Как опасных преступников, нас повели по улицам, разгоняя прохожих и держа нас под угрозой проколоть штыком. Так доставили нас на железнодорожную пристань в штаб Петрова. Штаб размещался на пароходе. Там сдали начальнику штаба с заявлением, что мы белогвардейцы и что якобы мы на набережной собрали народ и вели пропаганду против советской власти.

Начальник штаба отпустил солдат и потребовал наши документы. Отдавая документы, мы опровергли заявление старшего патрульного, заявив, что я начальник пехоты партизанского отряда Бичерахова, что мы просто гуляли по парку и что обо мне можно справиться у комиссара Петрова. Начальник штаба куда-то ушел с нашими бумагами (надо полагать к Петрову) и вернувшись, вывел нас вне расположения их отряда и отпустил на свободу. На прощание он сказал, что знает, что арестовавший нас патруль сказал неправду, но эти люди им нужны и что для нас самих будет лучше, если мы поступим к ним на службу. По тогдашним порядкам, таких счастливых как мы было немного. Каждую ночь волны выбрасывали на берег по несколько трупов бывших офицеров-фронтовиков, застрывших в осажденном Баку, которых как и нас патруль вылавливал на улицах и доставлял в штаб Петрова. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что из всех вооруженных сил Баку только отряд Петрова до конца остался верным советской власти. Когда моряки отвернулись от большевиков, и власть их пала, их место занял «Центрокаспий» (Центрокаспий был сформирован из городских общественных деятелей и представителей моряков), оставшиеся не у дел комиссары с отрядом Петрова и на его же судах ночью покинули город, направляясь в Астрахань. Но тогда они в Астрахань не попали, а посланная за ними погоня в числе пяти вооруженных судов, догнала их у острова Жилое и заставила вернуться в Баку. Что было непонятно — это то, что по дороге в Баку солдаты Петрова все свое легкое оружие выбросили в море. В Баку комиссаров сняли с судов и арестовали, а безоружных солдат отпустили ехать в Астрахань.

Однако, чтобы описываемые мною события получили правильное и последовательное освещение, я вынужден еще раз вернуться назад ко времени прибытия Бичерахова в Казвин. В Казвине к Бичерахову приезжали из Баку разные официальные и полуофициальные лица; приезжали они с разными задания-

ми. Одни из них вели прямые переговоры о признании советской власти, другие вели пропаганду в наших частях, третьи изучали силы и возможности Бичерахова, чтобы знать насколько он опасен. Для Бичерахова же создалось тяжелое, я бы сказал, безвыходное положение — впереди море и флот в руках большевиков; надо было решить как переплыть море. В результате этих переговоров, он заявил о своем признании советской власти и официально был объявлен командующим бакинским фронтом, но фактически в командование фронтом не вступил. Еще по пути из Энзели в Баку, по договоренности с председателем военно-революционного комитета на кораблях, Бичерахов распорядился вместо Баку кораблям взять курс на пристань Аляты (южнее Баку). Эта перемена курса была вызвана двумя соображениями: а) объехать Баку, где трудно угадать что его там ждало и уберечь отряд от разложения в большом городе; б) в это время на фронте шли ожесточенные бои и он торопился принять в них участие. Когда же бакинские власти узнали о случившемся и приказали кораблям немедленно взять курс на Баку, было уже поздно, суда один за другим подходили к рейду и выгружались, а высадившиеся части сразу же направлялись на фронт. Таким образом, Бичерахов высадился на русскую землю и избег необходимости встретиться с бакинскими вождями.

Через некоторое время, по приглашению бакинских властей, туда прибыли и англичане. На их помощь возлагались большие надежды. Для ведения морских операций им были даны два наливных парохода, которые они вооружили и оперировали под Андреевским флагом, но сухопутных войск у них было мало и 15 сентября, еще до наступления турок, они бросили свои позиции и ушли на свои корабли.

В начале июля отряд вышел на позиции в районе станции Сагачалы. К сожалению, бакинские войска были очень слабы и турки легко оттесняли их. К моменту нашего прихода на фронт, турки, готовясь к осаде города и намереваясь отрезать отступавшего противника от возможности уйти на север, вдоль берега моря, усилили свой левый фланг со стороны Шемахи и заметно выдвинулись вперед. Положение бакинских частей было критическое. В течение нескольких дней шли ожесточенные и кровопролитные бои. Бичерахов, ознакомившись с общим положением, приказал мне с вновь сформированным в

Баку батальоном занять выход одного из ущелий, по которому наступали турецкие кавалерийские части, а сам с основным отрядом переехал на самый правый фланг фронта, желая отразить наступление главных турецких частей и тем самым помешать им отрезать Баку от железнодорожного пути на север. Туда же прибыл и отряд комиссара Петрова, занявший позиции левее Бичерахова. Завязались сильные бои, но силы были далеко не равные и удержать турецкое наступление не удалось. В последний момент, когда фронт откатился к самому городу, Бичерахов не отступил в осажденный город, а ушел на север и отбив у красных города Дербент и порт Петровск, старался установить связь с терскими казаками. Я же со своим батальоном остался в Баку и со всеми остальными войсками пережил трагические дни осады и падения города.

Бои под Баку велись далеко неравными силами. Со стороны турок, под командой Нури-паши, наступал корпус регулярной армии и местные формирования, а против них дрались наскоро сколоченные батальоны из деморализованных революционной пропагандой солдат и офицеров персидского фронта и, главным образом, армянские национальные части. И не будь армянских национальных частей в Баку, турки вошли бы в город беспрепятственно, ибо русская армия уже не существовала, а красные формирования были ничтожны.

Должен заметить, что если во время наступления турок бакинские войска не могли оказать им должного сопротивления, то во время осады города они дрались отчаянно. Воевали не только воинские части, но и гражданское население; целые команды рабочих, никогда не бравших ружья в руки, добровольно приходили на позиции бороться и отстаивать свой город. Особенно большую роль в обороне города сыграл морской флот. Его огонь был внушителен и от грохота орудий оконные стекла в домах звенели. Всегда, когда турецкая артиллерия готовила на каком-нибудь участке фронта прорыв и делались перегруппировки частей, залпы с «Карса», «Ардагана» и «Геоктепэ» заставляли ее замолчать. Однако, и турки не унимались. Целыми днями, а часто и ночами держали город под непрерывным артиллерийским огнем. Два их прорыва у Волчьих ворот были ликвидированы с большими для них потерями. И, наконец, после двухмесячной осады, 15 сентября им удалось одновременно прорвать фронт у Волчьих ворот и в Балаханах

и ворваться в город. Баку пал! Узнав о том, что турки уже в городе, душа всей системы обороны, начальник штаба фронта, он же и фактический командующий фронтом, полковник генерального штаба Тер-Аветисов, застрелился. Покойный почти из ничего создал бакинский фронт и до последнего дня, не щадя себя, отдавал свои силы и незаурядные знания делу обороны, но удержать города ему не удалось; турецкая сила во много раз превосходила его возможности. Нужно заметить, что в деле борьбы против движения турок в Закавказье не оправдала себя и помощь англичан, ради которой Бичерахов содействовал их приходу в Баку. Их помощь потом обернулась против нас, ибо после ухода турок они из союзников превратились в оккупантов и бесконтрольно хозяйничали в Закавказье, усиленно вывозя бакинскую нефть.

Из Баку мы эвакуировались в Петровск. А через полтора месяца турецкие войска двинулись на Дагестан. Завязались тяжелые бои между бичераховцами и во много раз превосходившими их турками. Положение Бичерахова было безвыходно и потому, что ему не удалось еще пробить дорогу к терским казакам. Небольшой его десант, в составе одного батальона пехоты и батареи полевых орудий, сначала успешно действовавший против красных на Старотеречной и под Кизляром, потом был прижат к морю и уничтожен отступавшей, под давлением генерала Шкуро, армией Сорокина. Таким образом, дорога на Терек оказалась закрытой. И Бичерахов, погрузив на суда свои части и гражданское население, пожелавшее покинуть Петровск, отплыл в Ленкорань. Залив Сара превратился в плавучий город.

17 ноября Турция капитулировала и войска ее в срочном порядке должны были покинуть Кавказ. Тогда англичане обратились к Бичерахову со следующим заявлением: мы признаем вас единственным представителем старой русской власти на Кавказе и предлагаем встретиться в море и вместе войти в Баку. В связи с указанными сроками суда с бичераховцами вышли в море, но англичан не встретили. Потом выяснилось, что, вопреки договоренности, они одни вошли в город накануне вечером. Не встретив англичан, наши корабли подошли к Баку и стали на рейде, а штабной пароход причалил к пристани. На палубу поднялся английский генерал Денстервиль в сопровождении полковника Клатарбек и заявил Бичерахову, что за вре-

мя пребывания турок в Баку, здесь образовалась Азербайджанская республика и они, англичане, считаются с совершившимся фактом. На это заявление Бичерахов ответил: «Я имел дело с представителем английского короля и не мог предположить, что он может лгать. Вы, господин генерал, можете считаться с совершившимся фактом, но не я. Я дам приказ своим войскам немедленно занять все официальные учреждения в городе». Генерал не столько был обижен, сколько перепуган и уговаривал Бичерахова не прибегать к крайностям; в Баку и без нас было пролито много крови. Лучше подождать развития дальнейших событий. После англичан к Бичерахову пришла делегация от русского населения и от азербайджанских властей. Каковы были дальнейшие переговоры не знаю, но страсти улеглись и положение стабилизировалось. Штаб отряда посланник Уфимской Директории, профессор Головин, который объявил Бичерахову поддержку со стороны Директории и производство его Директорией в генерал-лейтенанты. Одновременно признали его власть города Красноводск и Гурьев. Бичерахов был провозглашен командующим войсками прикаспийских областей. Однако дальнейшие события приняли совсем неблагоприятное направление для Бичерахова и летом 1919 года он вынужден был расформировать свой отряд и отправить казаков и солдат в Добровольческую Армию. А сам, по приглашению английского правительства, выехал в Лондон; это приглашение принесло генералу еще большее разочарование и он из Англии переехал в Париж, где около десяти лет работал на заводе.

Во время второй мировой войны, после обнародования Пражского Манифеста КОНР'а, генерал Бичерахов вошел во власовское движение, но подорванное здоровье надолго приковало его к постели и не дало возможности занять подобавшее ему место.

25 июля 1952 года генерал-лейтенант Лазарь Феодорович Бичерахов умер в старческом доме Дорнштадт, под Ульмом, и похоронен там же, в ограде церкви.

*К. Кромиади*

## ЮБИЛЕЙ “ВЕЛИЧАЙШЕЙ МИСТИФИКАЦИИ”

Люди, события, идеи имеют свои, часто неповторимые, судьбы. Но для исторических судеб отдельных народов и человечества в целом важны не только действительно имевшие место события, цели и действия людей в них участвовавших или истинный смысл идей их вдохновлявших («Как это действительно произошло» — по классической формулировке отца немецкой историографии Ранке), но также **восприятие**, отношение к событиям, идеям и людям современников и потомков. В свете исторического опыта последнего столетия, едва ли придется доказывать, что действительный ход событий, действия и цели людей, наконец, подлинный смысл идей далеко не всегда соответствовали их восприятию современниками и последующими поколениями. Можно даже сказать (хотя некоторым эта мысль и покажется парадоксальной), что восприятие событий и идей современниками и потомками часто оказывается даже важнее, чем их действительная, историческая канва. «Правдивая» история, основанная на «неопровержимых фактах» и верно переданных цитатах, «историческая» легенда, вымысел, по каким-то неведомым путям, получивший право считаться фактом — как все это часто трудно различимо и взаимно переплетено. Факты, документы, речи, воспоминания произвольно выбираемые и употребляемые учеными историками — иногда добросовестными, а часто плохо осведомленными жертвами мистификации, еще чаще сознательными фальсификаторами — в действительности представляют собой весьма относительную ценность.

Подобные размышления не могут не придти в связи с отпразднованным полувековым юбилеем Октябрьской Революции. Действительно, странной, непостижимой, никем не предугаданной оказалась не только судьба этой революции; в неменьшей мере фантастическими оказались ее восприятие и оценка, как в самой России так и за ее пределами. В стране,

где она произошла, вот уже почти пятьдесят лет как понимание этой революции внедряется в умы и сердца, в виде какого-то лубка, напоминающего трогательные сказки Андерсена. «Хороший», всегда безошибочно-мудрый Ленин, возглавляющий, вездесущий и ведущий героическую партию и рабоче-крестьянский народ; какой-то ставший почти анонимным ЦК (по формуле: «Сталин, Свердлов и другие...»), играющий роль как бы связного между, наделенным всеми добродетелями, народом и управляющим им из подполья вождем; «плохие», немые, меньшевики и эсеры, для простоты названные «соглашателями», сознательно или бессознательно выполняющие задания мировой и отечественной буржуазии; юнкера, казаки, корниловцы; смешной истерический «Бонапарт» Керенский; трусливые министры, бездарные генералы, перед которыми вахмистр Буденный, прапорщик Крыленко, матрос Дыбенко и луганский слесарь Ворошилов предстают в виде непобедимых наполеоновских маршалов. В сталинские годы, роль Наполеона (многократно преумноженного, разумеется) отводилась самому Сталину. Помнится, на одной выставке, посвященной гражданской войне, Буденный, осмотрев картины и документы о царицынской обороне, воскликнул (по словам репортера «Правды») в сердцах: «Да, что там Наполеон! вот Сталин, это да...»

И вот уже пятьдесят лет. Неверно, как это часто утверждают западные историки и «прозревшие» бывшие коммунисты, что организованная и повальная ложь и «культ личности» начались при Сталине. Он насаждался и укреплялся уже при Ленине и Троцком, хотя и тот и другой, будучи людьми более культурными, не допускали, чтобы этот культ принимал смехотворные и отвратительные формы последующих лет. «Почтительное» подхалимство, привычка наделять вождей добродетелями и талантами, которых у них не было, начали практиковаться и устно и письменно с самого начала прихода большевицкой партии к власти. Причем, вожди с этим легко мирились, сживались и принимали как должное. У них сразу появились и непререкаемый тон, и чувство их непогрешимости и грубое самодовольство. Известно, например, что «предложение» Ленина (фактически, решение) ввести НЭП, означавшее настоящий переворот в жизни страны, было полнейшим сюрпризом для делегатов X-го съезда партии и даже для многих ее

руководителей. Спорить с Лениным было еще можно, но голоса его противников уже тогда звучали как «гласы вопиющих в пустыне».

Неверно также, что советский лубок о революции упрощался только в странах коммунизма. Им завален, он воспринят и ассимилирован также и критически-мыслящим Западом в лице его крупнейших представителей государственного, политического и артистического мира. Почтенный английский историк Карр, человек несомненно талантливый и знающий (об этом говорят, хотя бы, его писания о Бакуanine и Герцене), например, написал многотомную, еще не законченную историю революции и советской власти. Воспользовавшись неопровержимыми цитатами и «фактами», почерпнутыми из официальных источников, Карр, в основном, воспроизвел тот же самый советский лубок. Разумеется, над Карром не висел карательный меч советской «юстиции» и цензуры и он поэтому позволяет себе иногда судить и Ленина и Сталина как людей, а не как богов. Однако, философия, смысл, все выводы Карра о революции и режиме, по существу, мало чем отличаются от тех, которые официально выработаны и санкционированы агитпропом КПСС. Но проф. Карр только один из многих и, вероятно, один из наиболее авторитетных представителей этой категории историков ввиду его исключительной способности манипулировать советскими цитатами, «фактами» и документами. Жертвами мистификации оказываются даже люди, обладающие, казалось бы, во многих других областях, исключительной проницательностью как, например, Жан Поль Сартр...

Но разве это могло быть иначе? На Западе к факту и документу обычно относятся с большим доверием, а к печатному слову (особенно, относящемуся к истории) и с уважением. Тоталитаризм — в жизни, литературе, исторической науке — явление сравнительно новое и по существу мало изученное и плохо понятое теми, кто его не испытал. В Западных «русских институтах», находящихся под руководством и покровительством известнейших американских и европейских университетов, ученнейшие профессора и их любознательные студенты часто растрачивают свою энергию на исследование фактов и документов, **сфабрикованных пропагандными ведомствами**; их часто недюжинные способности употребляются на многолетние писания диссертаций на такие по существу ко-

мичные темы как «народовластие в советской конституции» или «политическая деятельность советского депутата...» Нужно признать, что в области мистификации Советы чрезвычайно преуспевали и преуспевают. Об этом свидетельствует, хотя бы, и количество и качество книг, статей, фильмов, выставок, изданных и организованных на Западе в связи с пятидесятилетним юбилеем. Те немногие трезвые голоса, которые раздавались по поводу отпразднованного юбилея, доходили обычно только до узкого круга людей уже, по существу, прекрасно осведомленных. Многотиражная печать, радио, телевидение — даже некоторые наиболее читаемые советоведческие и славяноведческие журналы отметили это событие с тем «объективизмом», который, в данном случае, был совсем не уместен.

## II

Время для настоящей демистификации советского опыта в целом еще не наступило. Многие и несомненно самые важные архивные материалы еще не доступны, да и к этим материалам надо относиться с величайшей осторожностью. Попытку демистификации можно предпринять только для начального периода, т. е. для тех революционных дней и месяцев, когда власть еще не обладала полной монополией пропаганды и когда в стране или за ее пределами можно было еще дать иную оценку событиям. Такие попытки демистификации, разумеется, делались в прошлом. Юбилейные торжества, однако, еще раз засвидетельствовали, что эти отдельные попытки или не дошли до более широкой аудитории или позабыты; кроме того, молодому послевоенному поколению они вообще почти неизвестны.

В этой статье, я, разумеется, не намерен ни заполнять какие-то исторические пробелы, ни восстанавливать или «исправлять» какие-то спорные факты, ни тем более дать читателю новые факты. Нет, намерения мои скромнее. Я хочу, во-первых, попытаться сопоставить некоторые особенно явные и грубые несоответствия между восприятием некоторых первостепенной важности фактов их современниками и укоренившимся, благодаря систематической мистификации, восприятием этих же фактов, впоследствии. Другая задача, которую я ставлю себе, это воскресить для читателя ту поистине громадную, решающую и роковую роль, которую в предоктябрьские

и октябрьские дни сыграла, применявшаяся в те дни Лениным и Троцким, тактика сознательного обмана и в отношении их собственных приверженцев, и их временных, вскоре обманутых, союзников и пошедших за ними народных, рабоче-крестьянских масс. Кстати, эту тактику, вожди и их историки эвфемистически называли «военной хитростью».

Известно, что официальная большевицкая философия или интерпретация революции чрезвычайно проста. В своих некоторых частностях, особенно в отношении ее участников, ликвидированных в сталинские годы, она, разумеется, менялась, сообразно конъюнктуре; в основном, однако, большевицкая интерпретация революции, исходит от Ленина и сводится к определенному числу основных положений.

Согласно этой интерпретации, революцию совершили, преимущественно, рабочие столицы, начавшие (под руководством большевицкой местной организации) уже 18-го февраля большие забастовки в Петрограде. К ним вскоре примыкают женщины в очередях, требующие, как и рабочие, мира, хлеба и уничтожения самодержавия. Забастовки и демонстрации перерастают в восстание, которое заканчивается 26-27-го февраля полной победой, после того, как на сторону «восставшего народа» переходят одни за другими солдаты двухсоттысячного петроградского гарнизона. Последние, иногда самоchinно, но, преимущественно, под руководством большевицкой организации, создают Советы, становящиеся «органами восстания и зародышем новой власти».

Уже в этом очень суммарном изложении событий и смысла первых дней революции достаточно упрощений и лжи. Немощная в те дни «большевицкая организация», во главе которой тогда стояли молодой Молотов (из студентов) и рабочий Шляпников, ничем и никем не руководила. Забастовки были вызваны многими причинами — экономическими и политическими, среди которых можно назвать и арест представителей рабочих в военно-промышленных комитетах (меньшевик-оборонец Кузьма Гвоздев и другие) и указ о приостановке работ Государственной Думы. Однако, никто, ни среди большевиков, ни в других оппозиционных партиях, ни в правительстве, этим забастовкам и демонстрациям не придавал большого значения, ибо в те дни подобные выступления были делом частым и обычным. Революция, действительно ставшая таковой ввиду

перехода войск на сторону демонстрантов, началась стихийно. В этом единодушно сходятся все, кто тогда в Петрограде имели отношение к оппозиционным партиям. Среди демонстрантов несомненно были плакаты с лозунгом «Долой войну!»; однако, все участники событий свидетельствуют о том, что, в первые дни революции, ни рабочие, ни солдаты, в массе своей, не требовали немедленного окончания войны, а, наоборот, в своем большинстве, были настроены патриотически и оборончески. Большевицкие историки почти полностью игнорируют Государственную Думу, к которой, именно, и тянулись в первые дни и рабочие и солдаты, видя в ней средоточие и центр революции. Кумирами или доверенными руководителями восставшей массы в первые дни были не мало кому ведомые большевицкие организаторы, застигнутые, как и все, врасплох этой поистине народной революцией, а популярные лидеры и ораторы Государственной Думы, как Керенский, Чхеидзе и даже Милюков разоблачавшие «бездарность» старого режима, главным образом, в вопросах обороны еще до революции с трибуны Государственной Думы. Нужно добавить, что в революционных кругах столицы, включая и большевиков, к событиям вначале относились с большой подозрительностью, опасаясь, что они могут оказаться «провокацией» со стороны весьма непопулярного тогда в революционных и либеральных кругах министра внутренних дел Протопопова.

Приписавшие себе роль руководства революцией, большевицкие историки не могут вразумительно ответить даже на такой простой вопрос: как же это случилось, что этот воспетый сознательный пролетариат столицы и его героический гарнизон посылали в Советы — «органы восстания и зародыши новой власти» — **не большевиков**, а меньшевиков и эсеров — к тому же и тех и других обычно оборонцев — или, по большевицкой терминологии, отпетых соглашателей и предателей. Ведь вначале в руководстве Советов (ЦИКе) было очень мало большевиков и с ними никто фактически не считался. Даже в июне, на Всероссийском Съезде Советов, когда большевики были уже довольно сильны и когда Ленин счел уже возможным и нужным объявить, что его партия готова **одна** взять власть в свои руки, даже на этом демократически-избранном съезде представителей рабочих и солдат (демократичность съезда не оспаривали и большевики), партия Ленина была

представлена из более чем семиста депутатов только сто пятью, т. е. менее 15%.

Большевики, однако, из такого затруднительного положения выходят весьма просто. Их вожди, утверждают они, были в первые дни революции в тюрьмах, Сибири или заграницей; и наоборот, вожди соглашателей якобы разгуливали на свободе. Но это, разумеется, ложь. Почти все более-менее видные деятели меньшевиков и эсеров были в тюрьмах, в ссылке и заграницей в неменьшей, а может быть даже в большей, пропорции чем это было у большевиков. Ради примера укажем только, что в те дни и недели в Петрограде самой видной фигурой у эсеров был Зензинов, а у меньшевиков — члены Думы Чхеидзе и Скобелев, т. е. люди, которые тогда не считались и не могли считаться настоящими политическими руководителями своих партий. Нет, большевиков не избирали не потому, что у них не было наличности вождей, а потому, что их лозунги и тактические приемы — вся их концепция революции — не соответствовали тогда настроениям рабочих, солдат и крестьян.

В наше намерение вовсе не входят защита и оправдание вождей демократических и «соглашательских» партий, совершивших крупнейшие, сейчас даже трудно-постижимые и трудно-объяснимые ошибки, облегчившие большевикам захват власти. Главная их ошибка, граничащая с чем-то худшим, именно к тому и сводится, что, благодаря их действиям или бездействиям, несвоевременные большевицкие лозунги стали своевременными. То, что в марте, апреле и мае в ленинских схемах казалось невероятным, утопическим даже большевикам, становилось все более приемлемым с нарастанием, разворачиванием и радикализацией революции. С горечью приходится констатировать, что объяснения данные Лениным и Троцким (в этом коренном для революции вопросе они почти ни в чем не расходились), о причинах нарастания и радикализации революции, оказались верны. Политическая косность, близорукость, догматизм и даже тупость; боязнь власти, боязнь ею воспользоваться для разрешения самых неотложных коренных проблем — сделала нарастание революции и триумф большевизма неизбежным. Под пером многих мемуаристов, которым задним числом пришлось объяснять причины их действий и бездействий, Февраль был **заранее** обречен и Октябрь неминуем. Нет,

в политике и истории нет заранее предначертанного, закономерного, детерминистского исхода. История делается людьми ответственными за свои действия. Сам А. Ф. Керенский, который, казалось, больше всех мог бы ссылаться на исторический рок и стихию, заявил: «Октябрь волей людей, а не силой стихии стал неминуем». Следовало бы только добавить: волей одних и безволием других.



Однако, не ошибки, действия и бездействия людей Февраля сейчас — наша тема. Возвращаясь через пятьдесят лет к тем знаменательным событиям, нельзя освободиться от мысли, что, помимо всех этих ошибок и той (в общем, психологически понятной) недооценки большевицкой опасности, того неверия в долговечность большевизма и непонимания его сущности (эти черты, в той или иной мере, были присущи **всем** деятелям Февраля) — Ленин мог придти к власти, во-первых, благодаря его и Троцкого специфической «тактике» и той наивной легковёрности его временных «союзников», которых Плеханов называл в те месяцы «полуленинцами». Эта специфическая тактика была своеобразной комбинацией обмана, двойственности, недоговоренности, двусмысленности, утраченного, политически-морального террора, которая в своей совокупности и давала нужный эффект.

Сейчас, в свете проделанного опыта, легко удивляться людской наивности и легковёрию. Но ведь тогда, накануне Октября, и сами большевики, и их программа, и их обещания воспринимались (не только в народе) с большой долей доверия. Ведь, когда, например, Троцкий, ставший в сентябре Председателем Петроградского Совета, торжественно обещал ограждать права и свободу всех других фракций Советов, ему верили даже многие из его противников; когда большевики клялись в бесчисленных речах и резолюциях, что только они действительно и без промедления созовут Учредительное Собрание; когда тот же Троцкий закончил свою речь, от имени большевицкой фракции в Предпарламенте, возгласом: «Да здравствует Учредительное Собрание!», ему тоже многие верили. Не исключена возможность, что даже сам Троцкий в это верил, ибо всех настоящих намерений Ленина он как «чужой» (т. е. не старый большевик) не знал. Надо вообще иметь в

виду, что Ленин и его ближайший аппарат не особенно доверяли бывшему меньшевику Троцкому, с которым у него в прошлом были очень плохие отношения и которого он называл Балабайкиным, фразером, пустословом и т. п. Кстати, надо полагать, что Ленин никогда серьезно и не помышлял, в случае победы, сохранить Учредительное Собрание как полномочное парламентское учреждение. Так, он, например, носился с планом «объединить» Учредительное Собрание с Советами. Полагая, что в Советах большевики будут располагать большинством, он отводил Учредительному Собранию право только санкционировать решения Советов. В статьях Ленина того периода (см., напр. «О конституционных иллюзиях») можно найти такие глубокомысленные и «демократические» высказывания: «большинство» это «когда власть находится в руках такого класса, интересы коего совпадают с интересами большинства»; или: «простое большинство ничего не решает».

Опять таки, когда большевики объявили себя сторонниками эсеровской аграрной реформы, то это было воспринято не только многими эсерами и меньшевиками как «доказательство» того, что Ленин вовсе не стремится перестраивать страну на «социалистических началах», а хочет только по-настоящему и неотложно провести те меры, к которым в принципе стремились все, и в первую очередь, сами крестьяне. В рабочем вопросе говорилось, преимущественно, о «рабочем контроле», т. е. о мерах, которые поддерживались даже правыми меньшевиками. Правда, и тут была двойственность и недоговоренность, ибо в большевицких речах, резолюциях и особенно писаниях Ленина говорилось также и о настоящем социализме, о мировой революции, о том, что Россия должна начать, зажечь искру, а другие, т. е. Запад, закончить ее — мировым пожаром....

Политическая недоговоренность, двусмысленность большевицких намерений ускорила и так уже углублявшийся раскол и развал в «соглашательских» партиях. Аграрная программа большевиков внесла разброд в партию эсеров, в которой петроградская организация, в своем большинстве, фактически перешла на большевицкие позиции. Известно, что именно, благодаря голосам этих левых эсеров, Второй Съезд Советов санкционировал фактическую передачу власти большевикам. У меньшевиков, целая группа видных деятелей, с Ю. Ла-

риным во главе, даже формально перешла к большевикам. Группа левых меньшевиков «интернационалистов», чья политика никогда не отличалась особой ясностью, претерпела отходы и отколы, хотя ее лидер, Ю. Мартов, уже сразу после ликвидации корниловского восстания, понял (и этого не скрывал), что теперь опасность для революции исходит от большевиков. Характерно (и это могло бы послужить уроком для других попутчиков коммунизма), что в наступившей тогда политической поляризации страны, все весьма многочисленные промежуточные пробольшевицкие группы начали быстро терять влияние в массах; теперь их лидеры, даже Мартов и Суханов, могли быть избраны или кооптированы в Советы только при поддержке большевиков.

### III

Программно-политическая двусмысленность большевиков, так обманувшая и разложившая их противников и союзников, была только одним и, вероятно, не самым главным элементом в общем ленинском плане захвата власти. Не меньшую роль сыграли те непосредственные лозунги, муссированные слухи, инсинуации, пущенные большевиками в те решающие сентябрьско-октябрьские дни, когда, по выражению Ленина, «кризис назрел» окончательно и когда в порядке дня Лениным ставился вопрос о вооруженном восстании и захвате власти. Ленину надо было преодолеть сопротивление в самом большевицком руководстве, в котором большинство или колебалось или (Зиновьев и Каменев) считало, что восстание закончится поражением и изоляцией большевиков, ибо Россия не созрела для социалистической революции. Большевицкая печать (у них тогда уже были сотни газет и тысячи профессиональных агитаторов) усиленно распространяла слух о подготавливаемой Керенским новой корниловщине, о намерениях Временного Правительства сдать немцам Петроград и заключить с ними сепаратный мир и т. д. и т. п. Вся эта пропаганда была, разумеется, соткана из чистой лжи. Но важно было не то, что соответствовало действительности, а то, как дело представляли большевики и их союзники, имевшие уже тогда большинство во многих Советах и в первую очередь, в Советах Петрограда и Москвы. И еще важнее было другое. В эти дни произошло нечто, что старыми большевиками обычно замалчивается,

а западными историками не вполне и не до конца изучено. Ленин, главный политический стратег и мотор революции, человек, который политически и тактически ее выдумал, продумал и додумал до конца и до мельчайших подробностей; человек, который эту революцию почти насильно навязал колеблющемуся и сопротивляющемуся руководству партии — вот этот человек, без которого октябрьской революции быть не могло (во всяком случае, в таком виде и с такой целеустремленностью) фактически в те недели и дни теряет руководство и контроль над событиями. И дело не только в том, что Ленин в те дни скрывался, а Троцкий, в качестве председателя и руководителя Петроградского Совета, мог открыто руководить событиями. Дело в том, что предложения Ленина большевикам руководством в те дни систематически игнорируются и что события идут вразрез с его оценками и предвидениями. События принимают совершенно другой, не ленинский, оборот. Ленин, ЦК и сама партия уходят на второй план, ибо настоящее руководство переходит к Совету, его органам и людям от Ленина и аппарата гораздо меньше зависящим.

Как и почему все это случилось? 9-го октября (по старому стилю), в разгар вышеупомянутых распространяемых большевиками слухов и обвинений о подготавливаемой правительством новой корниловщине, сдаче немцам Питера и о переговорах о сепаратном мире, Керенский и ген. Черемисов, командующий северным фронтом (главкосев), отдают приказ о выводе некоторых, преимущественно, большевики-настроенных частей гарнизона столицы. Большевикскими и пробольшевикскими пропагандистами, а, главным образом, Советом приказ истолковывается как подтверждение обвинений, выдвигаемых против правительства. Совет, который и раньше, в «соглашательский» период, вмешивался и контролировал распоряжения правительственных и военных властей, решает «выяснить» насколько эти распоряжения действительно диктуются соображениями обороны и 16-го октября создает для этой цели Военно-Революционный Комитет (ВРК). Одновременно принимается решение приказа о выводе войск не выполнять и перенять, в случае надобности, оборону столицы в собственные руки, т. е. Совета и его ВРК. Невыполнение приказа о выводе войск проходит безнаказанно, ибо, во-первых, правительство не может или не решается заставить войска выполнить приказ

силой; во-вторых, Совет бросает свой вызов правительству под видом легальности, затягивая весь вопрос всякими переговорами, обещаниями, которые дезориентируют и военные и гражданские власти. «Правительство было поймано на удочку легальности», будет впоследствии хвалиться Троцкий. ВРК, которым руководит Троцкий, но в котором формально председательствует восемнадцатилетний левый эсер Лазимир (вот какие мужи тогда решали судьбы страны!) быстро превращается из центра «обороны» в центр восстания. Формируется Красная Гвардия; ВРК декретирует, что воинские части не должны выполнять приказов без его, ВРК, разрешения — декрет, который разложенными войсками охотно принимается. Троцкий прав: невыполнение приказа Временного Правительства и ген. Черемисова было **решающим и поворотным** моментом революции. Революция, как Троцкий впоследствии писал, была уже тогда, т. е. 16-го октября, произведена и выиграна на три четверти, ибо этим актом или вызовом большевицко-левоэсеровский Совет доказал свою мощь, а правительство свою немощь.

Разумеется, Ленин в эти дни не дремал. В письмах и разговорах он метал громы и молнии против колеблющегося и «трусливого» большевицкого ЦК; он подавал в отставку, грозил «идти в массы» через голову ЦК, начал использовать всякие обходные пути, переписывался и излагал свои планы захвата власти латышскому большевику Смильге — влиятельному двадцатипятилетнему председателю Матросских Советов в Финляндии... Ленин чувствовал, что руководство ускользает из его рук, а бывшему меньшевику Троцкому он не совсем доверял. Кстати, если в отношении Троцкого он здесь оказался неправ, то у него были все основания не доверять старым большевикам, цекистам. Действительно, собравшись 10-го октября на заседание (в квартире Суханова, жена которого была большевичка) и вторично 16-го октября, ЦК в принципе принял, против голосов Зиновьева и Каменева, предложение Ленина о подготовке вооруженного восстания. Однако, только в принципе, ибо в действительности ЦК не очень то рвался в бой. Если против восстания открыто выступали Зиновьев и Каменев, то фактически против него было также большинство других членов ЦК и даже наиболее видные вожаки большевицких рабочих, «военки» и красногвардейцев. Такие большевицкие руководители как Рыков, Ногин, Бубнов, Томский, Ка-

Ленин, Милютин и даже Невский, Володарский сильно колебались и потому для руководства восстанием были мало пригодны. Ленин предлагал начать восстание в Москве, где положение ему казалось более благоприятным, в Финляндии, где он рассчитывал на Смилгу и его матросов; Ленин изобличал «идиотизм» и «конституционные иллюзии» тех своих товарищей, которые хотели приурочить восстание к открытию Второго Съезда Советов с целью, чтобы съезд санкционировал восстание своим авторитетом. Ленин неистовствовал, обвиняя тех, кто хотели ждать открытия съезда, в том, что они «выдают» день восстания Керенскому и его «корниловцам»....

Как известно, ни одно из этих предложений Ленина не было принято и выполнено. События пошли по логике и под руководством «идиотов» и «трусов». Самый октябрьский переворот был серым, мало кем замеченным событием, прошедшим под знаком безразличия и непонимания населением. Революционные выступления, захват стратегических пунктов, правительственных зданий, были, по воспоминаниям Суханова, похожи на смену караулов. В революции приняли активное участие только части кронштадтских матросов, красногвардейцы, члены большевицкой военной организации и коммунисты, но при бездействии и неучастии пролетариата. Гарнизон столицы, от поведения которого все могло зависеть, был, в своем подавляющем большинстве, **нейтрален**. Солдаты и матросы помнили июльские дни и опасались, что октябрьское выступление может закончиться таким же поражением. Однако, именно нейтральность гарнизона и оказалась, при создавшихся условиях и соотношении сил, решающим фактором, а этой нейтральности умело добился своей пропагандой ВРК под руководством Троцкого. Ленин, который скрывался до последнего момента и который появился в Смольном только на открытии Съезда Советов, сказал Троцкому: «Да, оказывается можно было это сделать и так....» Сталин, недолюбливавший и не доверявший Троцкому еще больше чем Ленин, писал к первой годовщине Октябрьской Революции, что всему практическому проведению Октябрьской Революции партия обязана, в первую очередь, «товарищу Троцкому». А в пятидесятую годовщину Октября имя Троцкого (и, кстати, Сталина) даже не упоминалось ни к добру, ни к худу....

События пошли не по Ленину; тем не менее Ленин был

прав, когда утверждал, что власть валяется на улице, что ее также легко взять, как поднять перышко. Сила сопротивления оказалась «ровным счетом — нуль», заявил потом Троцкий. «В истории, — добавлял он, — не было такого восстания, которое было бы заранее во всеуслышание назначено на определенное число и было бы в положенный день совершено и при том победоносно». Это, разумеется, верно и даже до такой степени, что октябрьский переворот трудно назвать настоящей революцией. Даже осада Зимнего Дворца — эта наиболее «прославленная эпопея» 25-го октября, по существу, «героической» была только в казенном описании. В действительности, даже в воспоминаниях ее участников, она большой чести большевикам не делает. Орава разъяренных людей, преимущественно, матросов, в течение долгих часов осаждала группу пожилых русских интеллигентов, имевших несчастье быть министрами недолгой и мученической русской демократии. В этом революционном наступлении на «последний оплот буржуазии», который защищали отряды женского батальона и юнкеров, погибло, говорят, шесть человек. Кстати, Антонову-Овсеенко, полководцу этой операции, и его помощникам (Подвойскому и Чудновскому), главным образом, приходилось употреблять всю свою энергию, чтобы не допустить наступающих революционеров к винным погребам.

Нужно сказать, что даже в описании Суханова, Троцкого и самого Антонова-Овсеенко, осажденные министры вели себя с большим достоинством и мужеством. Они отказались сдать-ся и подчинились только грубому насилию. Они были на волоске от смерти, им угрожала разъяренная толпа и в Зимнем Дворце и особенно, — по пути из дворца в Петропавловскую крепость. В них несколько раз стреляли. Только благодаря энергичным действиям Антонова-Овсеенко (это подтверждают очевидцы) расправы удалось избежать... Как тут не вспомнить и не сравнить поведение министров Временного Правительства с поведением большевиков в послеиюльские дни? Ленин, которого «клеветники» обвиняли в получении денег от немцев, побоялся явиться на суд, чтобы доказать свою невиновность. А ведь ему нечего было бояться, ибо его «преследователями» были такие «бесхребетные», и отнюдь не кровавые люди как министры юстиции Переверзев или Мальянович; главари большевистских матросов в Кронштадте Рас-

кольников и Рошаль, после провала июльского выступления, вели себя, по воспоминаниям Суханова, унинительно, упрашивая «соглашателей» отпустить их обратно в гавань. А ведь их инквизитором (руководителем Комиссии по расследованию июльских событий) всего навсего был такой «злодей», как меньшевик Либер...

#### IV

Зачатый и рожденный во лжи и мистификации, Октябрь так и не мог освободиться от своего первородного греха за все свои пятьдесят лет. Если в **этом смысле** можно говорить об изменениях или эволюции, то только к худшему. Для объяснения сущности Октября и советского режима, в политической литературе пользовались многими лапидарными выражениями. Думается, что никто Октябрьскую революцию и вышедший из нее режим, не определил вернее, чем старик Каутский: «Величайшая мистификация в истории».

*Д. Анин*

# МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И КОММУНИЗМ

При изучении человеческого общества прошлого столетия, Маркс попытался ввести его развитие в известные исторические схемы, будто-бы обязательные для всякого общества, и назвал их “имманентными законами исторического развития”. На основании изучения прошлого и настоящего он вывел правила и для будущего. Такое распространение законов на участи выходящие за границы изучения и опыта (экстраполяция, естественная индукция) в научных исследованиях допускается, как рабочая гипотеза, но результаты ее всегда остаются под сомнением и подлежат проверке. Под таким научным сомнением должны были быть и выводы Маркса о будущем развитии человечества. На практике в СССР они подверглись проверке и оказались неверными. Маркс предсказывал точно: социалистическая революция произойдет в одной или в нескольких передовых промышленных странах. В действительности такая революция произошла в отсталой тогда, аграрной России, а потом и в еще более отсталом Китае, вовсе непромышленной Кубе и сейчас ностальгический пункт коммунистической экспансии в Юго-Восточной Азии, в отсталой Африке и в аграрных республиках Центральной и Южной Америки. Так направление революционного движения пошло по пути противоположному тому, который был указан Марксом. Оказалось, что соц. революции возникают и успешно проходят только в странах, где нет достаточного уровня промышленного развития, где незначителен промышленный пролетариат, а основная масса населения — крестьяне. (Россия, Китай, Куба). Я не беру в расчет страны-сателлиты Восточной Европы, Корею и Вьетнам, где коммунизм принесен и поддерживается штыками оккупационных армий, а восстания пролетариата в них подавляются советскими танками (Венгрия, Восточная Германия). Там не было революций, там было простое завоевание страны коммунистическими войсками и организация марионеточных ком. правительств. Но революция в Китае, даже с поддержкой СССР, основывалась на поддержке не проле-

тариата, а крестьянских масс. И хоть их и называли полупролетариатом, но ничего пролетарского, кроме бедности, в них нет.

“В ходе национально-освободительной борьбы и народной революции в Китае крестьянство сыграло огромную революционную роль. Китайская компартия, применяя марксо-ленинские идеи к конкретным условиям Китая, опираясь на опыт рабочего движения и пролетарские революционные кадры, смогла успешно использовать громадные революционные возможности многомиллионного крестьянства в антиимпериалистической, антифеодальной революции”. (“Коммунист” № 5, 1967, стр. 115).

Остается признать, что коммунизм, в частности в его совето-ленинском и китайском изданиях вовсе не марксов и почти не имеет успеха у рабочего класса в передовых, промышленно-развитых странах. За то он силен и легко воспринимается населением отсталых стран не имеющих ни промышленности, ни пролетариата. (Вьетнам, Лаос, Гватемала, Куба, Конго (Браззавиль) и пр. Такое положение давно уже пытаются оформить теоретически, чтобы оправдать практическую поддержку ком. стран, так называемым “национально-освободительным” движением. Подталкивание революции в отсталых странах происходит путем материальной, идеологической и военной помощи ком. стран.

Теоретики ленинизма пытаются опровергнуть положение Маркса об условии возникновения соц. революции, как создавшемся противоречии между производительными силами и производственными отношениями. С одной стороны для победы соц. революции нужен какой-то уровень развития капитализма в стране, а с другой — такая победа соц. революции будто бы невозможна в передовых, промышленно-развитых странах.

“В замечаниях Ленина на книгу Бухарина “Экономика переходного периода” исключительно важное значение имеет двукратное указание Ленина на необходимость известного минимума развития капиталистических отношений для успеха соц. революции. “Без известной высоты ка(пита)лизма у нас бы ничего не вышло”, — отмечает Ленин. Приводя затем фразу “мировой революционный процесс начинается с низших по своему уровню частичных систем мирового хозяйства”, он подчеркивает слова “с низших по своему уровню” и поправляется: “надо бы сказать “не с высших”. (Ленинский сборник XI, стр.

397, 398). Полувековой исторический опыт подтвердил это глубоко принципиальное положение". ("Коммунист" № 13, 1967, стр. 16).

Почему же не с *высших по уровню*, как твердил Маркс? Если социализм высший тип экономики, то он должен сменить хозяйственную систему в первую очередь в самой высшей по уровню развития капиталистической стране, где уже капитализм *исчерпал* свои возможности развития и дальнейший прогресс возможен только при высшей, более прогрессивной экономической системе, которой коммунисты признают социалистическую. Если же революционный процесс замены экономической системы необходимо начинать с *низших* по уровню развития, то значит надо обязательно обрекать себя на отсталость, на обязательное преодоление этой отсталости, на все возникающие при этом непреодолимые трудности. Ясно, что такое "оправдание", явно противоречащее и марксизму и здравому смыслу, делается задним числом, чтобы оправдать факт совершения соц. революции в России и направление на расширение коммунизма в отсталых странах. Ясно и то, что это направление в ленинизме есть не дальнейшее "творческое его развитие" (марксизма), а его полное отрицание.

В соц. революции большую роль играют, как объективные, так и субъективные условия. Маркс отдавал предпочтение объективным условиям. Переход от капитализма к другой экономической системе, к социализму, сам по себе требовал существования высокого уровня развитого капитализма, требовал такого состояния экономики, при котором замена капитализма социализмом делалась бы экономически выгодной для общества. Ленин же считал возможным в первую очередь захватить власть, а тогда уже догнать капиталистические страны при помощи трудового энтузиазма рабочих, ставших "хозяевами", да и при помощи нажима со стороны правящей теперь партии на "несознательную" часть рабочих. "В период, когда Маркс и Энгельс разрабатывали основы материалистического понимания истории, по логике вещей они должны были сделать особое ударение на объективном характере общественного развития, подчеркнуть решающую роль материальных, экономических отношений. Разумеется, это было и остается исходным началом материалистического понимания истории". ("Коммунист" № 10, 1967, стр. 61).

Ленин знал, что он поступает вопреки марксизму, но считал, что сумма объективных и субъективных условий в России уже достаточно для совершения соц. революции. “Одна справедливость, одно чувство возмущенных эксплуатацией масс никогда не вывело бы их на верный путь к социализму. Но когда вырос, благодаря капитализму, материальный аппарат крупных банков, синдикатов, железных дорог и т. п.; когда богатейший опыт передовых стран скопил запасы чудес техники, применение коих *тормозит* капитализм; когда сознательные рабочие сплотили партию в четверть миллиона, чтобы планомерно взять в руки этот аппарат и пустить его в ход, при поддержке всех трудящихся и эксплуатируемых, — когда есть налицо эти условия, тогда не найдется той силы на земле, которая помешала бы большевикам, *если они не дадут себя запугать* и сумеют взять власть, удержать ее до победы всемирной социалистической революции”. (Собр. соч. Ленина, т. 34, стр. 332-333).

Опыт ком. революции в России показал, что недостаток объективных условий для соц. революции может компенсироваться наличием субъективных факторов. Таких субъективных условий в России 1917 года было достаточно: классовые и национальные противоречия, феодальные пережитки, требование передачи земли крестьянам, утомление трехлетней войной, недовольство военными неудачами, стремление масс к миру, в особенности в армии, наличие в столице распропагандированного коммунистами пролетариата и гарнизона, активное и умелое руководство ком. партии, программные ошибки демократических партий, в особенности в вопросах о мире и о земле, отсутствие у Временного Правительства воли к укреплению власти и пр. Вне сомнения, что концентрация таких субъективных условий, да еще во время войны, ведет к успеху революционных восстаний. За то отсутствие объективных условий для насильственного преобразования экономической системы, так же обязательно приведет страну к неисчислимым бедствиям на весь будущий период. А провальность и фальшь самых основ ком. экономической теории обеспечит не только хронические трудности и неудачи, но и predetermined ликвидацию навязанной КПСС ложной системы, в результате бесчисленных кризисов, ложных направлений и подчинению ком. идеологии, ведущих население ком. стран от беды к беде. Создание “содружества” социалистических стран только распространило эту беду на большее коли-

чество людей и народов. А их коммунистические непреодолимые трудности только подтверждают неприменимость коммунизма *для всех народов*, независимо от расы и национальных качеств населения.

“Китайские поклонники Мао-Дзе-Дуна восхваляют его за то, что он-де разработал идею о решающей роли *субъективного фактора* при социализме. Согласно “китаизированному” марксизму, объективные факторы определяли развитие общества лишь в прошлом, до соц. революции, а в условиях социализма определяющую роль играют уже не объективные, а субъективные факторы. При этом возрастание роли субъективного фактора при социализме они гипертрофируют и сводят в конечном счете к влиянию “великой” личности на общественный процесс”. (“Коммунист” № 5, 1967, стр. 117).

Как бы ни валить вину на китайцев, анализ 50-летнего периода строительства социализма и коммунизма в СССР и опыт других стран, неопровержимо доказывают громадную субъективную роль таких личностей, как Ленин, Сталин, Хрущев, даже Тито и Кастро, Мао-Дзе-Дун, Хо-Ши-Мин и пр. в *применении* ком. теории к жизни и экономике. Очевидное отсутствие *объективных* причин и условий для превращения капиталистической системы в коммунистическую и подменяется субъективными качествами вождей-диктаторов. Мало того, антинаучные и антиэкономические положения марксо-ленинского учения, неприменимость их к жизни и реакционность в экономике и принуждают коммунистов, захвативших власть, создавать таких непогрешимых, ком. “божков” и “гениев”, которые бы своим взвинченным авторитетом и “указаниями” заменяли бы банкротство ком. теории в полувековой практике. Так в СССР и сейчас практикуется культ Ленина, в Китае — Мао, в Югославии — Тито, в Латинской Америке — Кастро и пр. Везде отсутствие *объективных* условий для перехода к социализму подменяется субъективными качествами диктаторов, не желающих терять власть, держащуюся при помощи все охватывающего аппарата насилия.

Такой опыт насилия и террора, направленного на врагов и друзей, какой дал на полувековой практике СССР, оттолкнул от КПСС коммунистические партии, в особенности ком. партии передовых, развитых стран. Кровавый путь КПСС заставил не-которые ком. партии сделать своим первым массовым лозунгом

— утверждение, что *“у нас так не будет!”* и принудил их искать свои “пути к социализму”. Их теперь стала объединять с КПСС только общая цель, при совершенно разных средствах и путях к цели. Ничто иное, как страшная практика коммунизации СССР, действия КПСС по отношению к “титонизму”, заставляют ком. страны и ком. партии отстаивать свою независимость и равноправность, чтобы избежать нового повторения кровавой практики КПСС в стране и в самой партии (чистки ком. партий в Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Польше и пр.). Упорство в отстаивании ком. партиями своей независимости наглядно иллюстрируется неспособностью КПСС созвать новое совещание всех ком. партий мира. Санкции или исключение ком. партий Китая, Албании и др. усилили бы зависимость остальных ком. партий от КПСС. Применение псевдонаучной ком. теории приводит к плачевным результатам во всех, без исключения, ком. странах. В этом причина разлада в этом “содружестве” ком. стран. Китай, Албания, Румыния, Югославия и даже Куба становятся в оппозицию к “генеральной линии” КПСС. Она утерала роль революционного штаба ком. движения. Ее роль сводится к “материальной помощи” бедствующим ком. странам, к всемерной помощи ком. партиям мира, направленной на “подталкивание” революции, на ее экспорт в страны свободного мира. Отрицая экспорт революции в другие страны, СССР в сообщении о гибели Гевары, так и не сказал своим гражданам о том, что Гевара погиб в Боливии, пытаясь экспортировать туда ком. революцию. И когда коммунисты говорят об интернационализме, они говорят об экспорте и поддержке революций во всем мире. “Интернационализм па деле — один и только один: беззаветная работа над развитием революционного движения и революционной борьбы в *своей* стране, *поддержка* (пропагандой, сочувствием, материально) *такой же борьбы, такой же линии, и только ее одной, во всех* без исключения странах”, (Ленин. Полное собр. соч. Т. 31, стр. 170). Это и есть истинное значение “ленинского мирного сосуществования”. В этом смысл “помощи” Вьетнаму, Кубе, ОАР, Сирии, Гвинее и пр. И, конечно, эти колоссальные траты, при своей неэффективной экономике, *ухудшают* и без того плохое материальное положение населения СССР и других ком. стран.

То, что коммунисты понимают под всемирно-историческим революционным процессом состоит из: 1) всестороннего укреп-

пления ком. стран и их единства; 2) направления в ком. русло рабочего движения в капиталистических странах и 3) “помощи” национально-освободительным движениям во всем мире. Это те три сферы политической деятельности, которые по ком. теории приведут к ослаблению и распаду мировой капиталистической системы. По этим линиям идет ком. наступление на свободный мир.

Первую задачу пытаются решить путем развития своего хозяйства. Это, так называемое, построение материально-технической базы коммунизма. Для этого создают и выполняют пятилетние и семилетние народно-хозяйственные планы. Полудекаговую неэффективность ком. производства пытаются исправить проведением новой экономической реформы. А тем временем производят слишком много оружия, которым снабжают весь мир. Пользуясь юбилеем искусственно поднимают авторитет СССР, будто бы добившегося уже процветания, благодаря мудрой руководящей деятельности КПСС. При этом скрывают от мира, как наибольший государственный секрет, *низкий* уровень жизни населения и *неимоверную* эксплуатацию трудящихся, проводимую ком. партией. Но правящие партии в ком. странах более или менее знакомы с истинным положением. И потому нет единства среди ком. стран и ком. партий и не может быть. Чем дальше тем больше растет вражда и разъединение между ком. партиями. Поэтому в решении первой задачи нет успехов.

Вторая задача связана с первой. Ком. партии стран свободного мира “помощь” от КПСС принимают, но от зависимости от КПСС отказываются. Ссылаются на специфичность их работы, в особенности в передовых развитых странах. Но факт остается фактом. Капиталистическая система, “загнивающая и гибнущая”, по утверждениям коммунистов, продолжает успешно развиваться, совершила научно-техническую революцию в производстве, обеспечила небывало высокий уровень жизни трудящихся, то-есть практически сделала для рабочего класса то, что *только обещалось ком. партиями*, уже 50 лет проводящими в жизнь свою теорию. Ком. странам остается только *следовать* за передовыми капиталистическими странами, только *нагонять количественно* их производство, упустив из виду главный признак — *качество*. Даже условия жизни и труда рабочих только *копируются* с капиталистических, внедряя их с опозданием (против США) на 20-25 лет (40 часовая рабочая неделя

и два выходных дня). Оплата труда в ком. странах отстает еще на больший период времени от оплаты в капитал. странах и вообще вряд ли будет достигнута. Поэтому-то в ком. отчетах вместо объективных цифр даются то проценты роста, то проценты темпов роста, используют несоизмеримые стоимости советских денег в разное время и поднимают много шума по поводу “общественных фондов”, существующих и в странах свободного мира: пенсии, бесплатное образование, лечение, различные льготы и пр.

Все это точно подтвердилось на совещании ком. партий капиталистических стран в Праге в 1966 г. Оно стало непреодолимым препятствием деятельности ком. партий в передовых странах.

Коммунистическое руководство делает вид, что все в мире развивается по марксовским предсказаниям, что капитализм существующий сейчас в мире в основном тот же, о котором писали Маркс и Энгельс сто лет назад, что это “умирающая” экономическая система, которую вот-вот заменит новая и прогрессивная ком. система. В то же время ничего, кроме гибели десятков миллионов людей и неизбежного горя населению, не давший коммунистический опыт в СССР, продолжает восхваляться так, будто бы миру не известны его действительные результаты. Вот что говорит о социализме Л. Брежнев в юбилейном докладе: “Народы мира могли воочию увидеть, что социализм ликвидировал эксплуатацию человека человеком и национальный гнет; открыл широкие возможности для преодоления отсталости, для расцвета производительных сил, для прогресса”.

А вот что он говорит о капитализме: — “На фоне успехов социализма стало еще очевиднее, что капитализм не способен решить коренные проблемы, стоящие перед человечеством. Он является источником неисчислимых бедствий и страданий для народных масс... Империализм является помехой тому, чтобы уже теперь использовать величайшие возможности, открытые наукой и техникой, для ликвидации голода, нищеты и болезней... Империализм — это строй жестокого угнетения трудящихся, подавления демократии, строй, который породил фашизм — самое крайнее воплощение реакции, мракобесия и террора”.

Зная настоящее положение вещей и реальные результаты ком. эксперимента ком. лидеры не могут витать в мечтах и иллю-

зиях далеких от реальной действительности. Они умышленно повторяют старую найгранную пластинку об общественных строях, сами не веря тому, что говорят. Изображенная Брежневым схема настолько не соответствует действительности, что на совещании в Праге 1-3 ноября 1966 года братские ком. партии из свободного мира дали совершенно противоположную ей картину положения в мире. Вот что они заявили на совещании: — “Современное капиталистическое общество становится все более сложным и противоречивым. Совершенно очевидно, что в наши дни капитализм значительно отличается от того, чем он был прежде... главной чертой нынешнего капитализма в их странах является прежде всего высокая степень развитости государственно-монополистических форм и его способность обеспечивать экономический рост на базе научно-технической революции”. (“Коммунист” № 18, 1966).

Интересно утверждение, что капитализм от объявленной Лениным *последней* стадии *империализма*, перешел к “*последней*” стадии государственно-монополистической. И на этой стадии оказался способным обеспечивать *экономический рост* на базе научно-технической революции, что никак не удастся странам с ком. системой хозяйствования. “Участники пражской дискуссии приводили много фактов, показывающих, что значительный рост производительных сил и новая ступень организации капиталистического производства вызывают существенные социальные последствия: меняется структура классов, их положение в обществе и взаимоотношения между ними”. (Там же).

Изменилось положение рабочего класса в свободном мире. Это теперь обеспеченный класс общества, которому есть много чего терять при переходе к коммунизму и вовсе нечему завидовать в положении рабочих в СССР к 50-летию ком. власти. Но вот как рисует борьбу рабочего класса в свободном мире Л. Брежнев: — “Рабочий класс все чаще добивается удовлетворения своих требований. Эти требования идут все дальше, становятся все более радикальными, перерастая в программу борьбы против экономического и политического всевластия монополий”. (Юбилейный доклад).

А вот к чему пришли на пражском совещании: — Они “отмечали, что ныне типичной стала готовность монополистических групп или государства в целом идти на уступки, если дело ка-

сается частичных материальных требований трудящихся... они в свою очередь стимулируют дальнейшее развитие производства, заставляя капиталистов модернизировать технику, снижать себестоимость продукции и, таким образом расширять потребительский рынок". (Там же).

То-есть капитализм сегодня разрешает все те задачи, которые когда-то Маркс, а сейчас Брежнев, считают для него неразрешимыми. Еще Каутский писал о том, что если бы капитализм был способен улучшать положение рабочих, то борьба с ним социалистов была бы излишней. Бурный прогресс производительных сил передовых стран свободного мира дает возможность улучшать благосостояние рабочих в таких размерах и такими темпами, к которым "содружество социалистических стран" не способно. На совещании делается еще одно признание: "Наличие относительного материального достатка, сокращение рабочей недели, а следовательно увеличение свободного времени и одновременно интенсификации труда, которая резко сокращает возможность политической работы на предприятиях, — все это создает совершенно новый фон социальных отношений. Нынешний рабочий развитых капиталистических стран *материально более связан с существующим порядком* и в то же время подвержен несравненно более сильному, разнообразному воздействию буржуазного аппарата власти и пропаганды". (Подчеркнуто мной — Ю. М.) ("Коммунист" № 18, 1966).

Здесь главное в единстве материальных интересов рабочих и предприятий, зависимость материального положения рабочих от существующего порядка. Но пришли и к другим выводам. "Под этим углом зрения был рассмотрен, в частности, вопрос о национализации. Представители компартий Канады и США сообщили, что не все рабочие их стран склонны поддерживать лозунг о национализации промышленности, поскольку они, опираясь на имеющийся опыт, полагают, что эта мера может оказаться в противоречии с их непосредственными интересами". (Там же).

Так *основное программное положение* ком. партий *национализация — оказывается в противоречии с интересами рабочих развитых стран*. Так программы ком. партий стали *противоречить* интересам рабочего класса в капиталистических странах. Эти успехи капитализма пытаются объяснить новой стадией его развития, но связать свою политику с ожиданием кризиса и войны ком. партии не могут.

“Это своего рода реакционная утопия, которая ведет только к политической пассивности”. Нет успехов коммунизма ни в экономическом укреплении стран “соц. содружества”, ни в революционном движении рабочих передовых стран, но остается успешная связь ком. стран с “национально-освободительным” движением отсталых народов. Коммунисты пришли к власти в *непередовых* странах капитализма и ком. идеи имеют распространение в отсталых и диких странах, ничего общего с капитализмом не имеющих.

“Одна из главных особенностей послеоктябрьского пятидесятилетия — это соединение национально-освободительного движения с борьбой рабочего класса в единый революционный поток. Полтора миллиарда человек, проживающих в бывших колониях и полуколониях, добились независимости, вышли на арену активной политической жизни. Это расширило рамки мирового революционного движения, ускорило общественный прогресс”. (Доклад Л. Б.). Отсталая марксо-ленинская теория в отсталых странах мира и представляет собой большую опасность для свободного мира. Вследствие неудач в решении первых двух задач, коммунисты и направляют сейчас все свои силы на решение третьей задачи: помощи и включения национально-освободительных движений в ком. орбиту. Здесь у ком. партий есть и достижения: война в Вьетнаме, а раньше в Корее, попытка захвата власти в Индонезии, партизанская война в странах Центральной и Южной Америки, социалистические правительства в Алжире, Египте, Сирии, Гвинее, Конго (Браззавиль), Танзании и пр.

Сейчас при наличии ядерного оружия, это единственный способ силой навязывать коммунизм отсталым странам. Это сейчас главная, трактовая дорога расширения коммунизма в мире, путем помощи и проповеди его в отсталых странах.

Пятидесятилетний опыт показал, что ком. партии идут на сотрудничество с другими партиями до тех пор, пока они помогают им добиться цели т. е. — захвата власти. После этого, используя их, все эти “союзники” уничтожаются. Так было с русскими и украинскими левыми эсэрами и анархистами, так было с партией мелких собственников в Венгрии, с демократическими партиями в Польше, Румынии, Чехословакии, с социал-демократической партией в Вост. Германии и пр. Примеров кратковременного сотрудничества с ними ком. партий и последующей ликвидации мы имеем более чем достаточно. И совер-

шенно непонятно почему этот горький опыт до сих пор не воспринят левыми политическими партиями. Сколачиваются и по сегодня народные фронты, антиимпериалистические и антивоенные блоки и пр. И Вьетконг состоит из коалиции с ком. партией во главе, и имеет в своем составе даже буддийского лидера.

План с установкой на отсталые страны разработан ком. партиями давно. Уже на 2-м конгрессе Ком. Интернационала в 1920 году Ленин был автором этого плана. Он не имеет *ничего* общего с марксизмом, но план весьма практичен и создает союзников коммунистам захватившим власть в России в 1917 году. Так исторически получился политический крен ком. партий в сторону не пролетариата, не рабочего класса передовых стран, а в сторону крестьян и мелкой буржуазии отсталых стран. В этом, действительно еще ленинском плане, в поисках союзников незначительного рабочего класса в России (союз рабочих и крестьян), в поисках легко поддающихся коммунизации бедных и угнетенных трудящихся в бывших колониях и отсталых странах и совершается *подмена* марксизма — ленинизмом, подмена рабочего класса — трудящимися, главным образом, крестьянами, используется общая ненависть бедных к богатым, неимущих к имущим, угнетенных и эксплуатируемых к угнетателям и эксплуататорам. Даже лозунг ком. манифеста был изменен на: “Пролетарии всех стран и угнетенные народы, соединяйтесь!” Для этого Ленин требовал: “пробудить революционную активность к самостоятельности и организации трудящихся масс, независимо от того, на каком уровне они стоят, перевести истинное ком. учение, которое предназначено для коммунистов более передовых стран, на язык каждого народа, осуществлять практические задачи, которые нужно осуществить немедленно, и слиться в общей борьбе с пролетариями других стран”. (Собр. соч. Ленина, т. 39, стр. 330). Для приобретения отсталых союзников Ленин соглашался с тем, что “придется базироваться на том буржуазном национализме, который пробуждается у этих народов, и не может не пробуждаться, и который имеет историческое оправдание”. (Там же стр. 330).

Революционные партии отсталых стран даже не обязательно называть коммунистическими. “Много еще надо будет поработать революционерам над своим государственным, хозяйственным и культурным строительством, пока из пастушеских элементов создастся пролетарская масса, которая впоследствии по-

может “превращению” народно-революционной партии в коммунистическую”. (Собр. соч. Ленина, т. 44, стр. 233). Объединяя рабочее революционное движение с бунтарскими устремлениями в отсталых и зависимых странах, КПСС колоссально расширяет базу революционных движений и дает основание для выступлений ком. партий не только в качестве представителей “пролетариев всех стран”, но и как представителей всех угнетенных и отсталых народов. Основанием для этого считалось, что: — “большинство народов Востока являются типичными представителями трудовой массы, — не рабочими, прошедшими школу капиталистических фабрик и заводов, а типичными представителями трудящейся, эксплуатируемой массы крестьян, которые страдают от средневекового гнета”. (Ленин, собр. соч., т. 39, стр. 329).

Из тактических соображений ком. партии объединяются в отсталых странах с буржуазно-национально-демократическими силами в общей революционной борьбе с тем, чтобы впоследствии их ликвидировать и самим остаться у власти. Признается, что решение аграрного вопроса в этих странах на основе ком. принципов в высшей степени *ошибочно*. Что решать аграрный вопрос нужно начиная с раздела земли между крестьянами. А уж потом, укрепившись у власти, следует переходить к коллективизации и ликвидации “кулака, как класса”, так как это было в СССР. Но для отсталых стран, даже для кулаков допускаются льготы. Ю. Цеденбал в статье “Великий Октябрь и народы Востока” пишет: “Другая особенность кооперирования индивидуальных аратских хозяйств состояла в том, что оно было осуществлено без раскулачивания эксплуататорских элементов села, которые добровольно вступили в сел.-хоз. объединения”. (“Коммунист” № 15, 1967, стр. 111).

Если понимать добровольность по-коммунистически, как “осознанную необходимость”, то эти элементы села “добровольно” “вросли в социализм”. Но как расценивает сам Цеденбал *раскулачивание*, как ошибочное и вредное, зверское мероприятие? И почему такой же оценке раскулачивания не придерживается ЦК КПСС?

Принятие задачи руководства народными массами отсталых стран ком. партиями вызывает новые политико-экономические вопросы в ком. теории. Стало необходимым пересмотреть установленные Марксом “имманентные законы исторического

развития". В схему: феодализм, капитализм, коммунизм пришлось внести изменения. Для отсталых стран потребовалось исключить капитализм, как фазу развития. Так создано два варианта *некапиталистического* развития отсталых стран: первый — при помощи и под руководством победоносного пролетариата прямо перейти к социализму; второй — путем прихода ком. партии к власти "прервать капиталистическое развитие". Сейчас "мировая соц. система является главной и надежной опорой национально-освободительного движения угнетенных народов". ("Коммунист" № 15, 1967, стр. 113).

По такому пути пытаются идти страны поддавшиеся ком. пропаганде: ОАР, Сирия, Алжир, Мали, Гвинея, Конго (Браззавиль) и др. От такого пути уже отказались, испробовав его прелести, Гана и Индонезия. Вся острота ком. борьбы мирными путями в настоящее время и сосредотачивается возле возможностей привлечь бывшие колониальные страны на некапиталистический путь развития, при помощи и под руководством стран "соц. содружества". Но между ком. партиями нет единогласия и на этом пути. Вместо единого ком. руководства создаются два: китайское и советское, конкурирующие между собою. У КПСС есть опыт такого некапиталистического развития отсталых народностей в СССР. Этот страшный, кровавый опыт такого развития, прикрашенный и фальсифицированный, демонстрируют, как *показуху* в Ташкенте для делегаций различных мусульманских стран. Действительный же опыт, с практикой ликвидации целого ряда национальных республик, конечно, показывать не будут. Вместо него демонстрируют экономическое развитие среднеазиатских республик, под руководством национальных ком. партий, где во главе Узбекской республики — узбек, Таджикской — таджик, Туркменской — туркмен и пр.

С разговорами о необходимости "условий и уровня развития" в ком. теории покончено. ... "в условиях, когда капиталистическая система в целом созрела для революционного перехода к социализму, движение отдельных стран к новому общественному строю, степень их подготовленности не могут рассматриваться изолированно, вне общих связей, без учета положения страны в капиталистической системе". ("Коммунист" № 10, 1967, стр. 59). Связывая в единый революционный процесс ком. движения в передовых странах и национально-освободительные — в отсталых, КПСС считает, что объективные причины соц. ре-

волюции налицо во всем мире. Что современный уровень развития производительных сил *требует* социалистических производственных отношений. Все дело только в субъективных условиях в каждой стране в отдельности. И эти субъективные условия должны выразиться в революционной активности масс, в активности руководства массами и авангардом — ком. партиями. Никакого автоматизма в смене экономических систем не наблюдается в жизни. Все зависит от результатов борьбы классов, ибо наша эпоха уже объявлена эпохой перехода от капитализма к социализму на международном совещании ком. партий. “Революционный переход от капитализма к социализму, составляет содержание современной эпохи, — процесс отнюдь не механический, а процесс борьбы, в которой ведущая тенденция общественного развития сталкивается с противостоящей ей контртенденцией, отражающей сопротивление отживающей социальной системы”. (“Коммунист” № 13, 1967, стр. 17). Удивительным здесь является то, что “отживающая социальная система” делает замечательные успехи в самом главном по ком. понятиям — в экономическом развитии — в поднятии производства на высшую ступень, а мертворожденная, навязанная соц. система не выходит из постоянных трудностей и только гонится и копирует старую капит. систему.

Уклон коммунизма в сторону крестьянских и трудящихся масс создал новое утверждение, что коммунизм не может победить в передовых странах, пока не ликвидируется колониальная система. Отсюда и план Мао-Цзе-Дуна: — “восставшая “мировая деревня” окружит “мировой город”, крестьянские восстания в странах Азии, Африки, Латинской Америки окружают Северную Америку и Западную Европу и уничтожат мировой империализм”. (“Коммунист” № 5, 1967, стр. 115).

Деревня ли поведет город к коммунизму, город ли поведет туда деревню или их развитие пойдет совсем в ином направлении — это покажет будущее. Как вел ком. город — КПСС — деревню к социализму и коммунизму, путем физического уничтожения лучшей части крестьян и закрепощения и порабощения остальных в колхозах и совхозах показала практика СССР. Неудачной оказалась и практика Мао, преобразовавшего китайские с.-х. кооперативы в народные коммуны для ускоренного перехода к коммунизму. “Мы должны активно использовать форму народной коммуны и через нее найти конкретный путь

перехода к коммунизму". (Решения ЦК КПК в августе 1958 г.)

Все эти пути к коммунизму при помощи крестьянства вызваны той спецификой соц. революций, проведенных в странах с незначительным количеством пролетариата, при помощи крестьянства и мелкой буржуазии, о которых еще Маркс писал, что захват ком. власти в странах не созревших для коммунизма, поставит ком. руководство в трагическое положение. Трагическое положение типично для ком. стран не потому, что страны будто-бы "*созревают*" для ком. порядков, а просто потому, что никакая страна ни передовая, ни отсталая не может прогрессировать и развиваться в условиях ком. системы. И в СССР ком. власть держится не потому что она коммунистическая и проводит ком. мероприятия в жизнь, а потому что она отказывается от ком. мероприятий и переходит к обыкновенным мероприятиям капиталистического мира. Именно отказ от ком. мер дает экономическое оживление, а коммунизация неизменно приводит к упадку. Коллективизация выбила советское с.-х. из строя навеки. Возврат к капиталистическим методам дает успех: ликвидация коллегияльности управления в промышленности (директор), ликвидация равенства в оплате (борьба с уравниловкой), введение материальной заинтересованности (вместо "сознательности" рабочих), и т. п. принесли положительные результаты. Отказ от "военного коммунизма" и переход к НЭПу дал период расцвета сельского хозяйства, кустарных промыслов и мелкой индустрии. Наоборот хрущевский переход к строительству коммунизма путем ликвидации приусадебных участков, скота в частном владении, отбора собственных домов, автомобилей, запаса носильных вещей и пр. привел к упадку производство продуктов и вызвал отсутствие заинтересованности в результатах труда работающих. Новая ликвидация коммунизации страны "новым" руководством повысила производство и заинтересованность людей. Такое же возвращение приусадебных участков и разрешение держать скот в 1959 году в Китае тоже улучшило материальное положение населения.

"Было бы утопией думать, что пролетарские партии, если они вообще могут возникнуть в таких странах, смогут, не находясь в определенных отношениях к крестьянскому движению, не поддерживая его на деле, проводить ком. тактику и ком. политику в этих отсталых странах". (Ленин, собр. соч., т. 41, стр. 243). Такие, не имеющие основания для своего существования,

ком. партии существуют сейчас во многих отсталых странах, но проводить ком. политику ком. партии не могут даже в СССР. Целью этих партий давно стал не коммунизм, а захват власти и ее укрепление. Для этого они и используют отсталые страны и захватывая в них власть укрепляют свое могущество. Овладение миром идет путем захвата его, пусть даже по частям отсталым и незначительным. Коммунизм объединяется не с рабочим движением, а с крестьянским и с народами стоящими на феодальной, племенной и родовой ступени развития. Только в таком коммунистическом *антимарксизме* могло получиться задание свыше одного миллиарда людей, стоящих на низших ступенях экономического развития *присоединить* к социализму и коммунизму, *минуя* капитализм. Не имеет никакого значения то, что ком. теоретики делают условием такого некапиталистического пути развития всемерную помощь стран соц. содружества. В этом “содружестве”, в самом, еще не достигнуто передовой капиталистической фазы развития, в нем в самом еще идет попытка догнать передовые капиталистические страны. Как же они могут помочь отсталым странам перегнать капитализм, если сами его не догнали? Таким софизмом оправдывают коммунизм крестьянский и коммунизм отсталых, диких и полудиких народов. В действительности от коммунизма осталось только одно название. Вместо передового, развитого, массового пролетариата передовых промышленных стран, мировое ком. движение охватывает массы люмпен-пролетариата, крестьянскую бедноту и отсталые племена и народы, ибо им действительно *нечего терять*. За коммунистами идут не рабочие, а обиженные и униженные, оскорбленные и угнетенные, бедные и уголовные элементы, обойденные умом и ясным пониманием интеллектуалы. И на них сейчас мировой коммунизм делает ставку. Из трех направлений развития ком. движения только разжигание бунтов и национально-революционных войн остается реальной угрозой человечеству. Ибо их планомерно разжигают и снабжают самым современным оружием ком. страны. Коммунизм прививается в джунглях Вьетнама, среди отсталых стран арабского мира, в Гвинее, в Танзании, в Алжире и Сирии и пр. Смысл войны во Вьетнаме, это — сопротивление новейшей форме экспансии коммунизма.

Не сулит этот коммунизм никаких благ и населению отсталых стран. Это тот же страдальческий путь жертв, непосиль-

ного труда, голода, всяческих лишений, который уже 50 лет проходят и никак не пройдут народы СССР. Это многократно усиленная эксплуатация, а зачастую и форменное ограбление населения государством-монополистом, управляемым одной ком. партией. Следует только вдуматься в коммунистическую формулу *“ликвидация эксплуатации человека человеком”*. Ведь это значит, что *эксплуатация вообще*, как экономическое зло, *во все не уничтожена*, даже не уменьшена, что она только *заменена* еще большей, небывалой *эксплуатацией человека — государством*. Ведь с эксплуататором-человеком, рабочим можно было бороться, то объединившись в профсоюзы, то путем забастовок, то с помощью государства (рабочее законодательство), то с помощью перехода к другим предпринимателям. Но как же может бороться рабочий с *эксплуататором ком. государством* — монопольным хозяином страны, составляющим единое целое с государственным аппаратом насилия и принуждения, с партийным государством, члены партии которого руководят даже его профсоюзом? Как же беззащитен рабочий на предприятии против трех его начальников, руководящих эксплуатацией рабочих: технического директора, целью которого новая экономическая реформа ставит получение максимальной прибыли; секретаря партийного комитета завода, цель которого та же самая; секретаря или председателя профкома, у которого, кроме общей цели, главной обязанностью является организация социалистического соревнования между рабочими по выполнению и перевыполнению производственных норм и планов. Рабочие ком. стран *утратили все завоевания рабочего класса* и борьба их за свои права невозможна в ком. странах, где даже забастовка карается в уголовном порядке, где заработная плата и другое обеспечение рабочих устанавливается в административном порядке, как милость, как подачка, как проявление *“заботы”* КПСС о своем нуждающемся *“гегемоне революции”* — пролетариате. Рабочим остается уповать на милость, на то, что КПСС позаботится о своих *“трудовых ресурсах”*, даст им столько, чтобы они не умерли от нужды и голода, как в СССР уже неоднократно случилось в прошлом.

И крестьянство стран попавших под власть коммунистов, пройдет тот же страданный путь крестьян СССР, частью уничтоженных, частью сосланных в гиблые места, частью принятых рабочими в совхозы и частью согнанных в крепостные колхозы.

Это пахнет уже не эксплуатацией, а рабством — прикрепление к колхозам, отсутствие паспортов, без которых нигде не примут и не пропишут и, во славу социализма и коммунизма, десятилетиями, тяжелый труд в продолжение “светового дня” (от восхода до захода солнца) и обязательное выполнение 180 трудовых норм в году — без оплаты, или за мизерную оплату: 1-2 коп. в день или 100-200 грамм зерна, как курице.

Те “улучшения” и “повышения благосостояния”, которые сделаны к юбилею — мизерны, но они показывают в каком невообразимо-бедственном состоянии находятся рабочие и их “союзники” — крестьяне в СССР в течение полувека. Такая же перспектива ждет и население отсталых стран “избравших путь к социализму”, минуя капиталистическую фазу развития. Экспорт революции ком. партии проводят уже 50 лет: помощь Венгрии в 1919 г., помощь Германии в 1923 году, помощь Испании, Кубе, Китаю — все это типичные примеры попыток экспорта революции в другие страны. В 1936 году СССР категорически опровергал свое участие в гражданской войне в Испании и подписал соглашение о невмешательстве. А на деле переправил в Испанию целую армию под командованием ген. Кулика, а пароход “Комсомолец” с военным снаряжением, перехваченный международным контролем, затопил, открыв кингстоны. Целые выпуски военных школ обязывались подписывать просьбы о направлении их в Испанию добровольцами. На юбилейном докладе Л. Брежнев признался: “Наша страна пришла на помощь испанскому народу всем, чем могла, — от дипломатической поддержки и экономической помощи до личного вклада тысяч советских добровольцев, до последнего дня вместе с испанцами защищавших баррикады Барселоны и небо Мадрида”.

Современный коммунизм переродился в революционное движение населения отсталых стран. Но цель его остается столь же агрессивной — захват мира. А цель современных ком. лидеров вовсе, конечно, не коммунизм, а *власть* над всем миром. В первую очередь ее сейчас пытаются расширить на политически неискушенные, отсталые страны. Это ближайшая ком. цель и непосредственная опасность свободному миру. Ком. вопли о гуманизме, о защите “женщин и детей” в устах палачей и убийц десятков миллионов собственных граждан, включая женщин и детей, никого не должны вводить в заблуждение. Война за остановку агрессии коммунизма в отсталых странах — на-

сущная моральная задача свободного мира, где бы она ни велась: во Вьетнаме, Корее, Боливии или Доминиканской республике. Это тот “третий” путь развития ком. движения, в котором у коммунистов еще есть успехи. Это путь грозящий свободному миру большими жертвами и трудностями из-за отсутствия единства и сплоченности в защите своих кровных интересов. Коммунизма ни в “содружестве” социалистических стран, ни в отсталых странах мира *никогда* не будет. Но захват коммунистами новых стран может вызвать новые огромные человеческие и материальные жертвы. И потому своевременная защита их — самая ответственная задача свободного мира.

*Юрий Мишалов*

# КЛАССИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БОЖИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ

Бытие Божие прежде всего предмет религиозной веры, а не отвлеченной мысли. Мы верим в Бога прежде всего потому, что этой веры требует наше сердце, потому что иначе для религиозных людей жизнь лишается своего высшего смысла. И наоборот — потеря живой религиозной веры — под влиянием ли тех вопиющих несправедливостей и прямого зла, которыми полна бывает наша жизнь, или под влиянием иных причин — когда мы теряем веру в Бога, жизнь начинает представляться нам бессмысленным кошмаром, «дьяволовым водевилем» (пользуясь выражением Достоевского).

Правда, для очень многих людей, может быть, даже для большинства, вопрос не стоит так трагически. Такие люди — позитивисты или агностики (независимо от того, доводят ли они свой агностицизм до степени сознательности), — такие люди равнодушны к вопросу о бытии или небытии Божиим. Нередко, в чисто головном плане, они считают себя верующими, но еще чаще — неверующими. В сущности, этот роковой вопрос не причиняет им мучений и бессонных ночей. Подобное религиозно-равнодушное умонастроение очень распространено в нашу эпоху. Как хорошо говорит об этом психоаналитик Эрих Фромм:

«Верит или не верит человек нашей индустриальной цивилизации в Бога, — с психологической точки зрения не составляет особой разницы. В обоих случаях современный человек большей частью вообще не занят вопросом о Боге или о смысле собственного существования. Подобно тому, как любовь к ближним была заменена безличной социальной корректностью, — так и Бог превратился в анонимного директора Вселенной, директора, которой «завел» (раз и навсегда) машину Вселенной. В этом гигантском механизме каждый играет отведенную ему роль, но с самим Директором ни у кого нет никаких личных отношений».

Добавим, что для тех, кто всерьез переживает вопросы о бытии Божиим, как вопросы на жизнь и на смерть, — нередко неизбежны колебания и сомнения. И такие сомнения, в одном своем важном аспекте, естественны. Сомнения нередко суть симптомы ищущей мысли, признаки духовных исканий. Такие сомнения в корне отличны от сомнений, вытекающих из скептицизма и цинизма, когда сомнение возводится чуть ли не в добродетель и в догму. Что же касается честных сомнений, то, как говорил блаженный Августин, «сомнение есть сомнение ради истины». Иначе говоря, лучше сомневаться, чем слепо принимать на веру те или иные догматические положения. Но бесконечно лучше верить, чем сомневаться.

Но цель этой статьи — не разоблачать лжеверие или религиозное равнодушие. Моя задача, главным образом, в изложении и критике традиционных доказательств бытия Божия. Попутно же — я уделю внимание и критике догматического атеизма.



Я начну с того, что вера и знание — две глубоко различные области. Научное знание опирается на опыт и на определенные рациональные методы подхода к явлениям природы и истории. Философское мировоззрение опирается прежде всего на умозрение, на способность интеллектуального анализа и синтеза явлений в их целом. При этом, философское мировоззрение не должно противоречить научным данным и, по возможности, подтверждаться ими. Для философии мало одного знания. Философия требует также мудрости, которая не дается одним знанием.

Но религия, повторяю, требует прежде всего живой религиозной веры, которая, в каком-то смысле, есть такой же дар небес, как даром является художественный или иной талант. Существенное отличие заключается здесь только в том, что религиозный талант сердца может быть благоприобретен (при наличии искреннего стремления). Религиозная вера зависит столько же от собственных усилий сердца, сколько от благодати Божией. В связи с этим, мне хотелось бы привести краткую выдержку из «Братьев Карамазовых» Достоевского.

В разговоре с Хохлаковой, старец Зосима говорит:

«Доказать тут нельзя ничего. Убедиться же можно.

Как? — Чем? — Опытом деятельной любви. Постарайтесь лю-

бить наших ближних, деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться в бытии Бога и в бессмертии нашем. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уже несомненно уверуете, и никакие сомнения даже и не возмогут войти в душу Вашу. Это испытано, это точно».

Но если религиозная вера, научное знание и философская мудрость лежат в сугубо различных плоскостях, — значит ли это, что между ними — пропасть, незаполнимая никакими усилиями человеческого ума? Многие верующие, действительно, так думают. Многие считают, что ненужно и даже опасно умствовать о бытии Божиим (раз это является исключительно делом религиозной веры). Уповать на Бога, любить по возможности близких, делать (в рамках наших возможностей) добрые дела, молиться почаще, ходить в церковь и исполнять ее таинства, — вот, по мнению многих, в самых общих и неполных чертах, главная задача верующего человека.

И нужно сразу признать, что во взгляде этом есть большая, даже львиная доля истины. Ведь далеко не все, а скорее меньшинство, способно к постановке в рациональной форме проклятых вопросов бытия, прежде всего вопроса о смысле человеческой жизни. Немногие ощущают потребность мыслить о началах и концах, о конечной цели вещей. Но все же есть немало верующих, которым близки такие вопросы, которые даже мучаются ими, и стремятся примирить веру и знание в высшем синтезе. Недаром одно из классических определений человека — «хомо сапиенс» — мыслящее существо. С этими оговорками, приступим теперь, к самой теме.



В раннем христианстве не существовало рациональных доказательств бытия Божия, хотя именно в первые века после Рождества Христова были сформулированы основные догмы и был заложен фундамент для богословия. Мало того, один из ранних христианских богословов, знаменитый Тертуллиан, написал свою знаменитую тираду, где содержались крылатые слова: «верю, потому, что это — абсурд». У блаженного Августина, жившего в 5-м веке, мы находим целостную систему христианской философии, включая зародыш будущих доказа-

Но самые традиционные доказательства бытия Божия были сформулированы значительно позднее — начиная с 11-го века и особенно в 13-м веке, главным образом, творцом католического богословия Фомой Аквинским. Подобные доказательства стали возможны лишь на почве средневековой схоластики. В наше время слово «схоластика» имеет скорее отрицательный смысл, и, в самом деле, в схоластике было слишком много рационализма и софистических рассуждений. Но не забудем, что средневековая схоластика явилась школой рационального мышления в Европе вообще. Она была гимнастикой пробудившегося ума и без схоластики был бы вряд ли возможен позднейший расцвет европейской философии, начиная с Бэкона Веруламского и Декарта.

В те времена (средневековые) доказательства бытия Божия казались столь же очевидными, как в новейшее время очевидными кажутся многим рационалистические доказательства атеизма.

Изложим хотя бы вкратце несколько схоластических доказательств бытия Божия. При этом я скажу лишь несколько слов о первом по времени из этих доказательств, — о так называемом «онтологическом», то-есть, метафизическом доказательстве, выдвинутом еще в 11-м веке Ансельмом Кентерберийским. В этом доказательстве Ансельм, исходя из наличия в человеке идеи Бога, путем ряда софистических рассуждений, — заключает утверждением бытия Божия. Представим себе, говорит Ансельм, что Бога нет. Тогда идея Бога, как наисовершеннейшего Существа, была бы лишена одного из главных признаков совершенства — конкретного существования. Между тем, мы условились, что Бог есть наисовершеннейшее Существо. А совершенное Существо, лишенное одного из признаков совершенства — существования, было бы менее совершенным, чем совершенное Существо, существующее лишь в идее.

Явно софистический характер этого «доказательства» в наше время вряд ли вызывает сомнения, хотя это и «благочестивая софистика». Совсем другой — и неизмеримо более убедительный характер носят доказательства бытия Божия, выдвинутые в 13-м веке творцом католического богословия, святым Фомой Аквинским. Фома привел пять доказательств. Они делятся на логические и космологические. Логическими дока-

зательствами мы можем здесь пренебречь, они — малоубедительны для современного ума. Но космологические доказательства Фомы Аквината до сих пор заслуживают внимания.

Доказательства эти основываются не на остроумной игре абстрактными понятиями (как у Ансельма), а на вдумчивом наблюдении над природой и человеком.

Первым доказательством Фомы является доказательство от **первопричины**. В мире каждое событие порождено другим событием, являющимся причиной первого события. Каждая предшествующая причина, — говорит Фома, — еще более обусловлена предшествующей. Получается цепь причин, уходящая далеко в прошлое. Но цепь эта — потенциально бесконечна. Между тем, наш разум требует «причины причин» — Первопричины, породившей мир. Такой Первопричиной и является Бог. Иначе осталось бы навеки непонятным, кто сотворил небо, землю и человека.

Этот аргумент кажется многим неопровержимым, и в течение нескольких веков он считался наиболее классическим. Смертельный удар этому космологическому доказательству нанес Эммануил Кант. В своей «Критике чистого разума» Кант проводил фундаментальное различие между «вещами в себе», с одной стороны, и миром явлений, с другой. По Канту, мы можем познавать лишь мир явлений, — внешних и внутренних, — мир, воспринимаемый нашими органами чувств, которые подвергаются затем систематизации, посредством рационального анализа и синтеза, нашим рассудком. Но мир «вещей в себе», — составляющий сущность и основу мира явлений, — непознаваем. Он не укладывается в Прокрустово ложе категорий нашего рассудка. Поэтому к «вещам в себе» неприменимы наши рациональные категории, в том числе и категория причинности. Мы можем — и должны — применять категорию причинности лишь к миру явлений. Мы не имеем права применять эту рациональную категорию, равно как и другие категории, к «вещам в себе». Между тем, Бог есть основная «вещь в себе». В силу этого, аргументация Фомы Аквинского, более чем законная по отношению к миру явлений, не должна применяться к «вещам в себе». Религиозная вера, по Канту, составляет исключительно предмет веры. Он сам говорил, что он «сузил и расчистил область разума с тем, чтобы дать больший простор вере». Даже, если не разделять всех деталей гносеологии Кан-

та, его критика космологического доказательства остается, по моему мнению, в силе.

Второе космологическое доказательство оперирует аргументами от цели и основывается на наличии целесообразности в природе и в человеке. Всякая вещь, — говорит Фома, — имеет свое предназначение и свой «резон д'этр». Так, без мира растительного был бы невозможен мир животный, и все органы животных устроены так, что они служат определенной цели — восприятию пищи, утолению жажды и, вообще, удовлетворению жизненных потребностей.

То же относится и к телу и душе человека. Разум дан нам для мышления и для того, чтобы мы могли разумно устроить нашу жизнь. Злоупотребления нашими органами чувств и нашим разумом так же не доказывают их нецелесообразности, как игра с огнем не доказывает вреда огня.

Нисшие цели служат при этом для достижения целей высших. Мы едим, чтобы существовать и мыслить, а не наоборот. Существует, таким образом, иерархия целей и средств. Но и эта иерархия должна иметь свое завершение. Нисшие цели служат, повторяем, для достижения высших. Но наивысшей целью является служение Богу. Только тогда наша жизнь приобретает разумный смысл. Следовательно, высшей целью бытия, или «Целью целей» является Бог.

Это доказательство до сих пор звучит довольно убедительно для многих верующих и мыслящих людей. И в нем заключается несомненное зерно истины, испорченное чересчур рационалистическим подходом.

Как доказал Кант, категория целесообразности еще более субъективна, чем категория причинности, и поэтому ее еще с меньшим основанием можно применять к миру «вещей в себе», то-есть, к сущности вещей. Но главное заключается в ином: — Дело в том, что, наряду с несомненной целесообразностью, в природе и в человеке имеется и немало не- и даже антицелесообразного. Ограничиваясь человеческим миром, достаточно указать на болезни, особенно на те, которые имеют паразитический характер, — например, рак. Кроме того, люди слишком часто пользуются своим разумом, чтобы быть, по выражению Гёте, «самым зверским из всех зверей». Новейшие достижения науки и техники, как это слишком хорошо известно,

слишком часто используются для разрушительных целей (вспомним хотя бы атомную и водородную бомбы).

Многие вожди используют современные возможности социальной техники для водворения или укрепления тоталитарного режима, советского или китайского образца. О том, какие преступления совершаются в этих странах, в направлении удушения свобод и морального калечения человеческих жизней — было бы излишне говорить.

У Достоевского Иван Карамазов поднял бунт против Бога из-за вопиющих примеров злой воли в мире, и говорил, что грядущая мировая гармония не стоит единой слезинки замученного ребенка. В наше время пролилось и еще проливается неисчислимое количество невинных слез и крови.

Так что тезису Фомы (наличие целесообразности в природе и в человеке) противостоит не менее сильный антитезис (слишком явное наличие злой воли и массовых или индивидуальных преступлений). По всем этим причинам, аргумент от целесообразности может быть подвергнут серьезному сомнению.

Перейдем теперь к последнему классическому доказательству бытия Божия, выдвинутому Декартом и называемому «антропологическим». Это антропологическое доказательство представляется наиболее убедительным, хотя все же не вполне достаточным. Ход мысли Декарта, приблизительно, таков:

Человек есть существо весьма уязвимое, телесно и душевно, и в моральном отношении далекое от совершенства. Как известно, Декарт — автор знаменитого философского положения: «Я мыслю, значит, я существую». Но фундамент его философии не ограничивается этим тезисом. Сознывая себя, свое «я», — говорит далее Декарт, я одновременно нахожу это «я» несовершенным. И я сам, как существо несовершенное, не мог бы изобрести эту идею. Следовательно, остается предположить, что Господь Бог вложил в нас идею Себя одновременно с сотворением человека. Это подкрепляется и библейским текстом, где говорится, что Бог вдунул в человека душу и Господь Бог создал человека по образу и подобию Своему. Следовательно, — заключает Декарт, — Бог существует.

Нужно сразу признать, что это декартовское доказательство (предвосхищенное отчасти еще блаженным Августином), — наиболее серьезное из всех. Оно заставляет нас, — по выражению Платона, — «повернуть глаза внутрь души» и глу-

боко задуматься о загадке нашего «я». Недаром Паскаль, ученик Декарта, спрашивал: — «Где же наше «я», если оно не находится ни в теле, ни в душе?». В глубине же нашего «я» Декарт находил идею Бога.

Здесь, более чем к чему-либо иному, применимо знаменитое изречение блаженного Августина: «От внешнего — к внутреннему, и от внутреннего — к Высшему!»

Как же расцениваются все эти традиционные доказательства бытия Божия в современной философии? Употребляя выражение «современная философия», я, разумеется, имею в виду далеко не все современные учения. Философия, если она свободна, всегда представляла собой пеструю картину учений и мировоззрений. Я имею в виду, главным образом, тех современных философов, которые не ограничиваются одной методологией или теорией познания, и которые развили метафизические учения. Разумеется, я не имею также в виду современных материалистов агностиков или атеистов. Даже такой тонкий агностик, как Бертран Рассель или такой утонченный атеист, как Жан-Поль Сартр, будут в данном случае вне поля моего внимания.

Я имею в виду таких глубоких и тонких мыслителей-идеалистов или религиозных философов, как Анри Бергсон, Макс Шелер, Тейяр де Шардэн, Норберт Уайтхед, а из русских — Лосского, Франка, Бердяева, Вышеславцева и некоторых других.

Однако, в целях упрощения проблемы, я не буду следовать ни одному из этих мыслителей индивидуально. Я постараюсь органически суммировать их точки зрения, разумеется, в моей собственной редакции. Но здесь я должен, так сказать, провести некий стратегический обходный маневр. Я имею в виду необходимость остановиться на том, что можно назвать критикой догматического атеизма, ибо моя тема (критика доказательств бытия Божия) тесно связана с попытками доказать Его небытие.

Из так называемых доказательств правоты атеизма наиболее распространен аргумент от материального характера природы и Вселенной — аргумент, материалистический по существу, разделяемый, однако, не только философскими материалистами, но и многими (хотя далеко не всеми) философами нейтральными учеными.

Аргумент этот сводится к таким соображениям: — Основной природного бытия является материя, состоящая, как еще не так давно полагали, из мельчайших частиц (атомов). Даже когда атом был разделен на электроны и протоны, все равно эти микро-частицы мыслились, как материальные по существу. Во всяком случае, по взгляду материалистов, из бесчисленных комбинаций сцеплений и расцеплений атомов, электронов и протонов каким-то чудесным, но строго детерминированным способом зародилась когда-то органическая жизнь. Между прочим, это соображение (о возникновении жизни из мертвой материи) сомнительно даже с точки зрения чистого материализма. В самом деле, каков объективный шанс того, что из миллиардов в миллиардной степени объективных вероятностей, — возникла такая счастливая комбинация атомов, которая произвела живую клетку, способную, к тому же, к размножению и развитию?

Всякий специалист по теории вероятностей скажет, что вероятность эта ничтожна, точнее — исчезающе мала. Какова вероятность того, что, играя в кости, я шесть раз подряд выкину шестерку? Это, положим, еще неисключено. Но какова вероятность того, что, выкидывая кости сотни, тысячи, миллионы раз подряд, я все-таки буду всегда выкидывать шестерку? Ясно, что такая вероятность невероятна. Примем теперь во внимание, что в вопросе о возникновении жизни нужно предположить, метафизически говоря, что субъективно-случайная, хотя объективно-закономерная игра атомов приведет к такой их комбинации и в таком порядке, что она произведет органическую жизнь? Французский математик и один из пионеров теории вероятностей, Курно, вычислил, что вероятность такой комбинации будет равняться одной бесконечно-малой величине, помноженной на другую бесконечно малую величину, то-есть, практически говоря, будет равняться нулю.

Но серьезные философские аргументы против атеизма далеко не исчерпываются одним этим соображением, подкрепленным современной теорией вероятностей. Дело в том, что открытия и гипотезы новейшей физики сильно подорвали крепость материализма, еще не в столь далеком прошлом представлявшейся неприступной. За последние десятилетия в области физики произошла своего рода революция, факт наличия которой не отрицается и марксистами. Достаточно вспомнить

хотя бы теорию относительности Эйнштейна, в частности, его учение о кривизне пространства, гипотеза впервые выдвинутая Лобачевским.

Далее необходимо указать на теорию квант, отцом которой является немецкий физик Макс Планк. Теория квант была развита далее известными немецкими физиками Гейзенбергом и Шредингером. Как известно, «кванта» означает мельчайшую единицу энергии, которая, в духе теории квант, предшествует материи и ее порождает. Изучение явления радиации и, особенно, теории квант, подорвали доверие у прежних представлений о материи, как о непроницаемой субстанции. Современная физика, наоборот, полагает, что материя есть лишь сумма сгустков энергии.

Гейзенберг ввел в физику идею так называемого «принципа неопределенности», согласно которому изменения, происходящие в микро-частицах материи, можно предсказать лишь приблизительно, а отнюдь не точно. Есть некий порог, за которым вступает в силу «принцип неопределенности», за которым материя как бы «исчезает», превращаясь в нематериальную энергию, или наоборот, за которым нематериальная энергия превращается в материю обычного типа.

Но нас интересуют сейчас не те или иные частные аспекты современной физики. Это — дело специалистов. Нас интересует философская сторона вопроса, те выводы, к которым склоняют достижения современной физики. И тут нужно сказать: во-первых, открытия современной физики сильно подорвали материализм — как механистический, так и диалектический. Ибо материя, повторяем, оказалась, при ближайшем рассмотрении, сгустками энергии.

Некоторые физики, например, французский физик и философ де Бройи утверждают, что материя вообще «исчезла» под микроскопами и другими еще более утонченными физическими приборами. Закон сохранения материи и энергии (вместе взятых) остался в силе. Но закон сохранения материи — опровергнут! Философский вывод отсюда — не-материальный характер той пра-энергии, из которой образовывается материя. И этот вывод отнюдь не льет воду на мельницу материализма.

Во-вторых, согласно «принципу неопределенности» Гейзенберга, эта пра-энергия не обнаружена и не обнаружима в пространстве. Как это известно физикам, нельзя одновременно

установить местонахождение материальной микро-частицы и ее скорость. Это означает, обобщая говоря, утверждение наличия вне- или сверх-пространственной энергии, равно как и наличие спонтанных изменений в недрах материи. А это, в свою очередь, опять-таки означает, над-материальный, то-есть, духовный характер пра-энергии, хотя дух здесь находится на низшей стадии своего развития.

Таким образом, современная физика несовместима с материализмом и подкрепляет скорее идеалистическое мировоззрение, хотя и не всякий идеализм. А философский идеализм всегда носит — явно или скрытно — религиозный характер.

Скажем теперь несколько слов о философских выводах современной физики в области другой проблемы — происхождения Вселенной. Существует несколько гипотез относительно происхождения Вселенной. В интересах краткости, мы изложим лишь одну. Упрощая действительное положение этой проблемы, можно сказать следующее:

Согласно взгляду довольно многих философов, Вселенная существовала вечно, так же как вечно существует материя. Этого взгляда придерживаются, как известно, марксисты. Но и Аристотель, отнюдь не бывший материалистом, также учил о том, что наш мир не имеет начала и конца во времени.

Согласно же другому, противоположному взгляду, наш мир был сотворен Богом, и, следовательно, имеет начало во времени. Мир был сотворен Богом из ничего, причем это «ничего» нельзя понимать как какой-то сырой, безформенный материал. «Ничего» тут нужно понимать почти буквально — как отсутствие всякого бытия.

Что же может сказать на эту тему современная наука, особенно физика? Заранее нужно оговориться, что физика не имеет однозначного ответа на этот вопрос. Мы остановимся, однако, на одной из гипотез, пользующейся в настоящее время наибольшей вероятностью:

Наша Вселенная, как это научно доказано, постоянно расширяется. Галактики удаляются друг от друга с невероятной скоростью. Из этого факта естественно напрашивается предположение, что когда-то, в далеком прошлом, Вселенная была меньше по размерам, чем теперь. Доводя эту мысль до крайнего предела и повернув время как бы вспять на миллиарды лет, — выходит, что в непредставимо далеком прошлом Вселенная была

«собрана» на очень небольшом объеме пространства. Некоторые ученые полагают, на основании ряда серьезных доводов современной физики, что эта крошечная, но заряженная страшной силой, бывшая Вселенная была ничем иным как огромным атомом. Этот пра-атом когда-то «взорвался» атомным взрывом. Взрыв этот превосходил по своей мощности в миллиарды раз самые сильные атомные и водородные взрывы, экспериментально устраиваемые в наше время. Сила этого пра-взрыва была такова, что она более, чем дает о себе знать и по сейчас. Этим взрывом объясняется и факт длящегося расширения Вселенной.

Но на вопрос, что же или кто же явились причиной этого пра-взрыва, у ученых нет ответа. Некоторые западные философы-физики высказывают предположение, что этот заряженный страшной силой пра-атом был создан Богом. Причем в этом пра-атоме уже были заложены потенции жизни.

Другие физики идут еще далее и утверждают, что современная Вселенная родилась не из атома, а из не-материальной энергии, из «квант», которые затем «материализировались». Но и эти физики высказывают мысль, что пра-причиной появления этой не-материальной энергии был Бог. Иначе, говорят они, происхождение Вселенной осталось бы непонятным чудом.

Бог есть Дух, рассуждают далее эти физики, включая известного английского физика и философа Джинса. И, как Дух, он породил не-материальную, то-есть, духовную энергию, которая начала затем «материализоваться». В процессе этого превращения не-материальной энергии в различные формы вечно-изменяющейся материи появились и пространство и время в их теперешнем состоянии. Ибо, добавляет Джинс, по учению Эйнштейна, пространство и время существуют не сами по себе, а в тесной связи с различными формами материальности (одно из положений теории относительности).

Для нас важно то обстоятельство, что эта научная гипотеза о происхождении Вселенной не только не противоречит христианскому учению о сотворении мира, но является как бы эмпирическим подтверждением религиозной метафизики христианства.

На естественный вопрос о том, что же было до появления пра-атома или пра-энергии, наилучший ответ можно найти у великого христианского мыслителя блаженного Августина.

Именно у него, хотя он, конечно, не имел ни малейшего понятия о строении Вселенной.

По учению Августина, само время было сотворено вместе с миром. Этот пункт особенно важен в том отношении, что, если принять его, то сам собой отпал бы вопрос о том, что было до сотворения мира. Ибо вопрос «до» предполагает существование вечного времени, которого, по учению Августина, не было до сотворения мира.

Не существует — добавим от себя — вечного времени. Время — временно. Была вечность и будет Вечность! Другое дело — что современный человек обычно не имеет времени для Вечности.

Что же касается вопроса о том, что будет после того, как наш мир кончится, то тут можно привести евангельские слова о том, что, когда наступит царство Божие, то **«времени больше не будет»**.

Но пойдем дальше. Кроме материалистических псевдодоказательств небытия Божия, и позитивистических утверждений о том, что нам не дано знать, существует ли Бог или нет, есть еще одна, модная в настоящее время разновидность атеизма. Я имею в виду модный лозунг: «Бог умер». Об этом мне хотелось бы сказать несколько слов.

Говоря в плане объективном и логическом, утверждение, что Бог был, но умер — не выдерживает сколько-нибудь серьезной критики. Если Бог существует, то он — вечен, значит — бессмертен, и не может умереть. Если же Бога нет, то он тоже не может умереть, ибо как может умереть то, чего нет?

Если атеизм есть роковое заблуждение, в котором есть, однако, своя логика, то утверждение «Бог умер» — есть явная бессмыслица, нелепость. Но, если лозунг — «Бог умер», философски несерьезен, то он в высшей степени показателен в психологическом плане. Ибо Бог, действительно, умер в сердцах слишком многих современных людей. Многие в наше время теряют свою веру. В виду этого, психологически точнее было бы сказать, что такие люди убивают Бога в своем сердце, — убивают свою совесть и образ Божий в себе. По этой причине, утверждение «Бог умер», следовало бы заменить выражением: «Бог убит». Убит в сердцах многих современных людей.

Многие в наше время как бы снова распинают Христа. Эта тема заслуживала бы специального рассмотрения. Но мы упо-

мянули о ней лишь для полноты картины современного атеизма. Теперь вернемся к основной нашей теме.

Мы сказали, что в бытии Божиим можно убедиться на основании чего-то большего, чем философские рассуждения. Никакие рациональные аргументы, какими убедительными бы они ни казались, не могут подорвать глубокой религиозной веры. И, наоборот, никакие рациональные выводы, даже если бы они были ясны как день, не могут сделать верующего из закоренелого атеиста.

Выскажем несколько дополнительных соображений. Мы говорили о том, что рационалистические доказательства бытия Божия являются самообманом рассудка, хотя в этих доказательствах и угадывается нечто от истины. Познавательный путь к Богу не так прост и легок, как это казалось в свое время схоластикам. Схоластики были правы, однако, в том, что наш разум обладает идеей Абсолютного, а Абсолютное есть метафизический псевдоним Господа Бога.

Я сказал — «наш разум обладает идеей Абсолютного». Однако, в то же время мы не можем себе представить — даже мысленно — **что** такое Абсолютное Бытие — подобно тому, как не можем представить себе бесконечности, хотя наш разум требует идеи бесконечного, хотя бы как фона конечности. Это — антиномия (то-есть, неизбежное противоречие).

Получается положение, по которому (правда, совсем по другому поводу) древне-римский поэт Катулл высказал свой поэтический афоризм: «Не могу жить ни с Тобой, ни без Тебя».

Так или иначе, я хочу еще раз подчеркнуть неотмыслимость, неискоренимость идеи Абсолютного Бытия. И все попытки утверждать идею относительного («все, дескать, относительно») без фона Абсолютного, несостоятельны ни логически, ни психологически. Отрицание Абсолютного неизбежно приводит к абсолютизации относительного. Как сказал немецкий философ Макс Шелер — «человек верит или в Бога или в идола». Здесь хочется привести еще и мысль Владимира Соловьева: «Относительное», говорил Соловьев, «по смыслу своего понятия, должно к чему-то относиться. Но к чему же может относиться относительное, как не к Абсолютному?». Это — глубокие и мудрые слова. Но это вовсе не означает доказательства бытия Божия — по крайней мере в традиционном

смысле понятия «доказательство». Это — скорее рациональное подведение к утверждению бытия Сверхрационального. Или, иначе говоря, разум приводит нас к порогу веры, но, сам по себе, не в силах переступить этот порог.

Подлинная вера представляет собой всегда скачок из области рационального в область Сверхрационального. В подлинной вере есть всегда элемент «благодати», «осенения», равно как и момент иррационального выбора.

Мне хотелось бы привести еще одно, заключительное соображение. Как атеисты, так и некоторые, догматически настроенные верующие склонны, как мне представляется, к одной ошибочной крайности: к вырыванию непроходимой пропасти между верой и знанием.

Различие, здесь, конечно, заключается в том, что атеисты верят в научное знание и считают религиозную веру пережитком мифологического образа мышления. Те же верующие, которые, на основании наличия их веры, нередко вполне искренней и глубокой, относятся с пренебрежением к философской мысли, характеризуют все интеллектуальные рассуждения как «вредные умствования».

Это, во-первых, объективно неправильная установка. Субъективно же говоря, подобная установка только льет воду на мельницу атеизма. Ибо, если между верой и знанием лежала бы такая непроходимая пропасть, если бы вера и знание исключали друг друга, — то тогда атеисты могли бы сказать (как они часто и говорят): — наше научное знание не подлежит сомнению и оправдывает себя хотя бы практическим расцветом техники. Зачем же верить в те «абсурды», которые предлагает нам религия?

Такие лица, повторяю, забывают о том, что в наше время наука и философия — не столько враги веры, сколько ее союзники. В борьбе с воинствующим атеизмом утверждение о несовместимости веры и знания — все равно со знаком плюс или минус — только помогает косвенно атеистам. Наша эпоха нуждается больше всего в гармоническом синтезе веры и знания. И философская мудрость может быть в этом великом деле связующим звеном.

В наше время слова Тертуллиана — «верю, потому что это—абсурд» — тезис, основанный на смешении иррационального и сверхрационального — не только неверен, но и вреден.

Зато тем большее значение приобретает обратный тезис, выдвинутый в свое время Ансельмом Кентерберийским: — «Верю, чтобы понять».

Как все реки впадают, в конце концов, в море или в океан, так и наша мысль впадает, в конце концов, в океан Абсолютного. Наша мысль, по своей природе, не успокаивается на Относительном, а требует и ищет Абсолютного. Но и сердце наше обуреваемо страстями всевозможных качеств и оттенков, пока оно не находит, наконец, Источник и Высшую Цель всякого бытия, пока оно не преисполнится любовью к Богу.

При этом в уме ищущего, вернее, в его подсознании, уже смутно предносится образ Взыскуемого. Говоря словами блаженного Августина: «Ты не искал бы Меня, если бы Ты не нашел уже Меня в глубине твоего сердца».

«Не успокаивается сердце наше, пока не находит покой в Тебе, о, Господи».

*Сергей Левицкий*

## ЛЕГЕНДА, ФРЕСКА И ИКОНА

*Из истории древних русско-грузинских культурных связей*

В 1580-х годах в Кремле для царицы Ирины, жены Федора Иоанновича, была построена Царицына Золотая палата и вскоре она была украшена стенописью, которую посетивший тогда Москву греческий епископ Арсений назвал «серебряно-вызолоченной». Палата служила в торжественных случаях приемной царицы. Сюда после смерти последнего царя династии Рюриковичей, 7 января 1598 г., пришли патриарх Иов с боярами и били челом царице, чтобы не оставила она их, сирот, и не отказалась бы от престола, завещанного ей мужем и «до конца была бы на государстве править». Ей и присягнули, чтобы избежать междоусобия. Трудный выбор был тогда у нее: остаться ли государыней, назначив правителем брата своего Бориса Годунова, фактически правившего страной при Федоре, или отказаться от престола и принять постриг.

Со стен Золотой палаты на нее смотрели изображения четырех христианских цариц и их благочестивых подвигов. На верхнем ярусе в рост на восточной стене была изображена святая княгиня Ольга, а в нижнем ярусе — сцены из ее жизни: избрание в жены греческим царем, заявление о ее желании принять христианство и крещение Ольги. На южной стене была изображена византийская царица Ирина и ее деяние на Никейском вселенском соборе. На западной стене изображена была византийская же царица Феодора и ее роль в прекращении гонений за иконопочитание. Наконец, на северной стене была изображена женская фигура, которую уничтожили при переделках Царицыной палаты, когда была сооружена арка. Нижний ярус росписи, однако, сохранился и реставрация 1950 г. раскрыла после удаления записи XIX века, две из четырех композиций, посвященных легендарной грузинской царице Динаре. Две из них остаются пока скрытыми под слоем масляной краски, на которой в основном, хотя и грубо, воспроизведены древние композиции.

На всех композициях Динара изображена с нимбом вокруг головы, как у святых. Первая сцена изображает царицу, сидящую на троне в темно-красном платье с короной на голове и перед ней группа старцев в русских боярских костюмах; над ней пояснение: «царица Динария совет совеща с бояры». Слева — группа женщин с поникшими головами, на фоне — пышные палаты с теремами. На следующей сцене видна царица, идущая «необновеннома (босыми) ногама» в монастырь и припадающая в молении перед иконой Богоматери. Третья композиция изображает Динару верхом на коне с высоко занесенным мечом и за ней — конница с копьями в латах и шлемах. Наконец, на четвертой — раскрытой от наслоений композиции — изображен победоносный въезд царицы в город Тавриз верхом на белом коне с накинутым на латы голубым плащом, в короне, с длинным копьем в правой руке, на конце которого — отсеченная голова персидского царя. Спокойная, величественная победительница направляется в раскрытые ворота покоренного города. В глубине — сцена, в которой Динара передает братии монастыря военную добычу.

Кто же такая святая царица Динара и почему сцены из ее жизни изображены были на стенной живописи Царицыной палаты в Кремле?

В древней русской литературе 15-16 вв. возникла легендарная «Повесть о грузинской царице Динаре» — «како победы перьскаго царя», сюжет которой соответствовал росписи северной стены палаты и был занесен в Россию из Грузии. Сюжет ее имел своей основой как грузинские легенды, так и факты истории. Русские мастера, писавшие стенную роспись и их заказчики — цари — отождествляли Динару русской повести с грузинской царицей Динарой, жившей еще в X-м веке и знаменитой тем, что она обратила часть Грузии в православие (ее мощи были перевезены в Имеретию и считались чудотворными), но жизнь ее совсем не походила на сюжет русской «Повести о Динаре». Русские запрашивали в Грузии, стремясь уточнить принадлежность Динары к сонму святых, но так и не могли получить доказательств ее святости, так как в своих ответах грузины говорили о царице Тамаре, а не о святой Динаре.

Почему так полюбились эта «святая» воительница царю Федору Иоанновичу и царице Ирине Федоровне, что была изображена в одном ранге со св. княгиней Ольгой, св. Ириной и

не очень святой жизни, знаменитой царицей византийской Феодорой, мозаичное изображение которой украшает и поныне собор св. Виталия в Равенне?

Вторая половина XVI в. была временем торжества русского православного государства над мусульманскими ханствами наследников монгольской империи. Но враг был силен: сельджукская Турция представляла собой грозную опасность для христианской Европы. Союзник Турции, крымский хан Казы-Гирей в 1591 г. подошел к Москве и угрожал ей с Воробьевых гор. Между его войсками и городом, на юг от Москвы был расположен русский военный лагерь, по старинному «обоз», в котором была устроена усилиями кн. Воротынского «подвижная крепость» или «гуляй-город», устроившая татар. В то время, как правитель государства Борис Годунов всячески хлопотал об укреплении обороны и был «в товарищах у воеводы большого полка Ф. И. Мстиславского», царь Федор молился перед иконой Богоматери, прося о защите Москвы от татар.

В ночь на 5 июля хан Казы-Гирей отступил от Москвы и бежал, бросив обоз, потеряв две трети своего войска, уничтоженного русскими скорыми полками. Это был последний набег крымчаков на Москву. Летописец приписал одержанную победу чудесной помощи Богоматери и усердной молитве царя. В память этой победы в 1592 г. на месте русского лагеря был выстроен Донской монастырь, «что в обозе», с каменным собором во имя Донской Богоматери. Не Она ли еще в 1480 г. оказала, по мнению русских людей, помощь на Куликовом поле русскому воинству и великому князю Димитрию Ивановичу, который тоже молился Заступнице перед Мамаевым побоищем?

В новый собор тогда же попала удивительная икона небольшого размера с изображением двух эпизодов из жизни той же легендарной царицы Динары, которой нет в православных святцах. Слева она изображена молящейся перед иконой Богоматери и над ней надпись «Приде благочестивая царица Динара в Шервески монастырь с прилежанием молится от нахождение перьского царя на Верскую страну», а справа — она на коне, победительница во главе воинства. Текст иллюстрирует сцену «и отложи женскую немощ и взя мужескую храбрость и поиде с помощью Божию на перьскаго царя и победи его сама ударением».

Советский историк Е. С. Овчинникова высказывает догадку, что икона эта была обетным вкладом царя Федора Иоанновича в только что построенный Донской монастырь по случаю победы над татарами, поскольку она соответствовала переживаниям царя: иконы, легенды и росписи палаты, изображали своего рода царственную Орлеанскую Деву грузинско-русской легенды, молитвой и воинской доблестью отразившую с помощью Богоматери нечестивых иноверцев. Но не правильнее ли было бы предположить, что такую неканоническую икону, вернее всего написанную под влиянием росписи Царицыной палаты, заказала и дала монастырю царица Ирина? Одежда, позы фигур, украшения иконы почти полностью совпадают с изображением на стенной росписи. Ирине, женщине с сильным характером, оказывавшей большое влияние на своего слабого мужа, должна была импонировать эта воительница и героиня повести, ставшей очень популярной на Руси и разошедшейся в большом количестве списков.

Ирина Федоровна покинула кремлевский дворец на девятый день по кончине царя, 16 января 1598 г., и выехала в Новодевичий монастырь, где постриглась под именем Александры. Она именовалась, однако, еще некоторое время «царицей инокой Александрой Федоровной» и, до избрания на царство Бориса, государственные дела производились по ее указу.

Золотая палата царицы Ирины видела в своих стенах Самозванца и Марину Мнишек. Она была разгромлена (потолок провалился) после убийства Лжедмитрия и хозяйничанья поляков в Кремле. Михаил Федорович, первый царь новой династии, хотел было поселиться в ней, но она нуждалась в большом ремонте и ему приготовили комнаты царя Ивана и Грановитую палату.

В истории Грузии была героическая царица, история которой имеет некоторые черты общие с русской «Повестью о Динаре», это — знаменитая Тамара, дочь царя Георгия III Багратида, царствовавшая с 1184 по 1212 г. Ее жизнь оказалась связанной с русской княжеской династией Рюриковичей, а грузинские легенды находят отклики в русской легендарной «Повести».

Она вступила на престол молодой девушкой. Ей стали искать подходящего по знатности жениха и Тифлисский эмир Абулазан заявил, что он «знает сына государя русского, Ве-

ликого князя Андрея, которому повинуются 300 царей в тех странах». Юрий Андреевич был тогда гостем у половецкого хана, так как по смерти своего отца был изгнан из Руси своим дядей Всеволодом. Юрия пригласили в Грузию, он понравился, и в 1187 г. сочетался браком с Тамарой и стал ее первым мужем.

У Юрия была до того времени уже довольно бурная жизнь. Еще в 1170 г. отец его, Андрей Боголюбский, послал его на княжение в Новгород, но через полгода новгородцы прогнали его из города и он прожил некоторое время в Москве, тогда еще небольшом селении с княжеским дворцом, во главе отряда воинов. В 1172 г. отец послал его во главе 50.000-го войска против киевских и белгородских князей Ростиславичей, но поход кончился неудачно и войско вернулось без победы. После убийства Андрея Боголюбского слугами, он надеялся стать князем суздальским, но был изгнан своим дядей Всеволодом (будущим Всеволодом Большое гнездо, родоначальником всех московских князей) и скрылся в половецкие степи, где и пребывал во время знаменитого похода Игоря Святославича на половцев, воспетого в «Слове о Полку Игореве».

Жизнь его с Тамарой сначала шла хорошо, он храбро сражался против врагов Грузии, но скоро начались нелады. Грузинский летописец так описывает их: «Сатана вошел в сердце презренного русского, настоящего скифа с варварскими мыслями и чудовищными страстями. Он стал пить, совершал ужасные поступки и осмелился оскорблять Тамару — солнце правителей, утреннюю зарю царей. Иуда по отношению к себе, исполненный нечистых мыслей, развращенный и проклятый, он подражал жителям Содомы».

Несмотря на уговоры и увещевания Тамары, он не исправился и в 1191 г. она расторгла с ним свой брак, оставаясь по-прежнему царицей Грузии. Он был отослан в Константинополь с большим богатством, но вскоре вернулся в Грузию, привлек на свою сторону многих начальников городов и был даже возведен на престол грузинских царей. Однако, Тамара собрала верных вельмож, победила Юрия и изгнала его. Он еще раз попытался овладеть Грузией, но был снова разбит, на этот раз окончательно. Вероятно, этот неудачник-князь закончил свою жизнь в половецких степях.

Тамара вышла замуж за Давида Сослана из Осетии, так же как и она из семьи Багратидов. Он одержал несколько блестящих побед над персами. Потом войска Тамары побеждали турок и византийцев и многим казалось странным, что маленькая Грузия стала таким воинственным и сильным государством. Тут мы опять находим связь ее истории с историей Руси. Еще после поражения, нанесенного Владимиром Мономахом половцам, большой отряд их — в 40.000 всадников — перешел на службу к грузинским князьям. Очевидно, эта Куманская конница и составляла впоследствии ударный отборный отряд грузинского войска, обеспечивавший победы и предков Тамары, и ее самой.

Возвращаясь к темам «Повести о Динаре», отметим, что Сослан, разбив персов, захватил огромную добычу — пленников, коней, верблюдов, золотые и серебряные сосуды. Потом Тамара послала его с войском выгнать турок из Карса. После этого султан Нукардин и Алеппо послал против Грузии огромную армию и, как и персидский царь в русской «Повести о Динаре», предложил Тамаре выбор — или подчиниться ему и стать его женой, или быть разбитой в битве и стать его наложницей.

Согласно грузинской летописи,\* когда посол султана изложил его требования, то главнокомандующий войсками Тамары, Захария, по прозвищу Долгорукий, будущий глава армянских князей Захаридов, нанес послу такую пощечину, что тот упал замертво. Тамара же, как и Динара «Повести», обратилась к войскам с речью, возбуждая в них мужество примером библейского Гедона, победившего с Божьей помощью полчища Мадиямитян. Тамара, как и Динара, сняв обувь, босыми ногами шла в церковь Матери Божьей и молилась перед Ее образом, распростершись на земле, о даровании победы над неверными. Битву у Шанкора в 1203 г. начали грузины вместе с половцами и армянами и обратили в бегство, а потом разбили на голову 800.000-ое турецкое войско, захватив большую добычу.

В шанкорской битве Тамара, может быть, участвовала и лично, во всяком случае легенда изображает ее мужественной воительницей, идеалом мудрости и несравненной красоты. В

---

\* «Картлис-Цховреба» и статья М. Броссе в Уч. Зап. Ак. Н. по I и III отд. 1853, а также «История Грузии» 1849, М. Броссе (по-французски).

грузинской хороводной песне ее описывают так: «На голове у нее шлем, в ушах серьги, глаза яхонтовые, зубы жемчужные, лицо ее блестит, как золото, одета в кольчугу, под ней атлас, сидит на коне песочного цвета с золотым седлом и золотой уздой...»

После этой победы Тамарой были сделаны богатые пожертвования в церкви и монастыри Грузии и Греции. Когда грузинские монахи проходили через Константинополь с дарами для греческих и грузинских монастырей, то алчный византийский император Алексей Ангел стал их грабить, о чем узнала Тамара. Она объявила ему войну за это и, согласно грузинским летописям, захватив южное побережье Черного моря, основала там Трапезундское царство с Алексеем Комненом в качестве царя дружественного Грузии.

Что это были за монастыри, куда везли тамарины дары грузинские монахи? Здесь мы встречаемся еще с одной связью грузинских легенд с «Повестью о Динаре», связью, которая проливает свет и на то, каким путем эти легенды могли дойти до русских авторов «Повести».

На Афоне одним из самых древних монастырей является грузинский Иверский, построенный по легенде на том месте, где Богородица вышла на берег Греции. Афонские грузинские монахи хорошо знали благочестивую царицу Тамару и легенды о ее царствовании. Они могли рассказать о ней русским паломникам, приходившим на Афон, и русским монахам, а их было немало в XIV, в XV и в (начале) XVI в.в.: Епифаний Премудрый, Нил Сорский, иеродиакон Зосима, Савва, игумен тверской, Митрофан Бывальцев и др. Немало и святогорцев приезжало в Москву, как, напр., Максим Грек, Пахомий Логофет. Ко двору царей Ивана III и Феодора Иоанновича приезжали послы и ученые грузины от грузинских царей.

В «Повести о Динаре» говорится о том, что она считала свою власть над Грузией врученной ей свыше, которой она не могла распоряжаться, что Грузия есть — «жребий Богородицы». Что это значит? Ответ мы находим в легенде об обращении Иверии в христианство: когда, по вознесении Христа на небо, апостолы и Богоматерь бросали жребий — кому куда идти проповедывать новую веру, Богоматери выпал жребий — земля Иверская, т.е. Грузия.

*Н. В. Первушин*

# БИБЛИОГРАФИЯ

О «ДИПТИХЕ» Н. УЛЬЯНОВА\*

При чтении книги всегда создается образ писателя, и в «Диптихе» я вижу человека разумного **сердцем**, но и «в сердцах» (вроде того Дикенса, которого Джордж Орвелл описал, как «благородно злого»), проникнутого веселым пессимизмом, умело, с открытым забралом сражающегося с своими противниками. У Ульянова больше всего вызывает презрение: житейская пошлость, обывательщина. В своей полемике Н. И. может быть «дик и рьян», но у него несомненно есть и «виденье», внутренняя взволнованность **идеями**, дар и понимание сущности вещей...

Его выступления против лавочной осторожности духовной буржуазии напоминают мне свободлюбивое нищезнание Шестова, и барство Леонтьева и Бердяева. Последний любил воевать против ползучего эмпиризма, т.-е. того цинизма, который все сводит к низшему, все объясняет **снизу**, все нивелирует (см. «Путь», «О духовной буржуазии», III, стр. 6).

Н. И. охвачен неким беспокойством. Он духовно близок Флоберу, жестоко карающему обывателя в «Саламбо», он не признает «поэзии пошлости» (Анненский). О жанре, к которому принадлежит Саламбо, Н. И. пишет в своей первой статье «Об историческом романе». Исторический роман, созданный Вальтер Скоттом, представлен в России сочинениями Полевого, Загоскина, Алексея Толстого и др. Этот жанр сейчас в опале. Но Н. И. привлекают в нем возможности романтизма и героизма, так же как и начало **вымысла**, способного оживить литературу. (Здесь Н. И. перекликается с мыслями В. Вейдле в «Умирании искусства»). Исторический роман приносит что-то «из не-нашего мира... (овеянное) трепетом неведомой нам жизни». Он может окрылить бытовую тяжесть реализма, его «физиологичность», и «мелкое, повседневное».

Здесь хочется отметить, что ненависть к пошлости и ординарности «беспартийна». К. Леонтьев заметил, что в этом согласны не только он и де Токвиль, но и либералы Д. С. Милль и А. Герцен.

К быту (который одинаково занимает и мучит Н. И.) автор возвращается в статье «Чехов в театре Горького», где он показывает, что советский театр не понял Чехова, не понял «щемящий смысл бытового

---

\* Н. Ульянов. Диптих. Изд. автора. Нью Йорк. 1967 (стр. 226).

течения жизни» (выражение А. Скафтывова). От безвкусицы этой постановки он переходит к анализу духовно родственных Чехову французских импрессионистов, которых я бы назвал художниками повседневной жизни: «...Импрессионизм многое в этом мире обесценил. Человек стал простым выражением света, как дом, как дерево. **Не стало великих событий** (подчеркнуто мной). Коронация Наполеона и клятва Горациев обернулась ложью в сравнении с паровозными дымами и суетой вокзала Сен Лазар. Значительность открылась в движущейся по улице коляске, в цветущих яблонях Аржантейя, в одиноких фигурах переходящих мост в Лувенсьене...» Н. И. замечает, как «жизнь ежеминутно попирается жизнью же... И неизвестно, где больше трагического, в войнах ли и революциях, или в мирно текущей жизни, в ежеминутном убийстве надежд, молодости, силы...»

Опасность, и даже **апокалиптичность** ординарности, по-новому освещаются в статье о гоголевском «Носе», где говорится, что «глупость и пошлость суть условия пришествия в мир темных сил». — «Чудовище Босха-Брейгеля-Гойи, вступающее в храм в этот день (Благовещения) и насмехающееся над святостью места, над его запустением, заброшенностью, приобретает символическое значение».

Трудно не согласиться с формулировкой Н. И. Но принимая во внимание многопланность гоголевской тактики, мне хотелось бы добавить, что это чудовище гротеска амбивалентно. Оно не только страшит, но и **радует**. Одно из лучших определений гротеска (Рескина) — это, что гротеск есть сочетание ужаса и веселой игры. Есть в нем не только угроза, но и радость. Вот почему он истинно чудовищен: как некое напряженное сочетание противоположностей, воплощенный оксиморон страха и игры. Н. И. показал «Нос» как «страшилище», но не как существо празднично-комическое. А это тоже возможное толкование с положительной стороны («Нос» как веселый фарс, жизнепитательная шутка). Об этом чистом комизме (но не лишенном смысла) Артур Кёстлер как-то сказал, что — «первичный творческий акт заключен в игре шуток».

Но есть еще «философия» в этом юморе. «Нос» — символ плоти, а плоть предъявляет временно свои права. «Свинья тоже Божие творенье». Христианская демократия восстает против платонизма. Как замечательно сказал Рескин в своем анализе гротеска: “Brutal forms have holy signification . . . There is nothing so mean . . . that it might become sublime?” Не эта ли правда скрывается и под гоголевской шуткой? Но тогда, чудовищный гротеск связан и с какой-то «осанной». Пресмыкающийся, например, Лебедев в «Идиоте», хотя он и «гадина», он все-таки понимает Библию и со своей «минуточкой жизни» поет славословия.

Возвращаясь к этюду Н. И. можно сказать, что он показал отрицательное, но не положительное, в гротеске. Но это отрицательное он выделил со всей свойственной ему яркостью, «апокалиптичностью»...

Апокалипсис, как конечная катастрофа и крушение света — из-

любленная тема автора. В своей статье «Шестая печать», Н. И. размышляет о катастрофах материалистической эпохи: «...Мы последнее поколение, способное чувствовать ужас надвигающегося конца. Следующие за нами будут гибнуть, но не будут знать, что гибнут...» Интересно его замечание, что «конец мира станет для них бытовым явлением». И здесь опять Н. И. указывает на опасность, скрытую в быте. К перечню его кошмаров — атомных войн, варваризации, мещанства-пошлости — можно было бы добавить еще один кошмар самого страха этих грядущих бедствий. Даже при Апокалипсисе нужно «бодрствовать», побеждать страх.\*\*

Я уже говорил, что тон ульяновского пессимизма, в конечном итоге, бодр. Его «пророчество» («Шестая печать») подготавливает нас к его «поэмам», к фантазии о «Мантуа» и к «Сириусу».

Основу всякого творчества Н. И. видит в «национальности». Этой теме посвящена вторая часть его сборника. Национальность в своем грубом виде, как быт, «физиология живого организма», его не задерживает. Зато он верит в национальность как органическую идею, дающую «цвет и запах» (по словарю Аполлона Григорьева). Идея-видение эта иррациональна. Ее нельзя рассудочно разложить «логическими нормами мышления». Приблизительно такая же вера вдохновляла славянофилов. Ею они толковали «любовь к ближнему».

Эта вера оправдана, мне кажется, если она производительна, если она творит «чудеса». Так, Леонтьев верил, что объединенная Италия не оправдала собой факт поглощения ею Флоренции или Венеции. Маленькая Сиена дала человечеству больше, чем все рисорджименто. Нужно, чтобы всякий «изм» создавал ценности. И несомненно из своей **русскости** Н. И. черпает свое богатство идей и словесное мастерство, подносит нам свою «творческую чашу».

В заключение я хотел бы сказать, что интересы Н. И. многосторонни, но их объединяет некая общая тематика. Так, в его статьях мы видим его критику быта (у импрессионистов и реалистов), его ненависть к пошлости (советской и западной), его прославление героизма и творчества. По-моему, к Н. И. вполне приложим термин, которым американский литературовед Брик Бентли определил многих выдающихся писателей: «героическая витальность».

Как особое качество его писаний я отметил бы искренность, которую Джордж Орвелл (под конец опять возвращаемся к нему) ценил выше «правильного» мышления. Духовный путь иногда ведет от

---

\*\* Дени де Ружмон замечает, что Запад всегда переживал чувство кризиса. Европейское человечество всегда жило в напряжении, волнении, всегда было в «постоянном беспокойстве». Но оно умело находить в себе силы, чтобы пережить кризис... до следующего кризиса. Оно вечно так волнуемо, потому что предъявляет «абсолютные требования» к бытию. Эта требовательность есть и у Н. И.

апокалипсиса к экзистенциальному — к приятию жизни в ее серой действительности. Н. И. уже высказался по поводу Чехова о «щемящем» в жизни. Здесь есть художественные возможности. Как сказал Андрей Белый: «...и жемчужные зори, и кабаки, и буржуазная келья, и надзвездная высота... все это объекты художественного творчества».

Во всяком случае на такие мысли наводит меня **диалектичность** Н. И., его умение спорить и полемизировать, не препятствующее обмену мыслей. Повторяю, по Орвеллу, что Н. И. в своей книге «щедро гневается», но хочу подчеркнуть слово **щедро**. Его русская речь, живые мысли и ясное мышление одинаково привлекают. Он бытийственен, как насыщенный, как сказал бы Ф. Степун.

*А. Небольсин*

А. БАБОРЕКО. *И. А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917)*. Изд. «Художественная литература». Москва. 1967.

За два года до смерти, в 1951 году, в «К моему литературному завещанию» («Нов. Журн.», кн. 66) Бунин писал: — «После меня явится, может быть, у кого-нибудь мысль напечатать мои письма, дневники, записные книжки. О письмах я уже писал в другом месте («К моему завещанию»): я чрезвычайно прошу не печатать их, — я писал их всегда как попало, слишком небрежно и **порою** не совсем кое-где искренне (в силу тех или других обстоятельств), да и просто неинтересно; из них можно взять только кое-какие отрывки, выдержки — чаще всего **как биографический материал**. (Если бы нашелся умный и тонкий человек, который мог бы выбрать эти отрывки!) Дневники мои тоже, по-моему, мало интересны (в общем). Их я тоже писал как попало и с большими промежутками. Да и уничтожил я очень большое количество этих записей. Против печатания их, впрочем, не имею такой решительности, как против писем. — Записные книжки **можно** печатать».

Мне кажется, что такой «умный и тонкий человек нашелся». Такое впечатление создалось у меня по прочтении отчетной книги А. Бабореко. С литературной критикой А. Бабореко и его научным исследованием Бунинского творчества я знаком давно. В 1956 г. А. Бабореко, тогда еще кандидат филологических наук, дал знать о себе статьей «Юношеский роман И. А. Бунина. По неопубликованным письмам» (Литературный Смоленск, кн. 15). Статья эта и целый ряд следующих за ней («Бунин о Никитине», Подъем, 1957, № 1; «Новые издания сочинений Бунина», Вопросы литературы, 1958, № 2; «Бунин и Эртель», Русская литература, 1961, № 4), а также многочисленные публикации писем Бунина с комментариями А. Бабореко сразу привлекли мое внимание. Они выгодно отличались от предвзятых оценок Бунина советскими критиками С. Касторским, писателем Л. Никулиным, соста-

водителем учебника русской литературы А. Волковым и другими, которые обвиняли писателя во многих смертных «грехах»: «непонимание великих событий», «узость горизонта», «падение таланта в отрыве от родины» и т. д. О смехотворно-жалком «опусе» некой И. Д. Стерлиной (И. А. Бунин. Липецк, 1960) в серии «Наши знатные земляки» лучше и не говорить. Дельно и честно написанные публикации А. Бабореко, разбросанные по разным журналам, являлись как будто подготовительной работой к большому труду, который и вылился в интереснейшую и полезную книгу. В короткой заметке «От автора» А. Бабореко скромно пишет о громадной работе, проделанной им и о значении книги: «Предлагаемая вниманию читателей работа является результатом многолетних изысканий. В ней собран и систематизирован в хронологическом порядке архивный и малоизвестный материал (документы, письма, воспоминания и т. д.) о крупнейшем русском писателе И. А. Бунине. Многие из этих материалов вводятся в обращение впервые. Не претендуя на полноту изложения, автор стремится дать как можно больше малоизвестных фактов и сведений о жизни Бунина, представляющих интерес как для широкого читателя, так и для специалиста-литературоведа, углубленно изучающего жизнь и творчество писателя».

В своей книге А. Бабореко использовал не только ценные материалы, хранящиеся в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР, Института мировой литературы АН СССР, Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), Государственного музея имени И. С. Тургенева в Орле, но также широко использовал и эмигрантские источники, как, например, книги В. Н. Муромцевой-Буниной «Жизнь Бунина» и А. Седых «Далекие, близкие», а также парижские газеты и нью-йоркское «Новое Русское Слово» и журналы («Современные Записки», «Новый Журнал», «Воздушные Пути»). Кроме того А. Бабореко обильно цитирует биографические сведения о Бунине из писем покойной В. Н. Муромцевой-Буниной, писателей Л. Ф. Зурова, А. Седых, Г. Адамовича и Г. В. Кузнецовой.

Подбор писем и записей сделан очень удачно. Он ни в коем случае не нарушает той части завещания Бунина, которая относится к его личной корреспонденции. Читая книгу А. Бабореко, невольно переносишься мыслью в «истоки дней» Бунина, в просторы средне-русского подстепья, едешь с ним по русским городам и деревням, плаваешь по океанам, путешествуешь по Ближнему и Дальнему Востоку, знакомишься с знаменитостями русской литературы, сцены и науки, со всеми «далекими, близкими», имена которых всегда останутся дороги каждому культурному русскому человеку. Чтение книги захватывает. Авторское «я» стушевывается, отходит на второй план. Перед читателем, в хронологическом порядке, раскрывается жизнь Бунина. Как на киноленте мелькают сердечные увлечения писателя, домашние радости и горести, первые пробы пера, вступление в «большую

литературу», юношеское увлечение толстовством и крепкое, «на всю жизнь», преклонение перед гением Толстого. Ярко вычерчен портрет «доброго ангела» Бунина, жены и верной спутницы его долгой и трудной жизни, Веры Николаевны.

А. Бабореко подробно касается отношений Бунина и Горького. Принято считать, что 1917 год был концом дружбы между этими писателями. В действительности же революция была только окончательным толчком к разрыву. Охлаждение Бунина к Горькому произошло гораздо раньше. Это видно из письма Бунина к брату Юлию от 6-го ноября 1911 года с Капри, которое А. Бабореко цитирует в своей книге: — «А что до Красноперого (прозвище А. М. Горького. — А. Б.), то необходимость ходить к нему выбивает из интимной тихой жизни, при которой я только и могу работать, мучиться тем, что совершенно не о чем говорить, а говорить надо, имитировать дружбу, которой нету, — все это тревожит меня, как я и не ожидал. Да и скверно мы встретились: чувствовало мое сердце, что энтузиазму этой «дружбы» приходит конец, — так оно и оказалось, никогда еще не встречались мы с ним на Капри так сухо и фальшиво, как теперь» (стр. 167).

Помещение этого письма в книге имеет большое значение. Оно разъясняет заявление Бунина («К моему завещанию». Май 1942 года), что его письма были «не всегда в соответствии с тем», что чувствовал писатель. И, если к искренности бунинских писем Горькому нужно относиться весьма критически, то в данном случае нет никаких причин не верить в правдивость письма писателя к брату, которого он любил, уважал и с мнением которого считался. Больше того: письмо это разрушает навсегда миф о «благотворном» влиянии Горького на творчество Бунина.

Хотя на заглавном листе книги дан 1917 год, на котором заканчивается компиляция биографических данных, но А. Бабореко, вероятно, для полноты картины, дает и общий очерк жизни и творчества Бунина в эмиграции под заголовком «Последние годы» (1920-1953 г.г.). Здесь встречаются некоторые цитаты, уместность которых сомнительна. Например, замечание А. Т. Твардовского, взятое из его вступления к последнему девятитому собранию сочинений Бунина, в котором, кстати, принимал участие и А. Бабореко. По Твардовскому, литературное имя Бунина «понесло известный моральный ущерб... посреди написанного им за эти десятилетия есть замечательные произведения, но не мало и такого, что могло вызвать лишь сожаление о судьбе художника». Под этим Твардовский разумеет, вероятно, такие рассказы, как «Товарищ Дозорный», «Красный генерал» (Сталинский и Нобелевский лауреат М. Шолохов подверг эти рассказы «жестокой» критике), «Окаянные дни» и «Воспоминания», изданные в 1950 году. Цитата из Твардовского как-то мало вяжется с текстом, неуклюжа, выделена отдельным абзацем с пропуском в несколько строк. Общеизвестно, что многие и эмигрантские критики осуждали Бунина за его

нападки на многих современных ему писателей. Здесь не место касаться этого спора, но следует все же взять Бунина под защиту. Ведь все его позднейшие выпады против модернистических течений в русской литературе и его политические взгляды и его неприемлемость всяких революций и его ненависть ко всяким тоталитарным режимам были не только завершением его давнишних убеждений, но и повторением того, что Бунин неизменно высказывал за всю свою долгую жизнь (еще задолго до революции) и что вполне отражено в многочисленных его письмах, цитированных А. Бабореко. Кстати, А. Бабореко не упомянул об одном интересном эпизоде, который произошел во время пребывания Бунина в Полтаве и о котором упоминает в своей книге В. Н. Муромцева-Бунина. Бунин пытался втиснуть в какой-то марксистский кружок, члены которого занимались изучением «Капитала». После двух посещений Бунин «упал на колени» и просил отпустить его, «грешника».

А. Бабореко взял интервью у бывшего советского посла во Франции А. Е. Богомолова, с которым Бунин разговаривал осенью 1945 года. По словам Богомолова, Бунин сказал ему, что «он подумает относительно перспективы возвращения в СССР, добавив, что он больше всего беспокоится о том, сколько времени ему понадобится на то, чтобы изучить так Советский Союз, чтобы слияние с советской тематикой и советскими писателями было бы для него органичным». — Да простит мне автор, но я не привык верить советским дипломатам. А. Бабореко хорошо известна книга А. Седых «Далекие, близкие», в которой автор приводит письмо Бунина к нему, где Бунин сам описывает посещение им советского посольства в Париже. Бунин пишет, что это была «светская беседа, но не советская» и что несмотря на то, что ему предлагали всякие земные блага, он все же предпочел завершить свои последние дни в бедности и дожить свой век в Париже. Сопоставление этого письма с рассказом посла Богомолова говорит не в пользу правдоподобности версии Богомолова.

Дальше А. Бабореко уделяет несколько страниц истории присуждения Бунину Нобелевской премии. Перечисляя разных возможных кандидатов на получение премии, автор, касаясь разных «закулисных» интриг, обходит молчанием снятие кандидатуры Горького, который согласно А. Седых, «в это время окончательно скомпрометировал себя близостью к советским правителям и своей апологией коммунистической тирании».

Книга издана хорошо: в твердом переплете, 252 страницы текста, 50 страниц примечаний и 31 фотография Бунина разных лет, его семьи, Пашенко, обеих жен, групповые и — могила писателя на Сент-Женевьев-де-Буа, под Парижем. Тираж — 15.000 — к сожалению, очень мал. Эту ценную книгу несомненно прочтут с интересом все, кому дорога память большого русского писателя — И. А. Бунина.

*Оберлин, Охайо*

*Сергей Крыжицкий*

BERTRAM D. WOLFE. *The Bridge and the Abyss. The Troubled Friendship of Maxim Gorky and V. I. Lenin*. New York: Frederick A. Praeger, 1967. Pp. 180.

Это ценная книга. В то время как в Советском Союзе история дружбы Горького и Ленина подвергается неустанной идеализации, известный американский советолог проливает беспристрастный свет на отношения этих двух людей. Бертрам Вулф убедительно доказывает, что Горького и Ленина разделяла пропасть. Дружба же их хоть и искренняя, была только хрупким мостом через бездну. Ленин был политик до мозга костей. Горький при склонности к политической проповеди, оставался все-таки художником. Ленин жил политикой. Горький называл ее областью насилия, деспотизма, лжи. Ленин заявлял о своей некомпетентности в поэзии. Горький считал себя плохим и сомнительным марксистом. Ленин ставил во главу угла классовую борьбу, диктатуру пролетариата. Для Горького не было ничего выше человека-творца и его свободы. По Ленину, человека прежде всего формируют классовые, социальные условия. Горький же отводил первенствующую роль облагораживающему влиянию культуры и искусства, которые делают человека сильнее. Эти различия, как показывает Вулф, и создавали трещины и разрывы в почти двадцатилетней дружбе писателя с политиком.

Не успел Ленин пережить восторг от агитационного содержания «Матери» (1907), как появление богостроительской «Исповеди» (1908) повергло его в ярость. Духовные искания Горького, пусть материалистические, человекобожеские, были начисто отвергнуты большевистским вождем, как враждебные марксизму. При последовавшем охлаждении личных отношений Ленин всячески противодействовал организованной писателем каприйской школе для революционных рабочих. В 1913 году повторная ссылка Горького на необходимость «богостроительства» вызвала новый приступ ярости у Ленина.

«Всякий боженька, — поучал Ленин Горького в пространном письме, — есть труположество — будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а построяемый боженька, все равно. Именно потому, что всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость, особенно терпимо (а часто даже доброжелательно) встречаемая демократической буржуазией, — именно поэтому это — самая опасная мерзость, самая гнусная ‘зараза’». В первые девять месяцев большевистского владычества от дружбы Горького с Лениным не оставалось и следа. Это было время, когда в редактируемой им газете «Новая Жизнь» Горький обрушился на большевиков и на их вождя с убийственной критикой. Ленин рисовался ему слепым фанатиком, жестоким экспериментатором, обрекающим на гибель миллионы людей во имя догмы. Отравленные ядом власти Ленин и его приспешники, — писал Горький, — совершают тягчайшие преступления против демокра-

тии. Они управляют посредством террора и насилия. Они разогнали Учредительное собрание и расстреляли демонстрацию рабочих в его защиту. Они демагогически возбуждают грабительские инстинкты темных масс, потворствуют самосудам, разжигают гражданскую войну, ведут к гибели рабочий класс. Ленин ответил закрытием «Новой Жизни», и в течение нескольких месяцев Горький был лишен возможности печататься в Советской России. Однако после покушения на Ленина 30 августа 1918 г. между ним и Горьким установилось перемирие. С этого времени вплоть до своего выезда из России в октябре 1921 г. Горький принимает на себя роль ходатая по делам защиты русской культуры, спасая ее сокровища и ее представителей, живших в жутких условиях голода, холода и террора. Этой благородной деятельности Горького Вульф посвящает целых три главы. Конкретными примерами он иллюстрирует трудности, с которыми Горький сталкивался при обращении к Ленину за содействием. И все же писателю удавалось добиваться иногда, казалось, невозможного. Но такие события, как преждевременная смерть Александра Блока, расстрел Николая Гумилева, расправа большевиков с кронштадтскими моряками, обращение с членами Комитета помощи голодающим, переполнили чашу терпения Горького и оттолкнули его от большевиков и от Ленина. Писатель был особенно возмущен беспринципностью Ленина, вначале возложившего вину за Кронштадтское восстание на «белогвардейцев и эсеров», а затем признавшегося, что никакого белогвардейского заговора в Кронштадте не было. Но больше всего возмутило Горького вероломство Ленина по отношению к Комитету помощи голодающим. Этот комитет, созданный в 1921 году из видных представителей интеллигенции с согласия Ленина и при участии Горького, был неожиданно распущен большевиками, а его руководители арестованы и обвинены в антигосударственном заговоре и подготовке восстания в пораженных голодом районах. Ни чекисты, ни Ленин не сомневались в невинности осужденных, но они боялись влияния комитета на русскую общественность. Поэтому, по словам Ленина, комитет необходимо было ликвидировать по политическим соображениям. Хотя протесты из заграницы и заставили Ленина отменить смертные приговоры, вынесенные некоторым из арестованных членов Помгола, все же они были высланы из пределов родной страны. Удрученный Горький считал себя поставленным в положение провокатора. А Ленин стал советовать ему поехать за границу лечиться.

О деятельности Горького за границей рассказывается в главе «Конец дружбы». Издаваемый Горьким в Берлине журнал «Беседа» не допускался в Советскую Россию. Брошюра «О крестьянстве» (1922) вызвала резкие нападки в советской печати. Главным же событием, окончательно поссорившим Горького с Лениным, оказался процесс эсеров летом 1922 года. Еще до начала процесса Ленин отверг как неправильное заявление Бухарина и Радска на конференции трех Интернационалов, что ни один социалист-революционер не будет

приговорен к смерти. Горький, как сообщает Вулф, отправил Ленину письмо с предупреждением, что порвет с ним все личные отношения, если социалистам-революционерам будут вынесены смертные приговоры. Когда двенадцать человек были присуждены к расстрелу, Горький не только прекратил всякую связь с Лениным, но и отменил уже созревшее решение вернуться в Россию. Все же чувство некой дружбы к Ленину не покинуло писателя, и на смерть большевистского вождя Горький откликнулся хвалебным некрологом.

В эпилоге Вулф говорит о трех портретах Ленина, написанных Горьким. Первый — критический — состоит из суждений Горького 1917-1918 гг. Второй — умеренно-хвалебный — написан в 1920 году в связи с пятидесятилетием Ленина. Третий — это хвалебный некролог.

В заключение Вулф говорит, что Горький искал в Ленине «человека живой, действительной веры», в то время как Ленин хотел видеть в Горьком художника, служащего партии и ее идеологии. Ни один не нашел в другом того, что искал.

Книга Вулфа хорошо документирована. В ней впервые опубликованы письма Горького к Рыкову и Анатолию Франсу по поводу суда над эсерами и есть указания на целый ряд произведений Горького, которые не переиздаются в Советском Союзе. Книга написана живо. Содержит двадцать иллюстраций.

Теперь о замеченных неточностях. Горький родился не в Казани, а в Нижнем Новгороде (стр. 26. Это, конечно, оговорка). Имя профессора — не Гезенко, а Гезехус (стр. 72, 176). «Новая Жизнь», вышедшая в день захвата власти Лениным, не содержала статьи под заглавием «Культура в опасности!» (стр. 78). Это заключительные слова статьи Горького «Несвоевременные мысли» из «Новой Жизни» от 22 мая 1917 года. Сообщение о намерении общественных деятелей до октябрьского периода организовать Комитет помощи голодающим напечатано в «Известиях» не от 2, а 3 июля 1921 года (стр. 109). Замалчиваемое в СССР письмо Горького к Джейн Аддамс (1922) с восторженным отзывом о великодушной помощи американцев голодающим русским опубликовано не в 82, а в 79 книге «Нового Журнала» (стр. 138). Процесс эсеров начался не в мае, а 8 июня 1922 года (стр. 146). Статья Н. Валентинова напечатана не на стр. 138-139, а на 120-139 (стр. 171). Фамилия советского литературоведа не Балухатов, а Балухатый (стр. 172). В примечании к отрывку из статьи чекиста Лациса «Красный террор» недостаточно ограничиться замечанием, что статья Лациса была перепечатана в «Правде». Нам кажется, было бы интересно указать, что на эту статью в «Правде» был помещен ответ Ем. Ярославского «Недопустимая мерка», в котором даже Ярославский выступил против чрезмерно примитивных чекистских установок Лациса, обращавшегося к своим подручным с таким наставлением: «Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал словом и делом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить — к какому классу он принадле-

жит, какого образования, воспитания, происхождения или профессии. Эти вопросы должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора».\*

Думается, что Бертрам Вулф не возразил бы и против включения в свою библиографию сборника «Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре», Петроград, Изд-во «Культура и свобода», 1918 г. Этот сборник состоит из сорока восьми «Несвоевременных мыслей», взятых из «Новой Жизни» за 1917-1918 гг. Существование его упорно замалчивается в СССР.

В рецензируемой книге много отрывков из высказываний и сочинений Горького в переводе Вулфа. Как правило, перевод точен и выразителен, чувствуется горьковский ритм. Но иногда есть и несколько свободное обращение с подлинником, что особенно проявляется в виде не обозначенных многоточием сокращений и пропусков.

Большинство таких неточностей можно было бы легко устранить при большем внимании к деталям, и, мне думается, что автору об этом нужно позаботиться в случае повторного издания этой ценной и интересной книги, сказавшей о том, о чем нельзя говорить на родине «буревестника революции».

«Литературная Газета» от 24 января 1968 года сообщила, что Институт мировой литературы готовит первое полное собрание сочинений Горького. Но от объявления до выполнения — далеко. Едва ли рискнут в теперешнем Советском Союзе напечатать **всё**, что говорил Горький о Ленине и большевиках. Вспомним, сколько политически неугодных мест было изъято из «Полного собрания сочинений и писем» (1944-1951) А. П. Чехова.

*Герман Ермолаев*

АЛЭН БЕЗАНСОН. — *Закланный царевич*. Изд. Плон, Париж 1967.

Alain Besançon, — *Le Tsarévitch immolé*, Plon, Paris 1967.

Пытаясь определить символику русской истории — или, точнее, русской духовной и религиозной жизни, — проф. А. Безансон, молодой французский историк, пользуется не историческим, а психоаналитическим методом. Подтверждение своих догадок он ищет при этом не столько в истории, сколько в литературе: у Пушкина, Достоевского, Блока, Розанова — в тех произведениях, символы и темы которых совпадают с символикой русской истории и по новому освещают ее. Для психоаналитика подсознательное — достовернее сознательного, и в каком-нибудь сне Раскольникова больше открытий, чем в ином увесистом историческом труде.

В истории России — по мнению автора, самой трагической и в

\* Эта статья была напечатана в известной «Красной Книге ВЧК». Госиздат. Москва. 1920. Цитируем из этой книги.

то же время наименее сложной из всех европейских историй — он отмечает несколько наиболее значительных тем.

Первая из них — тема «матери-сырой земли». Этот языческий символ после крещения Руси становится христианским и отождествляется с образом Богородицы, а позднее, в 19 веке — с образом Святой Руси. Тема матери — краеугольный камень учения Фрейда — занимает, по мнению автора, центральное место в народном сознании. У матери-земли просят прощения, совершив грех; с ней никогда не прекращается тайная связь; она и кормилица и заступница; в ее лоне каждый бессознательно надеется найти покой и забвение. Этот символ автор находит, конечно, у Достоевского: Раскольников становится на колени посреди Сенной площади и целует грязную землю «с наслаждением и счастьем»; Алеша Карамазов падает на землю «как подкошенный» и хочет ее обнять. Ту же тему автор обнаруживает и в народном творчестве, в песнях, сказаниях.

Вторая — на взгляд историка, центральная тема, давшая название его книге — тема «закланного царевича», тесно связанная с христианским мифом. Эпизод убийства царевича, действительно, неоднократно повторялся в русской истории: первыми жертвами были Борис и Глеб, мученики-страстотерпцы; за ними — царевич Иван, убитый Грозным, царевич Димитрий, убитый в Угличе, Алексей Петрович, Иван VI... Царевичи Иван и Алексей Петрович привлекают особенное внимание автора, т. к. их судьба легче всего укладывается в намеченную им схему; в ней он видит классический пример Эдипова комплекса: убивая сына, отец устраняет соперника (Иван Грозный) или недостойного преемника (Петр Великий). Царевич-же, покорно идущий на заклание, — символ непорочного агнца, умирающего за чужие грехи. Но этот миф может обернуться и другой стороной: тогда сын убивает отца, чтобы занять его место. Таких примеров в русской истории тоже немало: не говоря уже о цареубийствах, пример Эдипова комплекса автор видит и в восстаниях Разина и Пугачева, а в литературе находит его отражение в «Братьях Карамазовых», «Борисе Годунове», «Медном Всаднике», «Капитанской дочке» и др.

Тут я позволю себе, в качестве примера психоаналитического метода, остановиться на толковании сна Гринев («Капитанская дочка»). В снежную бурю Гринев едет в кибитке; он находится в том состоянии, «когда существенность, уступая мечтаньям, сливается с ними в неясных видениях первосония». Ему снится, что он возвращается домой; мать встречает его на крыльце и говорит ему, что его отец при смерти и хочет с ним проститься. Но вместо отца Гринев видит в постели мужика с черной бородой, который «весело на него поглядывает». «Что это значит?» обращается он к матери. «Все равно, Петруша... это твой посаженный отец; поцелуй у него ручку и пусть он тебя благословит», отвечает ему мать. Для психоанали-

тика толкование этого сна не представляет ни малейшего затруднения: Гринев желает смерти отца, разлучившего его с матерью, во сне он убивает его — с согласия матери — и, отождествляя себя с чернобородым мужиком, занимает его место. Такое толкование может показаться фантастическим; но нельзя не признать, что есть что-то очень странное в этом сне...

Третью тему исследования можно формулировать так: взаимоотношения царя и народа. Классический «треугольник» Фрейда состоит из трех единиц: отца, матери и сына. В применении к русской истории роль отца в этом треугольнике отводится царю. В древней Руси царь был посредником между народом и Богом; но, начиная с царствования Петра и подчинения церкви государству, он оказывается не только помазанником Божиим, но и заместителем Бога, спасителем и покровителем России. Известная уваровская формула — «православие, самодержавие, народность» — по мнению автора, с предельной точностью отражает этот миф: вне самодержавия, нет ни религии, ни народа; преданность России немыслима без преданности царю; тот, кто самовольно покидает родину, восстает против царя и Бога — или, в наше время, «против народа»: поэтому эмиграция со времен Курбского до наших дней почиталась черной изменой.

В этой заметке мы не могли, конечно, исчерпать все содержание книги Безансона, в которой немало остроумных и тонких замечаний по поводу различных религиозно-философских проблем. Автору нельзя отказать в большой начитанности и в основательном знакомстве не только с русской историей и литературой, но и с православной литургией. Попытка объяснить русскую историю психоаналитическим методом сделана небезинтересно. Но покажутся ли читателям — кроме верных последователей Фрейда — выводы автора достаточно убедительными? Это другой вопрос.

*Е. Каннак*

#### МИХАИЛ БУЛГАКОВ. *«Собачье сердце»*.

В Париже появилось (в машинописной копии) неизвестное до сих пор произведение М. Булгакова: повесть «Собачье сердце», написанное в 1925 г.

Не приходится удивляться тому, что она в свое время не появилась в печати: веселая, блестяще-остроумная, она проникнута откровенным «контр-революционным» духом. Герой ее — беспризорный пес Шарик, и повествование ведется в начале от его имени. Изголодавшийся Шарик с грустью вспоминает о покойном поваре Власе, который, бывало бросал ему сочную кость с осьмушкой мяса: «Цар-

ство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых...»

Но бедному псу все-же повезло: его приманивает и уводит с собой некий хорошо одетый гражданин: «именно гражданин, а не товарищ, и даже, вернее всего — господин. По глазам уж видно, и вблизи и издали, не спутаешь... Все видно — у кого великая сушь в душе, кто, ни за что ни про что, может ткнуть концом сапога, а кто сам всякого боится. Вот последнего холоуя и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай!..»

Всем своим собачьим сердцем Шарик привязывается к хозяину, не подозревая, что его спаситель — знаменитый хирург — залучил его к себе с тайной целью. В один прекрасный день пес подвергается операции: часть его мозга извлекается и заменяется мозгом только что умершего неизвестного гражданина. Смелый опыт удается: на глазах у всех обитателей квартиры происходит постепенное превращение обыкновенного пса в человеческое существо, повидимому, наделенное разумом. Существо это способно и говорить; но первые слова, которые он произносит, это — «пивная» и «милиционер», а когда профессор приказывает ему не бросать объедков на пол, новый гражданин угрюмо огрызается: «отлезь, гнида!». Беда в том, что покойник был, оказывается, жуликом и хулиганом, трижды судившимся и приговоренным заочно к пятнадцати годам каторги. Вскоре он начинает требовать от профессора «личного документика» и приличной жилплощади, покусается на невинность горничной и, в конце концов, доносит на профессора надлежащим органам, как на буржуа и контр-революционера.

После недолгого колебания профессор решает произвести обратный опыт — из человека снова сделать собаку. Проходит несколько дней — и в кабинете профессора, на прежнем месте, мирно дремлет Шарик, и не подозревающий, что так недавно он был «гражданином Шариковым»...

Единственным «положительным героем» этой фантастической, столь характерной для булгаковского дара повести, является бездомный пес, существо, одаренное так называемыми человеческими чувствами, способное верно любить, защищать и, если надо, жертвовать собою. В быстрой смене самых невероятных приключений возникают и живые, на лету очерченные московские типы комсомольцы, врачи, продувной дворник, член домкома — и общая картина эпохи Нэпа.

Появись эта повесть в свое время, она влилась бы в общий литературный поток и, может быть, вызвала бы отклики по той же гоголевски-щедринской линии. Но теперь, несмотря на все свои достоинства — обилие фантазии, динамизм, оригинальность замысла и стиля — она все же скорее историко-литературное, чем чисто литературное явление. Всякое произведение искусства связано со своей

эпохой: оно, может быть, не ею оценено — как это случилось, например, с романами Стендаля — но должно быть ей доступно. Раскопки, как бы ни были замечательны их результаты, все же в первую очередь — дело археологов.

Очень возможно, что в Москве — в ящике письменного стола или в каком-нибудь чемодане — хранятся еще неизвестные рукописи Булгакова?

*Е. Каннак*

**КАРЛИК ФАВОРИТА.** История жизни Ивана Андреевича Якубовского, карлика светлейшего князя Платона Александровича Зубова, писанная им самим. С предисловием и примечаниями графа В. П. Зубова и послесловием проф. Дитриха Герхардта. Издание Вильгельма Финка, Мюнхен (1968), стр. 423.

Карлик Иван Андреевич Якубовский (1770—1864) происходил из мелкой шляхты и три четверти века прожил в семье Зубовых, дольше всего у кн. Платона, екатерининского фаворита и у сестры его Ольги Александровны Жеребцовой. Миниатюрные люди ценились вельможами и potentatami, как в России, так и на Западе, и проф. Герхардт сообщает немало любопытных данных по истории карликов (в послесловии). Зачастую были они шутами, скоморохами, но не зубовский карлик: его сажали за княжеский стол, бывал он приглашаем в лучшие дома и разговаривал с императором Александром I. Он всех в высшем свете знал, и все его знали. Записки свои, по предположению редактора гр. В. П. Зубова, Якубовский кому-то диктовал, уже в глубокой старости. Язык малограмотного человека, но зато какой выразительный! Всюду слышится живой голос рассказчика. Забавна народная этимология: герцог Барин (Бирон), кривокорты (клавикорды), рогалие (регалли), имя Мельхиседека употреблено в значении бранного слова.

Карлик любил похныкать: князь Платон обещанного жалования не выплачивает, его часто обворовывают, а тут еще немощи одолевают. Хотелось ему, чтобы с ним всегда носились и всячески баловали. Был Якубовский скорее сметлив, чем умен, но и очень наблюдателен, жизнь воспринимал иногда эстетически, как некое зрелище. Особенно нравились ему происшествия необычайные, страшные, и он умел о них рассказывать, напр., как в детстве впал в летаргию и его чуть было не похоронили заживо. Запоминается рассказ Якубовского о смерти князя Платона. Покойник явился ему в сонном видении. «Вот он мне и стал говорить: — Видишь зачем этот стол поставлен на середине? Я не могу ему тут сказать, что: — Вы тут лежали. Он ко мне три раза приходил и все то же говорил. Вообразите себе, что у меня от страха все нервы ослабели, и не знал, что подумать».

Может быть, больше людей, любил он животных: «Маленьких птичек брал с гнезд и выкармливал сам, разных сортов зайчиков и бело-

чек (...) один ворон такой удалой, говорил на четырех языках: по-русски, немецки, польски и по-жмудски: удивления был достойный». А канареек карлик воспитывал «по методе натуралиста г. Бюфона».

Изредка писал он зло, хотя и не чувствуется в нем озлобления уродца, калечки. Вот отзыв о кн. П. И. Тюфякине: «...был весь в угрях и только он облизывался и был среднего роста». Синтаксис бессвязный, валкий, но оживленный разговорными интонациями. Достается от карлика и долголетней госпоже его О. А. Жеребцовой. Она принимала косвенное участие в заговоре против Павла I (и о встрече с ней сочувственно рассказывал Герцен). По свидетельству Якубовского, Жеребцова хвалилась: — «Если бы я родилась в штанах, я бы много показала им (мужчинам), как делать». А в роковой день 14-го дек. 1825 г., пишет карлик, она совсем растерялась и ускакала в Царское Село.

Карлик-наперсник гордился принадлежностью к семье Zubovых, но лстив не был: надерзил молодой жене самого кн. Платона и ядовито отвечал дразнившей его Жеребцовой, с которой он больше двадцати лет сражался по вечерам в пикет.

Быв свидетелем событий исторических, карлик малым умом своим значения их не понимал или же дипломатично избегал иметь о них собственное суждение. Но барский быт в записках Якубовского оживает чуть ли не более, чем во всех мемуарах той эпохи. Книга бытия его — карликовые «Война и мир»: все мелко, мелочно, многое как будто незначительно, но зато достоверно и, слушая рассказы этого миниатюрного человека, поневоле переносишься в гостиные и людские пяти царствований.

Любопытны записи о Двенадцатом годе. Якубовский выбрал мущика, отказавшегося доставить его в Москву и пригрозил ему письмом одной из Zubovых к гр. Растопчину, а тот ему ответил: «Я теперь сам граф: Москва взята и вас некуда вести; вы можете у меня остаться и детей учить». «Каковы мужики в критическое время», возмущается карлик по поводу другой мужичкой дерзости.

К книге приложены портреты многих Zubovых, а также и Якубовского (акварель П. П. Соколова); есть что-то старушечье в его облике, лицо «печеное яблоко», на голове не то колпак, не то чепчик, и облечен он в пестрый халат. По воспоминаниям К. А. Бороздина, любил Якубовский одеваться и по моде, носил бриллиантовые перстни, «ходил и говорил чрезвычайно важно и серьезно...».

Книгу подготовил к печати гр. В. П. Zubov — известный искусствовед, основатель Института по истории искусств в Петрограде: он руководил им и в советское время, уже в 20-х г.г. Институт помещался в зубовском дворце. Но большевики обвинили сотрудников в «формализме» и закрыли его в 28 или 29 г. (вместе с отделом по литературе). Можно пожалеть о том, что обширная эрудиция гр. В. П. была как-то мало использована на Западе и, в особенности, в Америке, где теперь так подробно и всесторонне изучается Россия. Открытую им рукопись

гр. Зубов сопровождал ценными комментариями и интереснейшими экскурсами в «малую историю». Забавен документированный рассказ о могилевском губернаторе П. В. Пассеке и о выигранной им в карты майорше, которая грозилась откусить носы и уши у провинившихся городничего и стряпчего. Но, конечно, более всего сведений собрано о семье Зубовых и о лицах, близко с ними соприкасавшихся.

Проф. Герхардт (в послесловии) упоминает о карликах, описанных в повестях Лескова «Старые годы в селе Плодомасово» и «Соборяне». По некоторым данным, прототипом лесковского карлика-умницы Николая Афанасьевича был миниатюрный человек, живший в орловском имении Зиновьево. Но вот, не странное ли совпадение, Якубовский упоминает о симбирском имении Кротковых «Плодомасове» (читай: Полдомасово), а у Лескова госпожа его карлика — помещица Плодомасова. Лесковский маленький человек тоже разговаривал с Александром I (правда, при других обстоятельствах). Может быть, краем уха, Лесков слышал и о зубовском карлике. Но пусть вопрос этот решают «лесковисты» (в США их трое: профессора Ю. МакЛейн, В. М. Сечкарев и У. Эджертон). Есть совпадения и в сказе многих лесковских героев и Якубовского. Но сказ Лесковым не выдуман и всегда существовал на перифериях литературного языка.

Лесковский Николай Афанасьевич — своего рода великий карлик, настоящий мудрец, добрый гений, вообще герой несколько идеализированный, чего нельзя сказать об Иване Андреевиче, но зато этот зубовский наперсник — живее, убедительнее, и есть у него своя особая добродетель: страстное зверюбие.

Казалось бы, все записки той эпохи, уже опубликованы, и вот приятная неожиданность: зазвучал этот тонкий голосок из забытой могилы карлика фаворита — «Я же такой маленький...».

Ю. Иваск

#### КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- МИХАИЛ КАНТОР. *Стихи*. Париж. 1968 (32 стр.).  
 Г. П. ФЕДОТОВ. *Лицо России*. Сборник статей (1918-1931). УМСА. Париж. 1967 (328 стр.).  
 ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА. *Грасский дневник*. Изд. В. Камкина. Вашингтон. 1967 (316 стр.).  
 ПРОТ. ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВ. *Гонимая церковь*. Русская православная церковь в СССР. Всеславянское изд. Нью Йорк. 1967 (384 стр.).  
 РОДИОН БЕРЕЗОВ. *Вечно живет!* Разлука I. Rausen Publishers. Нью Йорк. 1965 (383 стр.).  
 РОДИОН БЕРЕЗОВ. *Вечно живет!* Разлука II. Rausen Publishers. Нью Йорк. (351 стр.)

---

# “Н О В Ы Й   Ж У Р Н А Л”

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1968 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена 10 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 3 долл.

Во Франции — 10 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway

New York, N. Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме  
праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.

---